АБЕЛЬ ПРИЕТО

ПОЛЕТ КОТА

Абель Прито�Хименес (род. 1950) – кубинский писатель, филолог, общественный деятель. Был университетским преподавателем, директором издательства «Летрас Кубанас»; в 1991 г. был избран Президентом Союза творческих деятелей Кубы; с 1997 г. является Министром культуры Кубы; лауреат премии Гаванского университета «13 марта» (1969) и Премии Критики (1989).

Его роман «Полет кота» (1999) представляет собой историю жизни поколения, пытавшегося обрести себя – найти свои корни в прошедшем и свое место в настоящем.

Сквозь призму жизненных ситуаций, в которые попадают главные герои романа Марк Аврелий и Фредди Чупачупс, просматривается текстовое пространство, где воспоминания и драматические события 80-х годов XX века позволяют проследить жизнь героев от школьной скамьи до возмужания.

Объемность и глубину сюжету сообщают исторические аллюзии и философские размышления автора.

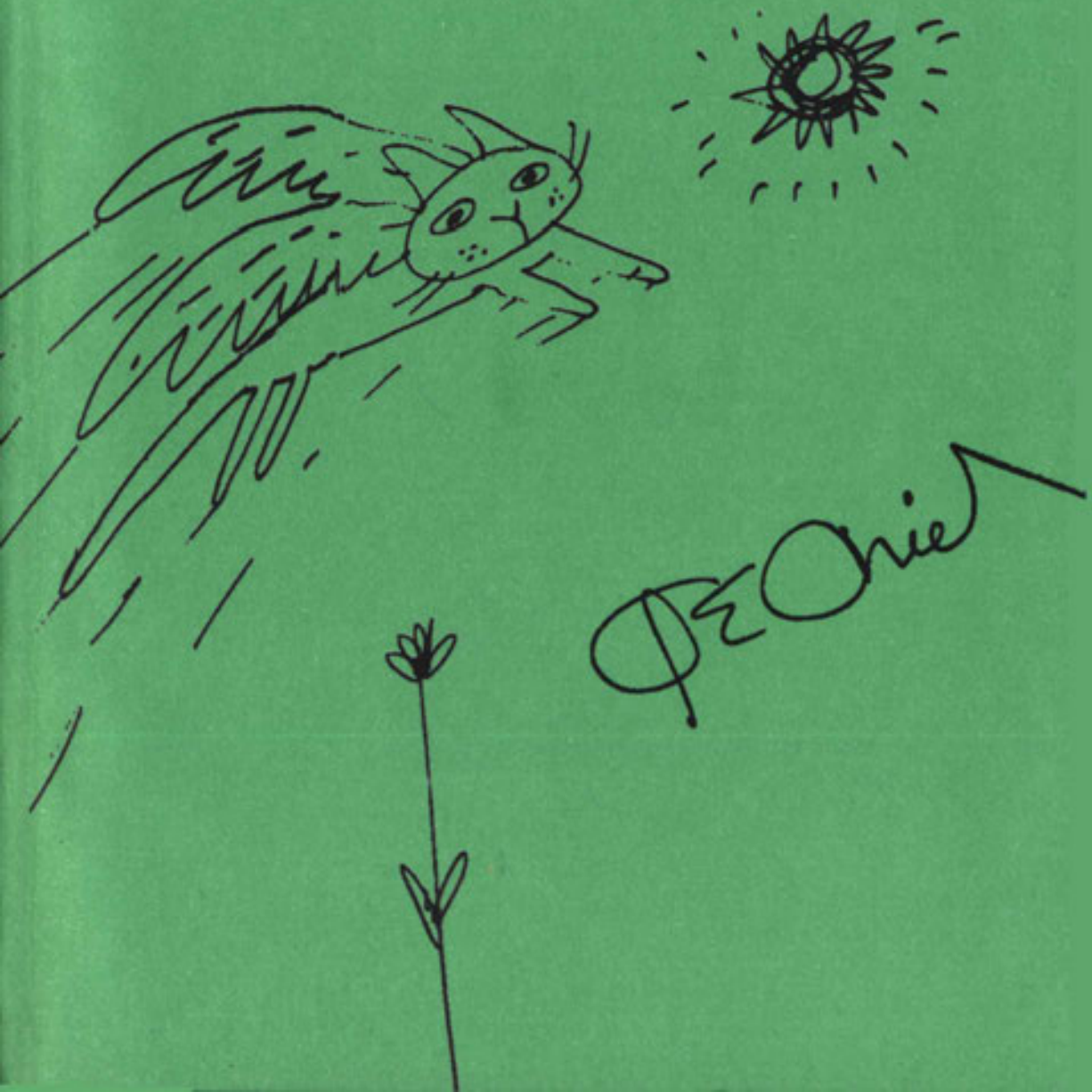
ISBN 978-5-05-007198-9

9 785050 071989

Издательство «Радуга»

Издание осуществлено в рамках программы «Россия – Почетный гость XIX Гаванской международной книжной ярмарки» (Куба, 2010)

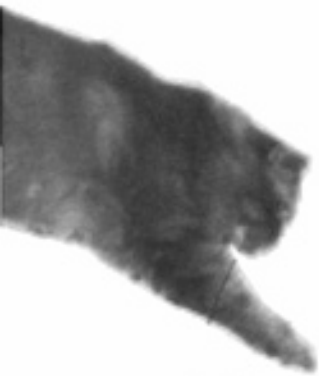
Edición realizada en el marco del programa "Rusia, país invitado de honor de la XIX Feria Internacional del Libro de La Habana" (Cuba, 2010)



LOS
LIBROS
DE
RUSIA
LEEMOS JUNTOS
LA HABANA
2010

ABEL PRIETO

EL VUELO DEL GATO



АБЕЛЬ
ПРИЕТО

ПОЛЕТ КОТА

Москва
ОАО Издательство «Радуга»
2010

ББК 84.7Ку
П75

Перевод В. Недоросткова
Оформление *А. Орловой*
На форзаце использован рисунок автора

Прито, Абель
П75 Полет кота: Роман/Пер. с исп. – М.: ОАО Издательство «Радуга», 2010. – 304 с.

Абель Прито Хименес (род. 1950) – кубинский писатель, филолог, общественный деятель. Был университетским преподавателем, директором издательства «Летрас Кубанас»; в 1991 г. был избран Президентом Союза творческих деятелей Кубы; с 1997 г. является Министром культуры Кубы.

Его роман «Полет кота» (1999) представляет собой историю жизни поколения, пытавшегося обрести себя – найти свои корни в прошедшем и свое место в настоящем.

Объемность и глубину сюжету сообщают исторические аллюзии и философские размышления автора.

Издательство выражает благодарность Посольству Республики Куба за помощь в подготовке издания

Издание осуществлено в рамках программы «Россия – Почетный гость XIX Гаванской международной книжной ярмарки»

Edición realizada en el marco del programa "Rusia, país invitado de honor de la XIX Feria Internacional del Libro de La Habana"

ISBN 978-980-01-1535-0
© Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A., 2007
ISBN 978-5-05-007198-9
© ОАО Издательство «Радуга», 2010

Кот, совокупляясь с лаской, не порождает кота
с шекспировской и звездчатой шерстью
или ласку со светящимися глазами.
Они производят на свет летающего кота.

Хосе Лесама Лима.
Всеобщность прикосновения

Твоя личность состоит из трех субстанций:
из Тела, из Животной Души и из Души Разумной.
Две первые принадлежат тебе в том смысле,
что ты должен заботиться о них,
но только третья субстанция
является твоим собственным достоянием.

Марк Аврелий.
Размышления. Книга XII, III

Памяти Абеля Прието Моралеса
(1923–1981)

Лауре и Мариен

1 БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

Да, это был поистине финальный матч. Решалась судьба товарищеского турнира между сборными колледжей районов Марианао и Ведадо. Исполненными отваги выглядели два действующих лица этой истории, два моих близких, можно сказать, сердечных друга – стоик Марк Аврелий Эскобедо и другой, которого вряд ли можно назвать аскетом, – Годофредо Лаферте. Испокон века мы звали его Фредди Чупачупс.

Анхелито Китайчонок, и я, и все наши, и девчонки из Марианао (возбужденные, охрипшие, пышущие здоровьем и энергией) вопили с трибун и аплодировали своим так, что ладони горели. А над врагами мы, конечно же, издевались, осыпая их оскорблениями и всяческими непристойностями. Болельщики из Ведадо тоже делали свое дело, и боги Ненависти и Раздора с удовольствием разгуливали среди толпы, сея вокруг ядовитое семя.

Марк Аврелий продвигался вперед, не нарываясь, но и не скромничая, постукивая мячом в своей манере (сама сдержанность). Он шел к кольцу по боковой линии, когда ему преградил путь гигант Тамакун – самый зверский игрок, самый опасный и подлый из команды Ведадо. Деваться было некуда. Все мы были уверены, что Тамакун, с его жесткой защитой, с его захватами и толчками, вот-вот разорвет Марка Аврелия, выхватит у него мяч, обесчестит, не задумываясь, раздавит его – так танк в кино идет по диким маргари-

ткам, так жаркодышащий Минотавр выходит из глубин Лабиринта и валит наземь, и насилует, и разрывает на куски юных дев, назначенных утолить его жажду.

Тамакун не знал границ и политесов, это было известно всем, и потом, мы прекрасно понимали, что Марк Аврелий был чересчур добр, чересчур чист и честен, и даже праведен, – куда ему сражаться с этим бесстыжим зверем! Команда Ведадо использовала его для грязной работенки, чтобы их элита не запачкалась морально и физически.

И тут, откуда ни возьмись, появился Фредди Чупачупс. Он выбежал откуда-то сзади, и его движение одновременно осуществлялось в двух ипостасях: 1) линейном перемещении – по площадке и 2) порхании его плоти, его мышц, заставлявшем трепетать флажком его майку и широкие, колоколом, развевающиеся трусы. Он получил мяч от Марка Аврелия. «Пасуй сюда!» – это завывание пересекло весь стадион, все услышали простуженный голос Чупачупса, который по-змеиному струился перед всеми и от него разлетались искры, как от провода высокого напряжения. И он подпрыгнул, и он взлетел для броска в кольцо, и в полете он согнул ногу, и колено его ткнулось в грудь Тамакуна.

Сухой звук удара слился с мычанием Минотавра, причудливо смешиваясь с нашим криком, воплем животного восторга зрителей Марианао (оргазм толпы), и другим криком, тех, что был за Ведадо, и он состоял из отчаяния и ужаса. Этот двуглавый крик салютовал сдвоенному образу: падающего гиганта и взлетающего мяча, пронзавшего пространство как в замедленной съемке, чтобы чистейшим образом войти в кольцо.

Этот матч решал судьбу товарищеского турнира. И Марианао выиграло, и превратило нашего Чупачупса в героя, который совершил значительно больше, чем просто заметил заветную корзинку в решающую минуту: он вывел из игры кошмарного Тамакуна, про-

стым ударом колена принес команде и практический результат, и неизмеримо большую символическую прибыль. После падения Тамакуна ведадовцы не смогли восстановиться: они рассеянно играли до финального свистка – без сил, без души, без руля и без ветрил, как троянцы после смерти Гектора.

Популярность Чупачупса на несколько месяцев затмила славу признанных идолов: хореографа Фелито – порождения самых крутых казино; рок-певца Ринго Нежного – звезды группы «Лос Чикос дель Коней», и даже самого Пепе Колирио – тяжеловеса, красавчика, бахвала, донжуана, побившего все рекорды округа.

Это был Золотой век Чупачупса, который, к несчастью, длился не сто лет, а дай бог месяца три. Директор Колледжа, вечно хмурый, теперь с улыбкой приветствовал его на переменах. Сухая и безжалостная преподавательница физики, известная как Гестапо, отвалила ему спасительную троечку на сессии. Новые друзья, проросшие как по волшебству, вертелись вокруг и желали добиться его внимания... А четверо девиц, страстных блондинок и красавиц, и пятая, тоже беленькая, но страшная и долговязая, признались ему в любви одна за другой («объяснились», как тогда говорили). И Чупачупс учтиво отверг последнюю, одарил своим «да» первых четверых и по очереди пригласил их в кино «Амбассадор», где целовал их, сколько мог, своим чувственным и влажным ртом.

Рассказывают, что однажды вечером, выходя с лекций, на Чупачупса устремила взгляд сама Красавица Лурдес, а это вам не просто девчонка, что вы, она была ангел с небес, богиня с пенными рыжими волосами и ослепительной фигурой, та, что была в прошлом году Королевой карнавала. Говорят, она отвела свои карамельные глаза от Чудовища, того уродца-коротышки, который без зазрения совести оглаживал ее

на глазах у всех своими коротенькими подрагивающими лапками. И направила, всего на несколько секунд, взгляд своих невероятных глаз на Чупачупса, на нашего Фредди – героя дня. И все, ничего больше, просто взгляд без последствий, но явно подтверждающий тот эффект, который произвел баскетбольный матч на женскую половину Университета.

Пребывание Чупачупса в Зале Славы, пусть краткое, придало значимости группке самых близких, самых настоящих и верных друзей, то есть нам – Команде, тому же Марку Аврелию, Анхелито Китайчонку и мне. Будем честны, ни спортивные достижения, ни сексапильность не выделяли до той поры нашу Команду. Ее следовало бы определить как Команду в резерве, затаенную, сумеречную. Да, тогда нас озарила часть того сияния, того Света, который благородно излучал Чупачупс как бы от излишка, и мы познали сомнительный вкус славы.

Наши университетские наслаждались поражением Тамакуна. Конечно же, самой обсуждаемой частью матча был Коленный Удар – камень из пращи в рожу Голиафа. В нем состояла основа популярности Чупачупса и, в то же время, ее эфемерный характер. Один удар, каким бы удачным он ни был, не может стать источником легенды. Подружки и новоявленные друзья постепенно отдалились от него, и Красавица, естественно, больше не одаривала его взглядом, а предавалась массажным манипуляциям Чудовища. Чупачупс растворился в безликой толчее перемен, больше не было приветствий и улыбок директора, забывшего, как, собственно, выглядит наш герой, так что ему не удалось сдать физику, а потом и специально назначенную переэкзаменовку, которую он завалил окончательно и бесповоротно, да исполнится воля богов. Команда, наша Команда, возвратилась в сумерки безвестности, откуда, по Марку Аврелию, «нам никогда не стоит выходить».

И вот сейчас я снова вижу, как отдаляется Команда от фотовспышек, от оваций, от Света, и как, подобно моллюску, обволакивает раковиной свое нежное тело, и как замыкается сама в себе. И вот баскетбольный зал разворачивается и становится все более пространным и прозрачным в моей памяти, и Фредди прорастает наружу, а Марк Аврелий вовнутрь, а Тамакун не растет, но напротив, все уменьшается и уменьшается, покрытый бесчестьем и все падает и падает, как сраженный Минотавр.

Сейчас я хочу включить в эту книгу свой первый фриз, и выбираю его из множества возможных фризов, из множества сцен жизни Колледжа, которые призваны быть увековечены в мраморе, дабы избежать разрушения Временем, «окаменить» их, так сказать. Не думаю, что фриз должен представлять собой нечто в велеречивом стиле обелисков, арок и монументов, на которых Римская империя запечатлела подвиги Марка Аврелия Великого и множества других великих. Нет, не так. Думаю, его надо бы выполнить в манере достаточно спокойной, менее помпезной, наподобие барельефов, которыми плебейский Рим иллюстрировал социальный подъем так называемых нуворишей, тех ничтожных, но предприимчивых людишек, которые «продвинулись» и захотели «пребывать». На своих домах и даже на своих надгробьях они отмечали путь, который привел их к процветанию.

Я могу воссоздать кульминационный момент матча, на этот раз, вырезав его на воображаемом фризе: Марк Аврелий, наш, из Колледжа, скромно отдалился, отдав мяч Чупачупсу, и сейчас представляет собой фигуру покойную, утонченную, почти средневековую. А на лице, слегка размытом, – выражение самоуглубленное, обращенное вовнутрь, словно в разгар матча он ушел в другую игру – происходящую в глубине самого себя, в том месте, где царит, самовластвует Разумная Душа, в то время как Тело пребы-

вает на поверхности фриза, на площадке, меж других запотевших тел. Чупачупса я должен был бы запечатлеть в воздухе, на все времена замершим в своем броске Славы: нога, изогнутая как лук, который вот-вот поразит Тамакуна, и руки, замершие в жесте Атлета, Бросающего Мяч.

Наибольшей трудностью для автора фриза, этого гипотетического скульптора, судьбой назначенного увековечить решающий миг решающего матча, представляется мне сопротивление, которое мрамор или любой другой достаточно твердый материал противопоставляет качествам Чупачупса – изменчивым, подвижным, телесным. Тому, что всегда течет в нем, убегает, уходит... Тому, что позволило бы запечатлеть его многосоставный образ в единой форме. Все остальное оказалось бы очень простым – изображения других игроков, рассыпанных по площадке с воздетыми руками (как бы взывающих к небу), и мяч над кольцом, вот-вот готовый пересечь этот магический круг, и снизу Тамакун, еще в падении, но не как Минотавр, а как бык, как бык на арене, уже со шпагой в холке, ушедшей в плоть по самую рукоять, оставивший в пространстве свои ослепшие рога и погружённый в свою звериную смерть.

Печально, но наши из Колледжа так и не смогли понять (раскрыть) все множество значений, сокрытых в том баскетбольном матче, а некоторый коллективный садизм, а может, раздражение или желание мести, накопленные во время предыдущих встреч с командой Ведадо, сконцентрировали столько внимания на падении Тамакуна. Удивительно, что они не заметили, скажем, разительного контраста между Марком Аврелием и Чупачупсом, – а определила его именно Команда. Контраста, который охватывал различия как в их духовном и телесном строении, так и в манере располагаться в пространстве, во времени, и в самом своем *кубанизме*.

Марк Аврелий казался беззащитным перед Минотавром, но в нем не было страха: он вел мяч с остановками, готовый к нападению на него с самым большим достоинством, которого только можно было ожидать. Само его обличье – поджарый, сутулый, ему практически нечего было противопоставить плотной массе гиганта; его самоуглубленный и медленный ритм, его всегда потерянный правый глаз, вечно ищущий бог весть чего, – все эти признаки ставили его ниже Тамакуна – в поверхностном смысле. Тем не менее мы верили (и это была основополагающая идея в философской платформе Команды), что был и другой план, другая субстанция, в которой хрупкий, косоглазый и невзрачный Марк Аврелий имел неоспоримое преимущество перед грубой силой и ее сторонниками. Чупачупс, напротив, победил Тамакуна на его собственном поле и всем нам преподал урок в тот день – мастер-класс для тех, кто смог его понять. И даже сама Команда была удивлена теми возможностями, которые парень таил в себе. В тот день он продемонстрировал нам преимущества своего строения, своей анатомии – изменчивой, подвижной, текучей. Когда он прыгнул, его тело преобразилось: колено превратилось в грозный форштевень, руки стали утонченными и опустили мяч с мягкостью принцессы, открывающей клетку своего любимого соловья, чтобы выпустить его на волю. В прыжке Чупачупса смешались баскетбол и классический балет, откровенная мужественность сконцентрировалась в его коленях и расчистила поле врагов; некая женственная сладкая субстанция поднялась до округлости руки-кисти-пальцы и отпустила мяч-соловей в полет к кольцу. Из этого синтеза могла бы прорасти долгая популярность и даже целая легенда. Да, из этого синтеза и из этой противоречивой пары, зародившейся тогда для еще непредставимого будущего. Пары – Марк Аврелий Эскобедо и Фредди Чупачупс.

2 ПРОЗВИЩА

Кличка Чупачупс прилепилась к Годофредо Лаферте, как плесень, как переводная картинка, как Семь гномов к Белоснежке. Возможно, кличка тащилась за ним с самого детства, проведенного в квартале Поголотти, а может, с еще более ранних времен – с внутриутробного существования или даже с прошлых воплощений. Есть такие прозвища: они либо растут из глубин организма, изнутри наружу, либо падают свыше, как бы заново окрещивая человека, так что ни один смертный не рискнет усомниться в их полномочиях.

Как известно, чупа-чупс – это такая кругленькая карамелька на палочке, кисло-сладкая, разноцветная. У нее особое предназначение – быть кем-то рассосанной, причем не для утоления голода, а во имя самого процесса, вроде детского развлечения, или пустышки для взрослых, или игрушки. Многие в Колледже полагали, что основанием для клички стали губы Чупачупса – пухлые, подвижные, самой природой предназначенные для сосания леденцов или других объектов, о которых не принято говорить вслух. Другие видели в этой физиологической особенности лишь подтверждение истинного происхождения прозвища, находя метафорическую связь между леденцом и самой личностью Фредди: постоянно тая и услаждая, чупа-чупс до конца остается твердым и с неистребимой палочкой внутри.

Команда из принципа не участвовала в этих дис-

куссиях, но думаю, что все мы склонялись ко второй версии. С тех пор я начал подозревать, что добротные прозвища, появляющиеся и остающиеся с человеком на всю жизнь, которые растут вместе с ним, зреют и стареют, основаны на комплексе физических, психических и моральных качеств, говорящих нам о Душе, Духе и Теле и ведущих свое происхождение из той же мистической субстанции, что и сама жизнь человека.

Бывают случаи очень значимые, достойные изучения и размышления, такие, как сдвоенное прозвище – Красавица и Чудовище. До своего соединения, до того, как любовь примагнитила их, и прежде чем стать самой эмблематичной влюбленной парочкой нашего Колледжа, Лурдес – девичья часть этой пары – не имела прозвища. Эта живая статуя, бывшая Королевой Карнавала в шестьдесят четвертом, могла лишь вдохновлять на мечты, комплименты, вздохи и сердцебиение. Бедняжка Эриберто, напротив, был низеньким, коренастым, кургузым, весь усыпан угрями и демонстрировал необыкновенной величины уши, а также нос, похожий на тромбон. В довершение всех несчастий его рот издавал весьма сомнительный запах, и из многих других отверстий и складок его тела исходили омерзительные выделения, вонь и отрыжка. С той поры, как Эриберто сдал экзамены в Колледж и со всеми своими запахами и вызывающим уродством прошествовал в залитый солнцем дворик, он получил целый ливень всевозможных кличек – самых худших, самых грязных и унизительных. Триждыурод, Блевотина, Квазимодо, Вонючка, король Федерико Паршивый, Газовая Атака, Жаба, Выкидыш, Бородавка и Суперлишай – лишь некоторые из кличек (наименее ранящих слух, поверьте), которыми его нещадно лупцевали. Помолвка с Лурдес Недостижимой превратила Эриберто в Чудовище, и все остальные прозвища, понурив головы, ретировались,

не вступая в бой. Лурдес, в свою очередь, стала Красавицей, и после крестин Колледж признал эту удивительную пару и в определенном смысле благословил.

Называть Марка Аврелия Малым, было скорее шуткой, ходившей между нами, в эксклюзивном пространстве Команды, и не относилось к его телесным и духовным размерам, безусловно, нет, а было обязано его непомерному восхищению перед другим Марком Аврелием, Императором-Философом, Великим. Факт остается фактом – с нашим Марком Аврелием, Малым, все клички потерпели фиаско. Они выстраивались на основе трех поверхностных элементов – его косоглазии, его тощей и длинной фигуре и на ассоциациях, вызываемых его фамилией. Дефект зрения сам по себе произвел классические «Косарь» и «Косуля». Донкихотские параметры тела присовокупились к косоглазию и произвели «Косую Сажень». А фамилия Эскобедо, происходящая, как вы понимаете, от слова «веник», породила неизбежные «Помело», «Веникоиносец» и «Метельщик», столь же глупые, сколь и бессодержательные. «Вениконосный Косарь», тоже вскоре потерпевший поражение, претендовал воплотить в себе сразу три элемента, но все эти клички были вокруг да около – немощные, бессильные, они едва касались только телесного плана и с легкостью рассыпались, не оставив и следа. Марк Аврелий продолжал быть Марком Аврелием, и вся череда его прозвищ оставалась позади, на окраинах, вместе с другой шелухой, отбросами, балластом и мелочовкой – вещами, которые никогда не имели ни пользы, ни смысла.

3 ДВА СЕМЕЙСТВА

Об этих изысканных яствах, предложенных мне, могу с уверенностью сказать: вот это труп рыбы, то – труп цыпленка или свиньи; или еще, это фалернское – просто немного виноградного сока, то пурпурное одеяние – не более чем ткань из старой овечьей шерсти, окрашенной кровью, добытой из ракушки.
В отношении радостей любви, они всего лишь соприкосновение Тел, некое возбуждение, приводящее к выделению сперматической жидкости (...).
Необходимо относиться таким же образом ко всем Явлениям в этой жизни. Когда какая-то вещь представляется в вашем воображении как нечто очень ценное, необходимо изучить ее изнутри, определить ее действительную ценность и освободить от всего того, что может придать ей ложную значимость. Блистательная видимость опасно соблазнительна; поэтому, чем большее влечение имеешь к вещи, которая тебе кажется хорошей, тем сильнее будет потом твое разочарование.

Марк Аврелий.
Размышления, XI, XIII

Представь, что нет частной собственности.
Интересно, удастся ли это тебе.
Что нет причин для жадности и голода...

Джон Леннон.
Представь себе

А сейчас я расскажу о семействе Марка Аврелия, происходившем из провинции Матансас, переехавшем в Гавану в 1961 или 1962 году, и о другой семье, более скромной, возникшей в сомнительном и грубом квартале в Марианао и давшей жизнь и пропитание Фредди Чупачупсу.

Марк Аврелий, его родители и два брата также обосновались в Марианао, но зато в квартале Буэн-Ретиро, как говорилось, «в резиденциях». Этому району когда-то было присуще мелкобуржуазное тщеславие, но сейчас он стал гибридным местечком, еще одной площадкой для Полета Кота: в нем народец победнее и покрикливее отвоевывал себе место, захватывая дома тех, кто выезжал из страны. Они жили бок о бок, сталкивались и смешивались с «историческим населением Буэн-Ретиро», с теми, кто претендовал на некую утонченность. Они все еще поливали свои садики, и старались не приближаться к доминошным столам, и всячески избегали встреч с компаниями неотесанных парней и стаями шавок, а выходили по вечерам на прогулку по авениде со своими боксерами с чересчур маленькой головой, со своими громадными чихуахуа и полысевшими кокер-спаниелями.

К неудобствам, доставленным Переездом (он был как смерч, рассекший надвое семейную Историю), добавилась Кампания против Косоглазия, развернутая матерью семейства, которая поместила заблудший глаз сына в центр своих вожделений. Она хотела выправить его любой ценой и объезжала больницы и врачей, таща за собой крошечного, тщедушного Марка Аврелия, не способного понять смысл этого бредового паломничества в поисках симметрии.

«Мои первые впечатления от Гаваны, – рассказывал он мне, – просто ужасны: белые кабинеты, пахнущие эфиром, медсестры, врачи, лампы, аппараты, которыми мне копались в больном глазу. Лишь значи-

тельно позднее я узнал, что в Гаване есть такие места как Халиско-Парк или Синесито».

Окончательный вердикт вынес врач из Лиги Против Слепоты – как говорили, Знаменитость в благородном деле устранения тех неисправностей, которые Природа подбрасывает нам в качестве напоминания о нашем глубинном несовершенстве. «Слишком поздно для операции, – сказал он, и Марк Аврелий возрадовался. – Но вы не беспокойтесь, сеньора, – прибавила Знаменитость, похлопывая ребенка ладошкой по затылку, – это не помешает ему иметь много девушек и быть вполне счастливым». Предсказание было столь же формальным и фальшивым, как и ласка, но Марк Аврелий сохранил их неприкосновенными в своей Разумной Душе, в чем он неоднократно признавался мне.

Чупачупс родился в сердце квартала Поголотти, гаитянский птенчик, ребенок от здоровенного негра из Гуантанамо, твердо стоящего на ногах, каменщика по профессии, и от женщины, очень белой и очень толстой, гаванки чистой воды, которая, прежде чем сойтись с Антонио (Нико) Лаферте, служила (с униформой и все такое) в торговом центре «Sears» Марианао.

У Чупачупса, младшего и единственного мальчика в бесконечной череде сестер, была самая светлая кожа, он удался на славу и был любимчиком Чаро – его матери.

«Она никогда меня не ругала. Старик иногда бывало, но она – ни разу», – рассказывал мне Фредди, взволнованный воспоминаниями о матери, молодой, пышнотелой, ласковой; он снова видел обожаемое личико Чаро без морщин, без следов времени – мордашку куклы (безукоризненные черты, словно выписанные очень тонкой кистью) на вершине громадного белого тела, блистательного, манящего.

«Я мог уйти из дома, а она только смеялась, ей было весело», – с мокрыми глазами повторял Фредди.

Здесь я сделаю паузу в целях самокритики, поскольку это действие по-настоящему стоическое: оценивая сложную текстуру Чупачупса, я частенько попадал в западню, в соблазн облегченного понимания моего друга лишь как суммы отеческих и материнских черт. В пинке, которым был повержен Тамакун, я видел наследие отца – его силу, его мужественность, идущую с востока, от влажных кофейных плантаций, от гаитян, продубленных солнцем и горными ливнями. Я думал, что невероятная женственность того отточенного и элегантного броска в кольцо вошла в тайные соки Чупачупса из родников Чаро, из необъятного и мягкого тела Чаро, его нежности и слабости, из непорочности ее белейшей кожи.

Я даже дошел до мысли, что бутон рта Фредди был результатом некоего наложения: к толстым африканским губам его отца добавлялся миниатюрный ротик, а-ля Дюймовочка, его матери – вот и все. И что вот таким элементарным, кулинарным образом обреталась могучая чувственность Чупачупса – смешиванием (и смягчением) пронзительного и терпкого сладострастия Нико Лаферте, его открытой манеры поиска наслаждений, с томной страстью Чаро, ее леностью, с теми долгими вздохами, которые доносились глубокой ночью из квартирки в Поголотти.

Благодаря Лесаме и его открытиям в отношении Полета Кота, я нашел в Чупачупсе неведомое ранее сияние, позывы и призвания, не имевшие предшественников ни в сельских поколениях отца, ни в городской, ожиревшей и тягучей жизни матери.

В нем, с его неизбежными генетическими чертами, проявились признаки летучего метиса: возможность обретаться в воздухе, то есть двигаться в чуждой среде, сопряженная с возможностью быть обычным котом пополам с соболем.

Если Чупачупс не останавливался перед тем,

чтобы открыть мне свое сердце, как тогда говорили, и рассказать все о своем детстве сентиментально дрожащим голосом, как того требует тема, Марк Аврелий, напротив, говорил мне о давнем прошлом и о своей семье самым нейтральным тоном, на который был способен, и старался очистить от эмоций свои признания, и подавал их размеренно и дискретно, в стиле самых неколебимых стоиков.

Иногда он добивался в этом успеха, иногда нет. Когда он говорил об отце, Серафине Эскобедо, он печально складывал свои тонкие губы, вертикальная морщина прорезала лоб, и правый, плохой глаз предавался совершенно удивительному блужданию. «Отец прошел через многие трудности, – говорил он мне, – и остался верен себе и своим идеям до конца». Так он рассказывал, имея в виду того человечка, который родился и вырос в Унион-де-Рейес, в самой суровой нищете; ценой бесконечных жертв закончил Торговую школу в Матансас (демонстрируя стойкость бойца, как он говаривал), и который научился общаться с цифрами и зарабатывать на жизнь, став замечательным бухгалтером. Правда, внутри себя, как неограненный алмаз, он хранил гуманистическое призвание, прораставшее из самых недр его Разумной Души и поднимавшееся до искр во взгляде.

Став подростком, он работал учеником в шорной мастерской одного поляка, то есть Поляка, который навсегда остался Поляком, его духовным наставником. «Если бы я не познакомился с ним, – говаривал Серафин Эскобедо, – я бы прожил жизнь, полную вранья». Таким помнил его Марк Аврелий, произнося эти слова с напором и верой. В его памяти возникал также, и жалил раз за разом, презрительный жест его матери. Это был жест, которого Марк Аврелий не мог описать: в нем было презрение и неприязнь, кроме того, он нес в себе налет отторжения физического,

словно отвращения к тому, с чем сыну пришлось потом столкнуться в Подлинной Жизни, в общении с самим Поляком и его уроками.

Благодаря Поляку, Серафин Эскобедо получил некоторые познания в древней истории и греко-латинском искусстве, научился возвышенному и жестокому языку шахмат, он познал то, что открыло ему глаза и показало тупость большинства людей и той обманной жизни, в которой они роются как животные. Кроме того, он прочел книгу, ставшую его любимой, единственную книгу, бывшую именно его собственной, единственной, которой он обладал на самом деле: «Размышления» Марка Аврелия Великого.

Наш Марк Аврелий, Малый, возрос среди бесконечной жестокой войны, в чем-то беззвучной, в чем-то громогласной, между двух противоположных и непримиримых позиций: отца, практиковавшего и защищавшего воздержанность и стоическое презрение ко всяческой помпезности и чванству, с одной стороны, и с другой – матери, происходившей из богатой семьи в Матансас, ощущавшей в скудости (в «нищете», говорила она со сжатыми зубами) ежедневную деградацию, видевшей в философских суждениях мужа тщетную попытку перевернуть понятия и представить поражение победой Добродетели.

Между двумя соперниками находились сын – Малыш, Косоглазый – и Вещи, вещи осязаемые, огромный спектр вожделенных, стольких и столькущих Вещей, которые обитали в журналах и на витринах, в руках других. «Беги от роскоши и богатства», – часто повторял Серафин Эскобедо, и говорил это сыну, цитируя Марка Аврелия Великого, Императора и Философа, и Марк Аврелий Малый соглашался с этим быстрым, едва заметным жестом, боясь, как бы мать не застукала их.

Серафин Эскобедо нашел в «Размышлениях»

некий «идеальный метод», чтобы победить тупое восхищение, вызываемое Вещами в людях. Там и вправду говорилось, что чары будут разбиты и искушения развеяны, но это было не совсем ясно для Марка Аврелия Малого, который никогда и не стал бы ни Императором, ни Философом. Но делалось ясным, что сей «метод» раздражал мать, и она выходила из себя, и взрывалась, и выскакивала из комнаты, хлопнув дверью. А отцу он частенько служил способом победить (по крайней мере внешне) в каком-нибудь споре. Ничто на земле не раздражало так матушку нашего Марка Аврелия, как слова Серафина Эскобедо, разлагающего и смешивающего с грязью какую-нибудь привлекательную Вещь, чересчур дорогую для доходов («нищенских», говорила она) обычного бухгалтера.

Марку Аврелию повезло, потому что, когда он был на самом деле очень маленьким, в семье и в стране произошли некоторые судьбоносные события, позволившие ему до некоторой степени удалиться с поля сражения, вернее, переместиться в менее опасный уголок.

У него появились братец и сестричка, которые тут же были включены в механизм сражений. Естественно, им требовались Вещи (с внутриутробного состояния они были заочными участниками жестоких дискуссий по поводу пеленок и многих других потребностей и возможных нехваток) и они стали для матери новыми жертвами нерадения и бессилия Серафина Эскобедо, а для отца – новыми последователями стоической доктрины, новыми жаждущими Подлинной Жизни и, естественно, слабыми созданиями перед блеском всего Обманного.

Вместе с братиком Марка Аврелия появилась на свет могущественная Революция, шквалом прошедшая по Воображаемым и Подлинным жизням всех

кубинцев: Серафин Эскобедо вышел на улицы как Просветленный и с небывалым энтузиазмом присоединился к буре разрушения и заложения основ. Таким образом, долгая война против жены получила у него политическую окраску.

Когда в стране установилась Карточная Система, мать Малого, наследница богатого семейства из Матансас, у которой чего только не было в свое время, почувствовала себя особенно униженной. «Какая нищета!» – стало ее излюбленным выражением, и оно было обращено уже не к мужу-пораженцу, а ко всему Острову.

В квартирке на Поголотти, где весьма стесненно проживали Чаро, Нико Лаферте и их дети, тоже бывали споры, как и в Буэн-Ретиро, как и везде, но они не носили того характера, что пришлось пережить Марку Аврелию, начиная с младенчества. Они относились к миру материальному (стычки между сестрами Чупачупса из-за выходной блузки, или между матерью и сестрами по причине нечаянно разбитой чашки, или между отцом и Чупачупсом, потому что сынок продал что-то или обменял без его разрешения), в них отсутствовали глубинность и концептуальность, присущие столкновению между Серафином Эскобедо и его женой.

Чупачупс в своем детстве не знал ни жажды, ни пренебрежения к вещам, которые двигали родителями Малого: в этой семье был молчаливый договор по отношению к материальному миру – он был нужен, его искали, он был важен для них, но он не занимал центра.

Важное концептуальное значение имели споры другого типа, те, которые вращались на поле этнико-эротическом, скажем так, хотя временами могло казаться, что речь идет о поле этнико-эротико-религиозном. Ревность мучила Чаро по поводу одной мулатки,

очень красивой, ее соседки, которую она называла «черной колдуньей» с самым большим презрением, на какое была способна. Мать Чупачупса – толстая, белейшая, губчатая – испытывала определенное чувство неполноценности перед плотными каштановыми телесами ее соперницы и полагала, что Нико могут утомить те мягкие, откровенные ласки, которые она, его жена, была способна предоставить, и что поздно или рано он будет обречен искать компактную чувственность его собственной расы.

Эта напряженность распространялась на условия, налагаемые Чаро на претендентов ее дочек: она не принимала ни негров, ни мулатов и призывала потомство не забывать, как жестоко ошиблась она, и чтобы они всеми силами старались Пробиться.

В ее ненависти, в ее отвращении к «черной колдунье» был также и религиозный компонент: Чаро была основателем закрытого Кружка Кардесистов Поголотти, той продвинутой группки, которую она отважно поддерживала в разгар интенсивного процесса перемешивания слоев. Чистота доктрины была сконцентрирована Алланом Кардеком в его основных трудах и в его евангелизаторской миссии. Религии африканского происхождения значили для Чаро Абсолютное Отступление, в то время как кардесизм, свободный от нечистоты, был предпочтительным путем к Духовному Прогрессу. Продвигаться от одного воплощения к другому становилось главным вожделением человека, занятого подлинным духовным подъемом: оставить позади, как шелуху, грехи и низкие инстинкты, бесчисленные подлые помыслы и дела, совершаемые нами на протяжении жизни, и, упражняясь в добродетелях, продвигаться вперед, в сторону Дня Славы, когда наш бесплотный Дух добьется права на пребывание в Свете.

Соседка, мулатка с золотистой антологической

кожей и Попой, не дававшей покоя Нико Лаферте, выставила у себя в гостиной громадный колдовской алтарь, утыканный подношениями и гипсовыми куклами, что означало, по мнению Чаро, безусловный Духовный Регресс. Быть может, Нико тоже слышал зов духов своих предков. Зов Регресса, с горечью думала Чаро. Она не принимала (Кардек того не позволял) методов защиты, предложенных некоторыми подругами: по их мнению, «черная колдунья» забирала у нее мужа с помощью магических уловок, и бороться с ней можно было только на ее собственном поле.

«Никому не ведомо, может, я знала ее в предыдущей жизни, там, в Африке, – кому это известно?» – говорила Чаро, разрывая на клочки рецепты, которые ей давали, чтобы привязать Нико, или чтобы он не смог действовать в постели Другой, или чтобы у нее разорвался в руках Хрустальный Шар, или чтобы страшная кожная болезнь покрыла ее соблазнительное тело. В неодолимой приверженности матери ортодоксальному кардесизму, в ее отказе прибегать к любой нечистой практике, чтобы спасти свою семью, Чупачупс видел определенный героизм. В Чупачупсе, без сомнения, укоренилась материнская идея Продвижения как главной цели любви, поэтому подавляющее большинство его девушек были белыми-белыми. Безукоризненно белыми, и только в одном исключительном случае он сознательно принял одну метиску, правда весьма тщательно закамуфлированную.

Непостижимыми путями, по прошествии времени, конечно же, истлело в Чупачупсе то здоровое отношение к вещам, которое он познал в доме своего детства. Уже во времена Колледжа его ближайшие друзья (из окружения Команды) заметили в нем некую жадность, лихорадочный аппетит обладания, которому, казалось, суждено было расти до тех пор, пока Лжи-

вая Жизнь не поглотит его. Быть может, в нем смешались этническое продвижение, заложенное Чаро, продвижение как Материальный Прогресс, вовсе не цивилизующий, и продвижение не только вперед, но и вверх, то есть продвижение с классовых позиций: как подъем по социальной лестнице и как накопление Вещей.

Но он никогда не принимал кардесистского понимания Продвижения, как его видела Чаро, противопоставлявшая ортодоксальность своих доктриночек религиям, обозначавшим себя как синкретические или афро-кубинские. Фактом остается, что, официально не становясь адептом ни одной из этих религий, Чупачупс больше склонялся к Религиям Отсталости: в них он находил колорит, страстность и некое чудо, которое подмигивало и симпатизировало ему, а образы и ритуалы Отсталые имели значительно больше общего с его вкусами, чем засушенные связи между медиумом и духами, предложенные Кардеком и его последователями в районе Поголотти.

Марк Аврелий полагал, что расплывчатые верования Фредди давали ему некие преимущества перед остальными представителями окружения Команды (законченными атеистами), что он мог понимать, почему люди собираются у дверей церквей, храмов и молельных домов со своими просьбами и сомнениями. В этом он был более толерантен, чем его отец, стоический Серафин Эскобедо, для которого любое проявление «обскурантизма» (католического, колдовского, спиритического) должно было быть осуждено без права на помилование. Но он унаследовал этот отцовский атеизм, пустынный атеизм, где не могло произрастать никакое растение, ничего, что не было бы должным образом просеяно через решето науки и разума. А католицизм матери – холодный, формальный и внешний – не смог служить противовесом или

хотя бы привнести живой, плодотворный импульс, из которого родилась бы хоть какая-то религиозная позиция для Летающего Кота. «Я не могу ни во что верить и готов сказать, что сожалею об этом», – признавался мне Марк Аврелий и рассказывал о «контактах, которые с раннего детства были у Фредди с духами и мертвецами, – так он говорил, – и как ему это пошло на пользу, чтобы связаться с народной идеей кубинцев, с кубанизмом самым глубинным, и это ему пригодилось, чтобы жить, расти и двигаться в этой стране».

Надо бы сказать кое-что еще в пользу Фредди Чупачупса: он всегда сохранял – на пользу или во вред себе – жаркую связь со своей семьей, особенно с матерью, и это была верность самой высокой пробы, таившаяся под золотой бумажкой и тающей карамелькой в твердом стерженьке. С тех пор как Фредди обзавелся собственным домом, он каждую неделю навещал мать и ни разу не забывал, даже когда пошел на повышение и стал ездить за границу, дни рождения своих сестер. «Фредди, как всегда, человек обязательный», – комментировали они, получив подарочек, привезенный им с другого края света. Отца он любил и относился к нему с подчеркнутым уважением, хотя и страдал, когда тот покинул Чаро, чтобы переехать к Другой, соседке, которая не была «черной колдуньей», но удивительно походила на нее и тоже имела пресловутый алтарь – символ Упадка.

Так, чтобы мать не знала (она не смогла бы ни понять, ни простить), Чупачупс приходил раз в месяц в домик на Калабасаре, в новое гнездышко любви, где царил Нико Лаферте, безмолвный и счастливый, как гаитянский вождь, и старался быть вежливым с той женщиной, все еще молодой и красивой, с той «разрушительницей очага», как говорила Чаро, и даже направлял легкий, но почтительный поклон в сторону ритуального уголка.

Марк Аврелий, напротив, никогда не познал счастья насладиться тем, что называется «семейное тепло». Он ненавидел войну между родителями, не чувствовал себя свободно со своими братьями и еще менее – в компании кузена, приехавшего позже: явного воплощения всего надуманного. Малый бежал из собственного дома, чтобы не видеть сцен, ранивших его, и в своем уединении страдал от оторванности от корней, и от сиротства, и от неясного чувства, что у него нет ни роду ни племени. Со смертью Серафина Эскобедо это чувство созрело, сделалось более глубоким и приобрело консистенцию чего-то определенного.

Это была нехватка, проявлявшаяся в некой очень глубокой зоне его Разумной Души, он ее обозначил словом ампутация. Так Малый сказал Чупачупсу и мне, когда мы вновь встретились по прошествии многих лет и поговорили об этом на одной из наших вечеринок девяностых годов. Чупачупс определил это состояние как «некуда деться» или «остаться без прикрытия». «Худшее, что ты натворил, – говорил он Марку Аврелию, – это разрыв с твоим окружением, с людьми твоей крови, теперь ты не знаешь, куда податься, у тебя нет тылов, и это наихудшее, что тебя постигло».

Каждый раз, когда эта тема возникала между нами, Малому – Оторвавшемуся – становилось все труднее сдерживать эмоциональное напряжение, и однажды его плотина дала трещину, и мне удалось увидеть в уголке его плохого глаза скорчившуюся, дрожащую слезу, блеснувшую на один миг. Мужчины не плачут, как известно, а стоики и того меньше, но я прекрасно понимал на своем собственном опыте, что чувствует человек, вырванный с корнем, и то, насколько такая рана может быть болезненной.

Марк Аврелий знал, что ему заповедано клясться,

как это привык делать Чупачупс, «матерью, самым святым, что есть у меня». Он завидовал, если только стоик может завидовать, нерушимости, внутренней глубине такой клятвы. Ясно, что он жестоко страдал не от практических последствий «оставления без тылов», а из-за жгучего ощущения «потери фундамента».

Были и другие родственные связи, значительно менее важные для него: целый фонтан дядей, теть, двоюродных братьев и сестер, которые в массовом порядке эмигрировали в Соединенные Штаты в 60-х годах. Все они относились к материнской ветви необъятного клана из Матансас, в котором всегда и всего было предостаточно.

Когда Серафин Эскобедо переместился в страну Ночи (где, кажется, вообще ничего не может быть), именно мать Марка Аврелия наиболее часто и отважно связывалась с теми обширными тылами, которых она называла, несмотря на время и расстояние, «наши люди».

После поездки в Майами мать привезла пачку открыток, которые Малый был вынужден просмотреть нормальным глазом (согласно матери, единственным, способным фиксировать объект), в то время как плохой глаз блуждал где-то за окном. Он не пожалел: фотки были весьма привлекательными и послужили пищей для дальнейших размышлений.

На фото отсутствовал старший дядя, померший, дядя Маноло, но были все остальные братья и сестры матери, выглядевшие старыми, но удивительно счастливыми и веселыми. Были и кузены, демонстрировавшие улыбку от уха до уха, возможно, потому, что они росли во всех мыслимых направлениях, особенно в стороны – в направлении той толстоты, которая представляла для его матери, матери Малого, признак процветания. Присутствовали и дети кузенов, то есть

двоюродные племянники, и в них тоже были видны следы старинной династии из провинции Матансас – тонкогубый рот, волосы торчком, – что-то из породы господ, надувающих щеки перед камерой. Была на фото и его собственная мать, мать Малого, Гостья, худая, иссохшая, кислая, несмотря на свою маску-улыбку. И, конечно же, там были Вещи, всех цветов и оттенков, полированные и покрытые эмалью, – ничуть не менее важные персонажи каждой фотографии. Блистательные автомобили (один из кузенов за рулем, другой опирается на капот) перед заборами и оградами не менее блистательных домов, а то как же, и все вокруг белого цвета, и одежда и обувь – восхитительные, спортивные и выходные, и кузины весьма элегантные, и троюродные племянницы очень привлекательные, очень розовые и хорошо откормленные, и кухонные комбайны, которые готовят все на свете, и праздники и вечеринки, где отдается предпочтение жареным поросятам, где царят прически, залакированные до хруста, и волшебный «Кодак», способный передавать запахи и вкусы.

Но была там одна фотография другого рода, очень грустная фотография, вызвавшая особый интерес Марка Аврелия. Она привлекла его настолько, что он сделал особое усилие, направив на нее свой правый, неправильный глаз, чтобы оценить ее всеми возможностями своих зрительных способностей. Ее сделали в Диснейворлде, во время прогулки, организованной специально для Гостьи. Дяди, кузены, кузины и кузенята, и мать Марка Аврелия, и Микки-Маус, пес Плуто, и Дональд Дак, и Капитан Гарфио выстроились в две шеренги, словно футбольная команда, чтобы сняться всем вместе.

Это изображение произвело на него сильное впечатление, в нем содержалась, на его взгляд, некая информация о Ложной Жизни, той, которой совсем не

должно было быть на фотках, предназначенных для показа Вещей. То, что потрясало в этой фотографии, – это духовные запросы, страстное желание говорить с Разумной Душой. Малый впервые ощутил в груди сухой удар, его захлестнуло чувство сострадания к своим родным и своей матери, ко всем этим созданиям одной с ним крови, которые сгрудились там, в разноцветном квадратике, рядом с куклами Уолта Диснея.

Из всех и из каждой в отдельности фотографий, привезенных из Майами, можно было сделать вывод: его мать действительно была там, но оставалась эфемерной, как если бы видоискатель ее отторгал, как если бы она сама не могла внедриться в пейзаж, хотя она и вернулась с семью килограммами лишнего веса и байками о «наших людях». Да, фотопоказ сопровождался рассказами о том, как они там имеют все-все (а все-все Там было на самом деле все-все, и ее воспоминания превосходили самое разнузданное воображение), но дело в том, что она не чувствовала себя Там совсем хорошо. Это читалось на лице, отпечатанном на каждом квадратике «Кодака». Наверно, она скучала по своим внукам, по квартире в Буэн-Ретиро, ей не хватало сурового ритма ее привычек. Но Марку Аврелию хотелось думать, что было в этой фотографии что-то еще: что его отец добился своей посмертной победы, очень маленькой победы, едва заметной, но, в конце концов, победы. Возможно, думал он, в результате Пятидесятилетней войны все же запечатлелась, очень тонко, в Разумной Душе матери тень идей Серафина Эскобедо, Поляка и Императора-Философа – того, кто предоставил ему свое внешнее имя.

4 ШАХМАТЫ И ДОМИНО

Чупачупс заявлял при каждом удобном случае, что шахматы ему совершенно не нравятся, потому что «они утомляют» – его слова – и «разжижают мозги». Так он говорил, поглаживая себя по круглой голове с Хорошими Волосами, и переходил к прославлению домино как лучшего дара, который нам преподнесли боги для наших здравых развлечений.

Но это была скорее пустая риторика: хотя он и играл в домино с младенчества, в глубине души он не наслаждался игрой так, как его отец, Нико Лаферте, и дружки из квартала его детства, и другие дружки, из всей череды кварталов, где ему суждено было пожить. Его рассеянность ему вредила: он не мог ни следить за нитью игры, ни хранить в памяти основные правила, ни ориентироваться в разгар схватки, какую костяшку выбрать.

На первом году нашей учебы несколько месяцев Фредди полагал, что нашел в шахматах Продвижение в сравнении с домино, и попытался зазубрить несколько дебютов и выжать все соки из книжечки, которую ему дал Марк Аврелий («Последние уроки» Капабланки). Пару вечеров его даже видели в полумраке Клуба «Пабло Морфи».

Он был безжалостно и многократно разбит и предпочел вернуться к домино, которое чуть менее раздражало его. Домино не заставляет столько думать, и игра-

ешь пара на пару, в окружении людей, пьющих ром, орущих, оценивающих ходы, а проигрыш обсуждается во всеуслышание, при этом напряжение быстро тает и забывается – не таится в Разумной Душе незаметный, но жгучий шрам, который остается после поражения в шахматах. К тому же, будем честны, Чупачупс приписал себе в домино несколько побед, завоеванных с помощью случая и одного хорошего приятеля. А этого шахматы, увы, не могли ему предоставить.

Марк Аврелий Малый ненавидел домино по-кубински. Сама по себе игра была ему интересна, он видел в ней сочетание удачи и хитрости, более изощренной, чем в других играх. На его взгляд, она была похожа на ткань, которую сплетают Подлинная и Выдуманная Жизнь человеков. Но он не выдерживал и десяти минут этого самого кубинского стиля игры в домино: ураган насмешек, уколов, хвастовства и шутливых угроз. Все это казалось ему пагубным, недостойным, способным нарушить сосредоточенность игроков и драматизм ситуаций. Так что он отвергал в домино именно то, что привлекало в нем Чупачупса. В своей оценке, на мой взгляд, он совершал большую ошибку, и мы не раз спорили по этому поводу.

Домино по-кубински – это не просто четыре игрока, сидящих за столом над (в своем восточном варианте) пятьюдесятью пятью деревянными костями. В нем необходимо присутствие некоторого числа так называемых «жаб», ожидающих своей очереди и комментирующих каждый ход. Они реагируют на реплики игроков, передразнивают их. Жабы и их замечания так же неизбежны при игре в домино, как хор в древнегреческом театре. На Кубе невозможно разделить (как того хотел бы Малый) физическую и умственную энергию, содержащиеся в правилах игры в домино и их воплощении в жизнь самими игроками, когда правила выражаются не только устно, но и в виде аплодисментов,

перебранок, взрывов гнева, участия жаб. Чупачупс лучше понимал сущность этой игры-праздника-спектакля, которым является домино по-кубински, хотя мне известно, что Марк Аврелий с течением лет тоже приблизился к высшему пониманию оного и даже отдал ему несколько воскресений из своей зрелой жизни.

Необходимо иметь в виду, что знаки, схемы и концепции шахмат очень рано вошли в жизнь нашего Марка Аврелия и устроились в самом центре его Разумной Души, откуда искажали и затрудняли возможность любого естественного приближения к играм иной природы. Попытка развить среди нас некие шахматы по-кубински не была и не могла быть успешной. Это была ересь, искусственное создание, обреченное на исчезновение, противоестественный мутант, сделанный из кусков, как Франкенштейн. Такая игра основывалась бы не на обмене тех веществ, из которых рождаются на Карибах крепкие метисы и такое неожиданное сочетание, как Летающий Кот, а на возможности побузить без меры и порядка, на всем самом фривольном в национальном темпераменте, на чисто карнавальной страсти определенной части населения рядиться в «народное».

Малый объявил тотальный бойкот этому извращению и, при полной поддержке Команды, внес посильный вклад в его быстрейшее изгнание из Колледжа и окрестностей, а также из Социального кружка «Хесус Менендес» и из Клуба «Пабло Морфи», распахнувшего свои двери, как известно, неподалеку от Амфитеатра Марианао. Я ненавидел шахматы по-кубински не меньше, чем Марк Аврелий, признавая лишь шахматы в полном смысле слова – священное пространство, не являющееся ни игрой, ни наукой, ни спортом, а некой символической, почти религиозной инстанцией, где человек на минимальной площади, во времени, чудесным образом сжатом, воспроизводит свои битвы, свои терзания,

свои способности к нападению и защите, к своей ежедневной битве перед лицом тайны смерти и перед всеми остальными загадками, которые ставят перед ним Случайность, Рок или Божественная Воля. Я любил шахматы, но мог наслаждаться и домино по-кубински и естественным образом переходил от столика с шестьюдесятью четырьмя клетками, населенными пешками, конями и вытянутыми в струнку офицерами, к столику, на котором перемешивают и составляют костяшки, лежащие ничком или лицом кверху, среди вопящих жаб и глотков рома. К несчастью, ныне меня покинула загадочная богиня с тонкими губами и нахмуренными бровями, покровительница шахматистов. Меня окружают лишь вакхические боги домино, разболтанные и непристойные. Я продолжаю играть в домино по-кубински, хотя и с меньшим удовольствием и ловкостью, чем в юности. Ром уже не насыщает эту игру шутовской составляющей, нынче (от мыса Майси до косы Сан-Антонио) ром стал тираном в домино по-кубински, от него грубеют жабы и игроки, и в своем излишестве он убивает лучшее в игре. Как здорово было проскользнуть от молчаливого столика к гогочущему и орущему столу и наоборот, не испытывая комплексов вины и экстремальных состояний. То были две параллельные жизни – наподобие того, как доктор Джекилл счастливо и удобно поживал у своего тихого и целомудренного домашнего очага, а через день проскальзывал черным ходом на улицу, чтобы предаться приключениям Хайда, причем эта двойная жизнь не нарушала ни его покоя, ни равновесия Вселенной. Тогда я мог себе позволить такую двойственность, потому что мои шахматы были не такими, как у Марка Аврелия. Я предпочитал открытые дебюты, которые освобождают пространство для столкновения войск, обширное, как равнина, такое поле битвы в известной мере напоминает стол домино. Марк Аврелий, наш, Малый, чувствовал себя лучше в игре закры-

той, сумеречной, со многими фигурами на каждой стороне. Его обожаемым игроком был Бент Ларсен. Когда Бобби Фишер (Король, Великий из Великих) стал идолом шахматистов и Марианао, и Ведадо, и всего остального, Малый продолжал настаивать, что его кумир – Ларсен. В то время это походило на мазохизм, поскольку датский гроссмейстер уже выглядел настоящим пораженцем. Это была не волна снобизма (Марк Аврелий, как никто другой, был далек от этого типа волн), а необычайная близость к той манере понимать шахматы, ставить задачи, разрабатывать концепцию развития фигур и решения всей партии, которая выделяла Ларсена из всех остальных. Марк Аврелий избегал открытых пространств, парков, стадионов, он прекрасно чувствовал себя в низеньких, плохо проветриваемых комнатах, в прохладе и полумраке барчиков, где он почти не пил (в лучшем случае, глоточек сильно разбавленного рома), а предавался своим размышлениям, прислушиваясь время от времени к болтовне соседа по стойке – знакомого или незнакомого, – и позволял своим глазам (хорошему и плохому) игриво скакать, не задерживаясь, а слегка касаясь, по коробкам, припрятанным в полумраке, по полкам, по бутылкам и рюмкам, выстроенным в ряд перед ним, по затейливым орнаментам на стенах.

Это качество отражалось на его шахматном стиле: играя белыми, он никогда не начинал партию извечным e2-e4 – ходом классическим и прозрачным, самым повторяемым в истории, который приводит иногда к фронтальным сражениям под открытым небом, к перестрелке между ладьями и офицерами, пальбе с одной стороны доски на другую. Его излюбленным дебютом было английское начало – c2-c4, которое допускает тактику боковую, двусмысленную, как если бы кто-то хотел подсмотреть за противником, подождать его реакций, отложить нападение и спрятаться, выдвинув королевского офицера на фланг. Играя черными, на

неизбежное e2-e4 Малый отвечал квинтэссенцией добровольного затворничества – защитой Алехина, в которой белые весело завоевывают поле боя, а черные занимаются бросанием камушков из-за щита и готовят заурядные ловушки, а если позлословить, то делают это не по своей воле, а загнанные в угол фигурами противника и собственным стремлением к погибели. Подобные наклонности нам не кажутся свойственными стоику, имея в виду, что как Эпиктет, Поляк, так и Марк Аврелий Великий считали идеальным состояние согласия с Природой и требовали чистого, определенного, ясного отступления перед законами внешнего мира. В подобных случаях психоаналитики говорят о нерешенных проблемах детства, о стремлении укрыться в материнском лоне, или о «влажной и холодной могиле» Эдгара По. Кардек и его последователи, а также разнообразные отсталые спириты говорят о роковом присутствии рядом с Малым и рядом с Ларсеном некой опасной, мстительной сущности, о неком неприкаянном духе, лишившем себя жизни, не имеющем ни Покоя, ни Света и ничего в этом роде. Иные служители Культа Отсталости поддержали бы гипотезу о проклятом мертвеце, другие нет, а наш Марк Аврелий защищал бы свою собственную версию: он пока ученик, некто, ищущий в потемках бескровного спокойствия стоиков, и в этом процессе он хочет оставаться наедине со своей Разумной Душой столь долго и столь интимно, насколько ему позволяют его общественные и личные обязанности, поэтому он инстинктивно ориентируется на ракушку, на панцирь, на шахматы Ларсена. Меня не убеждал тезис об ученике. Марк Аврелий, по моему мнению, закрывал глаза (и хороший и плохой) на демоническую область своей Разумной Души, которую он должен был освоить и находить в ней поддержку на своем стоическом пути к самосовершенствованию.

Недавно, в те дни, когда я писал эту главу, мне попал в руки старый шахматный журнал, где я увидел партию семидесятого года, в которой Спасский, играя черными, уничтожает Ларсена на семнадцатом ходу. Конечно же, я вспомнил Марка Аврелия. Его кумир (бедняжка) прибег к не совсем обычному английскому началу и двигался, замыкаясь, задыхаясь в собственных фигурах, до тех пор, пока не рухнул в уверенную, а может быть, и желанную погибель. Думаю, что такая игра, устремленная вовнутрь, в самоудушение, связана, с одной стороны, с кризисом современного, просветительского взгляда на шахматы (кризисом, который предвидел сам Капабланка, тот, который привел эту концепцию к своей наивысшей точке), а с другой стороны, с темпераментом Ларсена и с темным, непонятным ядром, пульсировавшим в нашем Малом. За доской они оба были неспособны открывать в классических схемах или самостоятельно создавать острые и продуктивные ситуации и демонстрировали склонность сражаться, съежившись, в защите, в судорожных и невыгодных позициях. Не то чтобы они склонялись к партизанской войне, к подкопам, к обманным атакам, к боковым ударам и своевременному отступлению, – напротив, партизаны избегают находиться в замкнутых положениях, когда их легко окружить. А вот стиль Ларсена – Марка Аврелия просто приглашает противника к окружению, настойчиво провоцирует его монотонными передвижениями своих коней и некрофилией рокировок.

Марк Аврелий и я видели Ларсена почти ежедневно во время Шахматной Олимпиады – 66, проходившей в отеле «Гавана Либре». Мы видели его, а также Фишера, Петросяна, Спасского и других мастеров – Великих, Средних и Маленьких. Но особенно я запомнил один случай, вечером, когда все (кроме Ларсена и его противника) уже закончили или отложили свои партии, когда игра шла только за одним столиком, а зал был

почти пуст. Бент Ларсен защищался в очень напряженном финале (его противник почему-то стерся у меня из памяти), дело шло к завершению одной из тех баталий, в которых его держали за горло на протяжении многих часов, а он продолжал грустное топтание на месте, со своими бессмысленными конями и связанным, как всегда, офицером. Тот день был удачным для него, он выиграл несколько партий, от которых можно было ждать только холодного ножа смерти. Публика хлопала (Марк Аврелий и я и еще пятнадцать или двадцать фанатиков, вечно сидевших в зале), пока он медленно пробирался между столиками и оставленными досками. С бледным, непроницаемым лицом он прошел совсем рядом с нами, поправив прядь очень гладких рыжеватых волос, упавших на лоб. Две минуты спустя из вестибюля послышались крики и в дверь вбежал посыльный; тогда мы еще раз увидели Ларсена – бездыханного, более бледного, чем всегда, – несколько человек несли его в кабинет врача. Ожидая лифта, он упал в обморок по причине жуткой напряженности партии, и сейчас напоминал павшего воина, возможно троянца, убитого у стен осажденного города – товарищи спешно уносят его, дабы избежать, чтобы его тело и оружие попали в руки врага.

Имел ли какое-либо значение тот образ шахматиста без капли крови в лице, павшего уже по окончании сражения? Быть может, какой-нибудь троянский или греческий, датский или кубинский бог хотел передать нам некое послание через этого Ларсена – вялого, слабого, которого грубо тащили по вестибюлю «Гаваны Либре» словно огромную тряпичную куклу?

«Ясно, что это какой-то сигнал, – сказал нам Чупачупс наутро, когда мы ему все рассказали. – И это знак для тебя», – завершил он, тыкая указательным пальцем (оперенным, пронзающим, женственным дротиком) в грудь Марка Аврелия Малого.

5 УТЕХИ ЮГА

Во время экскурсии в долину Пинар я видел колибри, умершего от экстаза.

Хосе Лесама Лима.
Две семьи

Ливия, жена императора Августа, повелела украсить зал своей любимой виллы изображениями густого леса, невысокого, в котором на фоне обильной зелени выделялись желтые и белые цветы и несколько птичек. Я должен был бы выбрать подобную фреску – нежную и простую одновременно, – чтобы представить вам пребывание Чупачупса в армии, и никаких вам военных тем.

Когда он получил Телеграмму, он подумал, естественно, не о птичках и цветочках, а о физичке, той, что звали Гестапо. Ему также представился образ матери, с пузырьками пены в уголках круглого рта, расстроенной, раздувшейся от злости. Из-за физики он продул третий курс, и сейчас, по причине этой самой физики, его ждала Служба в Армии.

Он принес телеграмму в Университет (бумажку, почти стершуюся от многократного показывания) и продемонстрировал ее с очень серьезной миной: сжатые губы, опущенные веки. «Теперь эта сука-нацистка будет довольна, – сказал он. – Она меня отправила, куда хотела».

Он был убежден, что преподавательница физики организовала заговор против него, Чупачупса, с помощью ректора Колледжа и начальника призывной комиссии округа. Она приложила все усилия, чтобы одеть его в зеленое, в цвет авокадо, как тогда говорили о солдатах, и чтобы безжалостно выполоть его голову, пока на ней не останется ни сантиметра Хорошего Волоса. Нико Лаферте посоветовал бы ему не винить ни Гестапо, никого другого, сказал бы, что ему «было предуготовано» заваливать физику каждый раз, сколько бы ни сдавал, что он все равно не закончил бы Университет, что Телеграмма (Эриния, от которой бесполезно скрываться) ждала бы его в конце пути, на повороте, неизбежная, как мораль в басне.

Но Чупачупс знал, что Гестапо была бульдогом с мертвой хваткой и что она вцепилась в него «ни за что, из удовольствия, – повторял он, – из ненависти или из чистого желания Зла». И я напомнил ему в шутку, что между ненавистью и любовью один шаг, и он помянул мне мою матушку. Анхелито Китайчонок присоединился к шутке и сказал, что если бы он, Фредди, был более приветлив с Гестапо, то – кто знает... Тогда он помянул матушку Китайчонка, но уже иным, угрожающим тоном, и мы заговорили о другом. Подколы остались там, на том участке границы, поскольку мы видели, что он все больше злится и что в его облике появляется что-то агрессивное и разрушительное.

А потом оказалось, что ему не так уж не повезло: его отправили в одну из воинских частей Пинар-дель-Рио, недалеко от Консоласьон-дель-Сур (Утехи Юга), и вскоре ему стали давать увольнительные, и он с дружками выходил в город и появлялся на вечеринках, как ветеран, побывавший в ста сражениях. Он еще более почернел от солнца и улыбался, как человек, знающий жизнь и множество симпатичных, но нарочито смешных анекдотов, с бейсболкой а-ля Роландо Ласери на выстриженной голове.

За год с лишним, что он провел в Пинар-дель-Рио, Чупачупс обрел уверенность в себе и в своих способностях и созрел со сверхзвуковой скоростью в самых разных смыслах этого слова. В нем развернулся невероятный талант к купле-продаже, обмену, розничной торговле, экспорту-импорту, всему тому, что называется Накопление. Он собрал весьма значительный капитал в валюте, ходившей в части (банки со сгущенным молоком), и в полной мере реализовал свою сексуальность в объятьях крестьянской девушки, поклявшейся любить его до самой смерти. Как ни удивительно, вопреки требованиям тогдашней моды и духу времени, она сдержала слово.

На фреске в вилле Ливии, меж деревьев, под размашистыми синими мазками, означавшими римское небо (или небо Пинар-дель-Рио), посреди порхания птиц, в просвете листвы надо было бы нарисовать силуэт Тере – Терезы, ее примитивную красоту, простодушную, почти аллегорическую: юная пастушка, присевшая чтобы отдохнуть. Перед ней стоит Чупачупс – в чересчур широкой оливковой форме, с длинными руками, женскими пальчиками, в русских, мужицких сапогах, с чувственными губами, созданными для сосания. Ему очень идет роль принца-охотника, открывающего себе путь через заросли, чтобы поохотиться на куропатку, кабана или оленя и натыкающегося на столь волшебный и драгоценный подарок.

Не хватает реки. Надо бы нарисовать ее где-нибудь. Может быть, некий намек в глубине, словно подмигивающий со склона вон того холма. Но без реки нельзя. Не потому, что это Дунай, Тибр или Амазонка, это не так. Это даже не Альмендарес. Большую часть года эта речка пересыхает во многих местах, укрывается и успокаивается в омутах и заиливается в жалких ямах, где живет в окружении лягушек, москитов и других букашек. Но без реки нельзя, потому что

в ее водах отдались друг другу, и купались голыми вместе Тереза и Чупачупс, как боги или полубоги, или как остриженный фавн и крошка-нимфа, почти ребенок, почти совсем белая.

Эта река, или речка, или речушка, этот слабый поток холодной воды, поднимающейся из глубин земли на косогор (который еще не стал холмом, а тем более горой), представляет собой, возможно, самое ценное в бурной жизни Фредди Чупачупса. Более ценное, чем его банки со сгущенкой, и его начищенные сапоги только-для-праздника, и многие другие его вещи и ценности. Я не говорю, конечно же, о реке самой по себе – здесь и река, и Тереза, и вечер опускается на горы, на реку и на влюбленных.

Чупачупс потерял все это, но было бы абсурдным винить его, просто это был вид таких возможностей, которые всегда теряются. И он лишился своего шанса, в своей манере, конечно, но это случилось бы и с Марком Аврелием, и с Анхелито Китайчонком, и любым из приятелей по Колледжу, и со мной, безусловно.

Пребывание Чупачупса в воинской части Утех Юга строилось вокруг символической оси, ставшей наваждением и загадкой для рода человеческого с первых его шагов по этой долине слез: это ось, которую образуют Вода и Огонь, сплетенные с самой Жизнью, и с Движением вперед, и с непостижимыми чудесами, и со смертью, и с ужасными несчастьями.

Жидкость, по сути своей питательная, а именно молоко, должна была бы присоединиться к этим двум основным элементам, но не в своем природном состоянии, а тщательно обработанная в том случае, который нас занимает, достигшая невероятной концентрации за счет обильного добавления сахара, и помещенная в железные банки для хранения, транспортировки, торговли и надлежащего потребления.

Воды реки приобрели некую магическую окраску в отношениях между Чупачупсом и Тере: это была идеальная среда для взаимного исследования тел, для обретения неотравленного наслаждения, ведущего начало от времен младенчества рода человеческого. Это была крестильная купель, потому что там они родились еще раз, и вторично крестили один другого, и обрели новую ипостась, как существа, созданные из любви и для любви; это было очистительное пространство, потому что Тере омывалась от своих грехов в то самое время, как их совершала, а Чупачупс (который еще не познал Вины) ощущал себя чистым и свежим, каким он никогда больше уже не почувствует себя.

Сгущенное молоко, тягучее, сладчайшее, энергетически насыщенное, излюбленная пища олимпийцев, было в банках – главная ценность! – и Чупачупс накапливал эти банки всеми возможными способами. Не было юридического или физического лица во всей округе, ни разбогатевших крестьян, ни государственных магазинов, никого не было в воинской части или в муниципалитете Утехи Юга, ни вообще в провинции Пинар-дель-Рио, никого, абсолютно никого, чьи запасы сгущенки могли бы соперничать с собранием Чупачупса. Доставал он эти банки самыми непредставимыми способами, и рыл норы в недоступных местах, чтобы укрыть их от воров и инспекций, а потом отмечал эти захоронения по системе Капитана Флинта, и использовал их только для масштабных сделок, и всегда извлекал из них наибольшую прибыль.

Чупачупс никогда не был скупцом. Скорее, он старался быть, в своей манере, конечно, благородным и щедрым: он вовсю наслаждался обладанием Вещами, он их любил, работал как вол, чтобы сделать их своими, и в то же время хотел, чтобы семья и приятели – а как же! – тоже получали от них пользу и чувствовали себя хорошо, живя посреди его вещей и пользуясь ими.

Но в специфическом контексте той воинской части и в отношении сгущенного молока в нем пророс некий неприятный, нечистый, скаредный дух. Только двум людям он давал по нескольку своих обожаемых банок без жадности и сожаления: Чаро, естественно, когда она посещала его проездом в Гавану, и Тере, влюбленной крестьяночке. Тере отплачивала своему жениху (так она и говорила о Чупачупсе – мой жених) подарками, носившими примитивное очарование деревни. Она таскала фрукты, яйца и даже съедобную живность с маленькой фермы родителей, а Любовь стирала из ее Разумной Души всякий признак Вины, она была счастлива, когда длинные и мягкие руки Чупачупса принимали те подношения и оценивали их на вес, или когда он нюхал их своим приплюснутым смешным носом, или когда он отправлял их в свой эротичный рот (если речь шла о гуайяве, манго или сладком апельсине) и кусал их, и обсасывал, и улыбался липкими губами, и эта улыбка предназначалась ей, Тере, и тому плоду, который она принесла ему. Благодаря невинным хищениям Тере, Чупачупс попробовал темную и дикую плоть гвинейского банана и мягкое, ребеночье, ни с чем не сравнимое мясо копченого поросенка, он познал подавляющее превосходство креольского яйца над его незаконнорожденным братцем, яйцом с фабрики, «которым не наешься», говорила Тере, «оно не производит кровь», так она говорила и тайком пробиралась на рассвете в курятник отца, чтобы собрать трофеи, только что снесенные, еще тепленькие, и отнести их своему жениху, голодному солдатику.

Эта история любви, эта идиллия Пинар-дель-Рио не имела счастливого завершения или хотя бы одного из этих «открытых» финалов, когда остается надежда, что влюбленные вновь встретятся, – ну, нечто на волне более или менее романтической. Она завершилась трагически, Огнем.

Горько сознавать, что роман, в котором одну из центральных ролей играли воды невинной и прозрачной реки и жидкость более сладкая и тягучая, но тоже безгрешная, сгущенное молоко, может закончиться столь жестоким ударом, столь обжигающе неправильно. Чупачупс все время предпринимал разные ухищрения, чтобы его перевели в другую часть, поближе к Гаване, и наконец достиг цели: приблизиться к столице было бы (это же ясно) еще одним выражением Продвинутости. Он упаковал свои банки с молоком и остальные вещи и имущество и раздумывал над тем, что ему сказать Тере. Его ужасала сцена прощания со слезами и упреками, лицо Тере, обезображенное невыносимой болью, рыданиями и бог весть какими злыми словами. Он решил написать ей несколько строчек и передать их вместе с небольшим подарком (маникюрные ножнички, десять или двенадцать банок молока и его брелок для ключей, сделанный из лапки кролика и принесший ему столько удачи). Он пообещал регулярно писать ей и навещать, как только сможет. Он попросил одного из новобранцев, своего друга, человека серьезного, честного, не способного взять одну из банок для собственного собрания, найти Тере и передать ей письмо и тщательно завернутые подарки и удалился с болью в сердце, и это правда, от тех мест – от леса, от реки, от одной из тех возможностей, которые всегда исчезают и больше не повторяются никогда.

Потом пришло известие, преодолевшее бесчисленные препятствия, пока достигло Чупачупса, уже прекрасно устроившегося в новой части, очень удобной, почти городской, в Мадруге, где он начал создавать более цивилизованную торговую сеть, гибкую и подвижную.

«Тере сожгла себя» – так было сказано в записке, с прибавлением других ужасающих подробностей,

записке, присланной другом, солдатом серьезным и честным, которому он передал свое поручение. Она подожгла себя, да, и никто и ничто не смогло спасти ее от Огня и его всепожирающей власти: ни родители и братья, ни зверушки, ни благословенные плоды, ни природа, окружавшая ее с самого рождения, ни брелок из лапки кролика. Ничто не могло привязать три ее субстанции к жизни и подарить ей утешение, покой или удачу. Тере вылила на себя не очистительную воду, не благословенную воду реки, а галлон чертова керосина, чтобы сгореть, даже не позволив себе вскрикнуть на этом коротком поприще.

Вместе с образом Тере, облаченной в безмолвное пламя, с этим действом, не имевшим ни цели, ни будущего, во Фредди Чупачупса вошла Вина.

6 ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Так что, сержант Пеппер застал тебя врасплох.
Будет лучше, если ты посмотришь ему в глаза.
Эти придурки были правы, говоря, что ты уже мертв.
Единственная ошибка, которую ты совершил, была у тебя в голове.
Как тебе спится?

Джон Леннон.
Как тебе спится?

Когда Чупачупса и Марка Аврелия призвали в армию, а Анхелито и я выбирали факультеты, чтобы продолжать учебу в университете, нужно было прилагать немалые усилия, чтобы общаться и сохранять «непрерывность Команды», как говорил Китайчонок и сам собирал нас в конце недели в доме своей подружки Бетти «на рюмочку». Он безапелляционно утверждал, что только музыка может быть великой связующей силой, способной сохранить наше единство, и заставлял слушать его собственную коллекцию Битлов, Дилана, Дженис Джоплин и «Роллинг Стоунз». Так что, когда Чупачупс был в увольнении и мог заходить на эти посиделки, все мы были счастливы в этой ожившей Команде, с чудесным ощущением, что наше отрочество не закончилось, что оно может

продолжаться (наивно полагали мы), несмотря на неведомые вызовы судьбы, а потом перелиться в новую, взрослую жизнь, лежавшую перед нами. Это было утопией, которая должна была развеяться еще тогда, но воскресла и вновь потерпела крушение позднее, значительно позднее, в девяностых. На пути к «непрерывности» перед Анхелито Китайчонком и всеми нами вскоре встали определенные преграды, из тех, что зовут непредвиденными, и которые никто и ничто, даже музыка, не смогли преодолеть. Теперь Китайчонок изучал инженерное дело в Техническом Университете, а это ведь просто край света, в утешение он сменил Бетти на одногруппницу, жившую неподалеку, в Сан-Мигель-дель-Падрон, и восстановленная Команда утратила свою штаб-квартиру и все оборудование, имевшееся там: гэдээровский проигрыватель «Аккорд» и чешский пленочный магнитофон марки «Тесла». С новой девушкой Анхелито, которая из Сан-Мигеля, мы так и не познакомились, хотя полагали, что она должна быть красивой и добродетельной, если иметь в виду все то, что потерял Анхелито и вся наша Команда, распростившись с Бетти, с ее удобным и выгодно расположенным домом, с ее любезными и уступчивыми родителями, с ее магнитофоном и проигрывателем. Помню, как в ту пору мы собрались у меня в доме на чрезвычайное собрание Команды, неполной (по уважительной причине не хватало Анхелито), и заговорили об этой невесте-призраке. Чупачупс язвительно предположил, что, возможно, Китайчонок «продвинулся». Он сказал: «Кто знает, может, аппаратура у Этой в сто раз лучше, чем у Бетти, – японская, стереофоническая, и ты слышишь Дилана, как если бы он сам тут был». Марку Аврелию эта инсинуация не понравилась. «Анхелито пошел на это из-за любви», – сказал он сухо, почти резко, со строгим выражением на лице,

словно хотел напомнить нам о верности друг другу. С той поры наша Команда рассыпалась: Фредди вернулся на гражданку и начал работать в Министерстве торговли, Анхелито для завершения образования поехал в СССР, Марк Аврелий Малый поступил на юридический в Гаванский университет, а я на филологический. С тех пор мы, как выяснится потом, встретимся вчетвером лишь спустя двадцать с лишком лет.

Право и Литература находились на одном Факультете, том, что назывался тогда Гуманитарным, и это обстоятельство позволило выжить по крайней мере одной части Команды. Когда мы поступали на Факультет, Малый и я верили в покровительство девяти Муз, в мудрого филина – птицу Минервы, наук, чтения и плодотворной бессонницы. Вскоре мы открыли, что там обитали также малые демоны ночи – злые волшебники, домовые, грызуны и прочие неожиданные зверьки. Даже наша дружба (последний духовный оплот Команды) оказалась под угрозой из-за напряженности, царившей на Факультете, и из-за противоречий и войнушек между его Школами. Школа Права и Школа Политических наук были, скажем так, идеологическим авангардом на фоне менее устойчивой Школы Журналистики, где уже замечались некоторые брожения, и особенно на фоне Филологической, бывшей, по существу, символом экстравагантности, самодостаточности, интеллектуализма и зарубежного влияния, не говоря уже о других отступлениях от правил и моральных устоев. Эта карикатура на Филологическую школу, современный Содом, возведенный на углу улиц Сапата и «Г», смогла-таки повлиять на стоическую чувствительность Малого, который вынужден был затрагивать эти темы в наших разговорах и давать мне советы по поводу Ложной Жизни и ее многочисленных воплощений. В нашем Марке Аврелии не было идейного неприятия (как у

многих его товарищей по учебе) того, что некоторые мужчины носят длинные волосы и обуваются в сандалии, что девушки с филологического носят миниюбки, ни даже того резкого роста числа геев и лесбиянок, о котором твердили злые языки, – его занимала тема эксгибиционизма, этого желания представить себя иным в глазах всего мира, ребяческая страсть выглядеть по-модному, вместо того, чтобы следовать указаниям Бытия и Природы. «Если кто-то является отличным от других, если кто-то чувствует себя духовно иным, – говорил он мне, – он должен быть таковым в глубине своего «Я» и демонстрировать себя перед другими, только являя добродетели, а не наряжаясь так или сяк или следя за поветриями, потому что в этом-то и есть отрицание Естества и Неповторимости». Примерно так он говорил мне, и меня ужасало, что стоические учения Марка Аврелия Старшего, Серафина Эскобедо и Поляка могут укорениться в нем в виде лозунгов и словес, употреблявшихся идеологическим авангардом Юридической и Политической Школ. Наш Марк Аврелий, Малый, этим путем мог бы прийти к самому опасному экстремизму: стать философски подкованным Торквемадой, сознательным сторонником «жесткой линии», естественным экстремистом по определению. Передо мной шли на сближение, как два космических корабля перед стыковкой, морально-философский аппарат стоицизма и аппарат догм идеологического авангарда, а я пытался ставить препятствия и выдвигать аргументы, которые предотвратили или хотя бы отсрочили стыковку. «Ты не помнишь случайно, – спрашивал я его, – во что были одеты стоики времен Великого? Не надевали ли они какую-нибудь мантию, чтобы отличаться от знати и от толстосумов, получше одетых? Не позволяли ли себе отращивать волосы или отпускать бороду в беспорядочной, но вызываю-

щей манере? Не было ли некой стоической моды, которую принял сам Великий без сожалений и сомнений?» Так говорил я в несколько возвышенной, но содержательной манере. А Малый улыбался своим тонкогубым ртом, как будто тысячу раз он уже задавал себе эти вопросы и давно разрешил их. «Подлинный стоицизм, – говорил он, – не имеет ничего общего с внешностью, ни с теми, кто практиковал или практикует стоический эксгибиционизм. Не путай: неряшливость в облике Великого была не модой, а отказом, отсутствием интереса к чему-то наносному, к моде как таковой». Так он сказал, и снова улыбнулся своей горькой улыбкой, и позволил, чтобы его правый глаз, плохой, ушел куда-то вдаль, и пересек площадь Каденас, где мы разговаривали, сидя на скамье, и спустился, подпрыгивая, по ступеням Университета, и затерялся где-то на улице Сан-Ласаро.

Я снова спросил, разыскивая взглядом его левый, здоровый глаз: «А не является ли более неестественным или феминизированным, – так я сказал, – не относится ли больше к Ложной Жизни тот тип, который идет в парикмахерскую, чтобы цирюльник подправил ему височек или сделал ему пробор и залил голову бриолином, чем какой-нибудь хиппи, отдающий свои волосы во власть Природы? Кто ближе к Подлинной Жизни – буржуа в воротничке и галстуке или Джон Леннон?» Марк Аврелий позволил себе вздох и усталый жест, и я понял, что он удаляется вслед за его плохим глазом. «Мы оба знаем, что Леннон стоит бесконечно больше, чем все буржуа вместе, столпы всего Придуманного, – сказал он, – и мы уверены, что Леннон работал ради Подлинной Жизни, хотя иногда он принимается позировать и ему не хватает чувства меры», – произнес он на прощание. Дело в том (он мне сам рассказывал), что знаменитый пацифистский призыв Джона и Йоко, когда они сфо-

тографировались голыми, желая направить миру послание любви, имел для него неистребимый привкус позы. «И еще, – прибавил он, – те, кто подражают ему и носят такие же кругленькие очки и держат стиль Леннона, не обращая внимания на его Послание, более походят на буржуа, чем на Леннона. Не давай Внешнему обманывать себя».

Ему мешает нудизм Леннона, подумал я, но он хотя бы верит в него, и это решительно отделяет его от идеологического авангарда Школ Права и Политических наук и от тех, кто видит в роке и во всей той музыке, которая с чарующих дней в Колледже стала для нашей Команды своей, видит в Ленноне, Дилане, Дженис Джоплин опасную волну иностранщины, которую надо безжалостно извести. Правда, здесь стоило бы задуматься и о себе самом: ведь и я принял моду на Леннона, и Лупе, моя подружка по Филологической Школе, гордо носила имитацию знаменитых ленноновских очков. Наверное, Марку Аврелию следовало научиться видеть разницу между имитаторами, эксгибиционистами, пустоголовыми, которые следовали моде на Леннона, а не его Посланию, и теми (такими, как Лупе и я), кто претендовал на постижение диалектического единства моды и послания, формы и содержания, связи Внешнего с Подлинной Жизнью.

Но вскоре наш Марк Аврелий еще больше отдалился от идеологического авангарда Факультета: ему стало понятно, что некоторые из тех, кто больше других кричал на так называемых Ассамблеях по радикализации, строили свои выступления не на базе ядра своей Разумной Души, единственной законной опоры для мыслей и действий политического характера. С каждым днем они все больше напоминали ему стоиков-эксгибиционистов, живучих паразитов, которые в Риме второго века нашей эры препятствовали осу-

ществлению воспитательной и просветительской миссии Марка Аврелия Великого, смешиваясь с подлинными философами и сея в народе сомнение и хаос. Малый отрицал митингование как средство убеждения, и его сдержанность, его склонность к взвешенному диалогу, желание уловить оттенки там, где прочие видели лишь антагонистические отношения, приводили в смятение самых активных представителей сомнительного авангарда. Однажды вечером я предложил ему сходить вместе в Кармело-де-Калсада, где собирались гаванские хиппи, он согласился. Думаю, что скорее из любопытства, чем по другой какой причине. «Я позвонил Китайчонку, он тоже должен прийти, – сказал я, – так что из Команды не будет только Фредди». Мне показалось, что из его здорового глаза на мгновение вылетело облачко сентиментальности, двигавшееся в воздухе (влажное, ватное), пока не достигло неправильного глаза. «Команда», – сказал он, словно пробуя на вкус это слово, не произносившееся так долго. «Да, Команда», – повторил я.

У хиппи на Кармело не было идеологического авангарда в прямом смысле слова, был некий интеллектуальный авангард, были такие, кто читал Лао-Цзы или Книгу Дао и запросто говорил о кино, литературе и философии. У меня были друзья среди них, и мне хотелось, чтобы Марк Аврелий и Анхелито познакомились с ними. Но в тот вечер (как я потом узнал) в синематеке показывали «Лицо», и авангард не мог позволить себе пропустить эту картину. В такой ситуации мы вынуждены были согласиться на массы, обсуждавшие распад Битлов и разделившиеся на сторонников Леннона и Маккартни. Черный и высокий хиппи с волосами а-ля Джимми Хендрикс анализировал каждую из песен, появившуюся под двойной мар-

кой Леннон–Маккартни, и показывал, где брала верх волна или темперамент (так он говорил) Пола, с его светозарными вспышками, с его высочайшей пробы оптимизмом, а где – сомнения и полутень Джона.

Другой, едва ли не ребенок, почти альбинос с рыжеватыми волосами, торжественно утверждал, что мир не останется прежним после распада «Битлз», и многие соглашались с ним, покачивая лохматыми головами. Была там дурочка хиппи, очень театральная, пытавшаяся перевести разговор на частную жизнь Битлов. Она освобождала от всякой вины за катастрофу, то есть за распад группы, жену Маккартни, Линду Истмэн, и устремляла звериную ненависть на Японку, как она говорила, чтобы не произносить проклятое имя Йоко, которую она винила во всех разногласиях между Великими. Ей было не понять, как Джон, бывший не самым красивым, но излучавший первоклассную волну, мог «сойтись», как она говорила, с такой страшной, такой азиатской женщиной, а закончил тем, что женился на ней и даже поговаривал о том, чтобы завести ребенка. «Что бы из этого вышло?» – спрашивала она трагически и бросала взгляд в ночное небо, словно требуя от него ответа.

Джон, совокупившись с Йоко, не породил бы узкоглазого Битла или японку с русыми волосами и круглыми очочками. Появился бы Летающий Кот.

Это был бы идеальный ответ, но он почему-то не пришел мне на ум. Ни мне, ни Марку Аврелию, ни Богу, который, возможно, проплывал над Кармело-де-Калсада, и Лесама тогда еще не написал свою поэму. Ключевым вопросом был другой. Вопрос этой ночи приходил и уходил, повторяясь в разных формах и тональностях: «Кто из этих двух Великих более способствовал Чуду Битлов?» Малый не стал говорить. Ему не нравилось делать это в многочисленных ком-

паниях, он предпочитал наблюдать за их таинственным микромиром. Анхелито не пришел еще. И хотя мы собрались вовсе не для того, чтобы обсуждать эту тему, и не было никакого уговора по этому поводу, я решил выдвинуть то, что, на мой взгляд, стало бы «официальной позицией» нашей Команды: Маккартни сыграл, безусловно, большую роль – с его музыкальным талантом, его грацией, его приятными на слух, притягивающими, прилипчивыми темами – но «Битлз» не были бы «Битлз» без революционного толчка Леннона, без того несогласного, ищущего, иронического духа, который стал ключом к основанию нового стиля и языка. Команда Маккартни («люди Пола», говорили они) взбунтовалась. Пол, и только Пол, по их мнению, поставил утверждающую печать Света и Красоты, которые находятся в самом основании «Битлз». Леннон чересчур горек, жизнь для него слишком попахивает говнецом (так они говорили), так что он не может быть создателем этого источника Света, источника любви и молодости, которые есть и всегда будут в «Битлз».

Когда я увидел силуэт Китайчонка, быстрым шагом пересекавшего Парк Кармело, я понял, что все было кончено для сторонников Маккартни. Они уже проиграли, им не было спасения, они уже умерли, еще не умерев, как злодеи из кино, когда Рэмбо только приближается: они неотвратимо должны быть уничтожены. Но несчастные прекрасно чувствовали себя, полагая, что они на Взлете, и разворачивали шумное наступление, и Леннон становился каким-то скрюченным, не совсем правым по сравнению с Полом – блистательным, совершенным и гармоничным, как бог, как Аполлон, который все попадающее в его руки превращает в музыку небес. Анхелито дождался своего времени, чтобы вступить в спор. Но

для начала он переговорил с Марком Аврелием и со мной, спросив, не слышно ли чего от Чупачупса и как у нас дела на Гуманитарном Факультете, как насчет девочек, что случилось с таким-то и таким, и расспросил о наших семьях, а потом сообщил нам, что вскоре поедет учиться в СССР, в Новосибирск, где ему дают стипендию. «Там есть очень хорошая рок-группа, – сказал я ему, – «Блин Стоунз», обязательно поищи их диски». – Так я сказал ему, и Анхелито согласился, улыбнувшись, и пообещал мне прислать последний лонгплей этой группы. И вот тогда, к своему несчастью, не зная, что он копает себе яму, в разговор вмешался какой-то тип из команды Маккартни. Он был немножко зомбированный, как будто наглотался таблеток. «Слышь ты, китаец, – сказал несчастный сурово, уперев в Китайчонка указательный палец и свои бесцветные глаза. – Ты, случайно, не родственник Йоко? Что ты думаешь о Великих? Ты на чьей стороне?»

И Анхелито спросил у него, можно ли узнать, кто такие эти Великие, и обкуренный хиппи засмеялся (бедняжка, он уже никогда не будет смеяться): «Пол и Джон, кто же еще?» – «Для начала, – сказал Анхелито, – надо бы узнать, говорим ли мы о музыке, о музыке всерьез, или говорим о конвертах для пластинок». Так он сказал и язвительно обвел глазами всю эту массу кармельских хиппи. Воцарилась густая тишина, и обе группировки подошли, чтобы послушать этого неведомого китаезу, настолько уверенного в себе, что он казался абсолютным обладателем истины и ее ближайшей округи.

«Если речь всерьез идет о музыке, то первое, что надо сделать, – это поставить Маккартни на место, – здесь он приостановился, позволив, чтобы надежда запорхала над «людьми Пола». – А место, которое соответствует Маккартни, – так он сказал, – его

истинное, точное и честно заработанное место, – это место успешного производителя тростниковой браги. Это его место, и никто его не отнимет». В этой жесткой манере начал он самую целенаправленную, аргументированную и крепкую речь из всех, что когда-либо произносились на Кармело-де-Калсада со времени его основания. В ненаписанной истории, в устной традиции, та «оратория» и то собрание стали называться, соответственно, «речью тростниковой браги» и «ночью Анхелито Китайчонка».

Да, неумолимый Кронос позже проделает свою работу, и Анхелито уедет учиться в Новосибирск, и Марк Аврелий и я вернемся на Гуманитарный Факультет, а хиппи объединятся в Бригаду «Сдаемся», чтобы рубить тростник и завоевывать моральное право на ношение длинных волос и на звание признанных хиппи, хиппи с удостоверением; в своем редком упрямстве они будут возвращаться, полураздавленные, забитые, но так и не побежденные, в Кармело и его кладбищенский сад на перекрестке Калсады и «К», но, пока хватит памяти, в их среде будут с восторгом говорить о «речи тростниковой браги» и будут вспоминать «ночь Анхелито Китайчонка» как «Ночь Печали» для сторонников Маккартни и как ночь окончательной победы для тех, кто за Леннона.

7 ВЗЛЕТ ЧУПАЧУПСА

Чупачупс демобилизовался и несколько месяцев ходил как потерянный, словно потерял нить – дорожку, которую судьба провела своим невидимым перстом.

Чаро желала, чтобы он поступил на подготовительное отделение, а потом и в Университет. «Ты мог бы стать великим врачом, Фредди, знаменитым хирургом, – говорила она ему. – С твоими руками, с твоими пальцами, просто представить себе невозможно, сколько бы ты мог сделать, чтобы исцелять страждущих». Так она говорила, и ласкала толстые щеки своего ребенка, и целовала его в лобик, словно хотела прояснить ему свои задумки и его дальнейший путь. А Чупачупс в нетерпении заводился: он чувствовал желание работать, добывать собственные деньги, двигаться, *продвигаться,* хотя пока и не знал, куда. «Ты представляешь себе? – продолжала мать нараспев. – *Доктор Годофредо Лаферте* – надпись синими буквами, вышитая на кармашке белого халата, и длиннющая очередь простых людей, которые приходят отовсюду, чтобы ты вылечил их. Уверена, что в предыдущей жизни ты был одним из этих великих медиков, я читаю это по твоим рукам». И Чупачупс с сомнением покачивал своей круглой головой: «А что, если на подготовительном меня ждет такая же гадина, как Гестапо, – что она сделает со мной?» Это был весомый аргумент, который Чаро принимала озабоченно: ее

сын был обречен на это, его всегда будет преследовать зависть. Со Светом, который он излучал, от Гладких Волос до ботинок, не могло примириться целое войско злобных духов, скрытых или явных.

«Они завидуют тебе за то, чем ты ценен, но ни один завистник не справится с тобой, – повторяла Чаро, чтобы придать сыну уверенности и силы. – Пусть они не обманываются в отношении Годофредо Лаферте». Так говорила Чаро, и в ее голосе звучали сверхъестественная энергия и затаенная угроза.

В конце концов, Чупачупс поступил не на подготовительное, а на курсы Техников по метрологии и контролю за качеством. Три вечера в неделю он посещал грязную аудиторию в Мансана-де-Гомес, а днем работал в Департаменте общественных отношений и распределения Министерства торговли, где был помощником помощника еще одного помощника, который в свою очередь, помогал еще кому-то.

Там он очень быстро выделился, благодаря своей смекалке, обаянию и легкости, с которой мог заводить полезные контакты (которые Департамент мог затем реализовать в свою пользу). Потом он был повышен до специалиста, в виде исключения, конечно, поскольку у него не было нужного образования, а затем стал Заведующим отделом распределения – должность, без сомнения, самая важная и *звучная*. Там, в Министерстве, он познакомился с очень влиятельным человеком, который вскоре стал ему практически вторым отцом.

Выдвижение Чупачупса в руководители отдела, в полном смысле слова стратегическое, сопровождалось Взлетом в области любви, как это часто бывает при самых разных Взлетах. Он сам однажды убедился в этом, совершив свой победный прыжок в баскетбольном матче против Ведадо, ведь это был, кроме того, прыжок в Зал Славы. Чупачупс почувствовал,

что министерские структуры стали для него помягче, повлажнее – доброжелательными, хлопающими ресничками, кокетливыми. Он ходил на прогулки с несколькими привлекательными белыми девушками из своего Отдела распределения и из других отделов и подразделений: финансового, планового, организации труда и зарплаты, вплоть до бюджетных структур, подчинявшихся центральному аппарату. Однако женщина, которая завоевала его Тело и обе Души, зарабатывала на хлеб очень далеко от Минторга и его забот, в одном из клубов в Гуанабо. Была она высокой и статной, практически белой, несмотря на чрезмерно крупную задницу и еще одну деталь, менее заметную. Ее голос взмывал к небу, чтобы опуститься затем, как медленный дождь на море. Она была крещена как Ампаро де ла Каридад Фонсека Торре, и лишь немногие близкие, очень немногие, которые знали ее с детства или с самой ранней юности, иногда отваживались называть ее Ампарито, поскольку она отвечала только на имя Норка, Норка де ла Торре, которое сначала было ее псевдонимом, а потом стало окончательным и подлинным именем. Ее можно было определить как Прекрасную Зрелую Женщину или как Падающую Звезду.

Они познакомились по чистой случайности, как позже выразилась сама Норка. Профсоюз Министерства торговли заключил договор с Предприятием общественного питания, развлечений и ночных представлений Восточных пляжей и зарезервировал несколько столиков в клубах и кабаре, чтобы предоставить их затем передовым работникам.

Руководящие работники, как известно, не участвуют в соцсоревновании и не пользуются теми благами, которые полагаются победителям. Так что Чупачупс занял место за столиком этого клуба в Гуанабо не из-за своих личных заслуг (которые у него были, конеч-

но же), а благодаря достижениям своей ночной спутницы – девицы очень бледной, немного печальной и меланхоличной, с болезненной внешностью, переизбранной в качестве Лучшего Техника за квартал среди всех соревнующихся в области Персонала, Кадров и Повышения квалификации. Когда кто-то оглушительно объявил выход несравненной Норки де ла Торре, и появилась Прекрасная Зрелая Женщина, и встала у рояля, и начала петь, заполонив зал своим голосом и своим существом, Чупачупс уже не мог сказать ни слова своему Лучшему Технику, все более увядавшей и бледневшей и грустневшей по мере того, как ритмы и атмосфера ночи сгущались в некую пьянящую смесь.

«Смотри, сколько случайностей должно было совпасть, чтобы нам встретиться, – говорила Норка Чупачупсу, наслаждаясь возможностью восстановить мистическую шахматную партию Судьбы. – Для начала ты должен был ухаживать за той крошкой, которая прекрасно работает, но ужасно выглядит, бедняжка. Второе, она, несчастная, должна была дважды выиграть соревнование среди всей той толпы, о которой ты мне рассказывал. В-третьих, вам досталась очередь в клуб именно в Гуанабо, надо было посидеть именно у меня, а не в Санта-Марии или в четырнадцати или пятнадцати пещерах с кондиционером, ромом и всем прочим, что там есть». Так говорила Норка, и Чупачупс, не переставая, глядел своими темными глазками в ее желто-зеленые глаза, и не говорил ничего, только благодарил богов и Судьбу (со всей силой своих трех сущностей) за эти четки «случайностей», и улыбался своим влажным и круглым ртом, влюбленный, как никогда раньше.

Падающая Звезда многое значила для Чупачупса. Иногда в ней доминировала женщина прямая, простая, нежная, все еще бывшая (вопреки самой себе)

Устоем Добродетели. Тогда она одевала его, защищала и поддерживала. Иногда верх брала «несравненная Норка де ла Торре», и она срывала с него одежды как в кино, и целовала его умело и страстно, и полностью отдавалась сосательному безумству Чупачупса. А бывало и так, что в ней объединялись и Ампаро, и Норка, и кто-то еще, и она простирала руки как Тетис, самая ласковая Богиня Морей – богиня Гуанабо, способная все объять одним медленным жестом.

Кто больше помог Чупачупсу – Норка или Ампаро? Думаю, они обе соединились в одно, чтобы удовлетворить все потребности Юного Кадра: его Тела, его Живой Души и Души Разумной, они сплавились в одну единственную и совершенную Женщину, чтобы поддержать его рост и позволить ему пожить другой Подлинной Жизнью, тупо отвергаемой стоиками.

С бедняжкой Тере, это точно, солдат Чупачупс раскрыл и укрепил свое мужское начало, перестал быть зажатым и тупым подростком. В постели же Ампаро, Норки, бывший солдат, растущий кадр Минторга был посвящен в таинства качественно более высокой эротической практики. Мы не имеем в виду такое общее место, которое сразу приходит на ум: это не очередная история про Зрелую Женщину и Неопытного Подростка, про то, как она наслаждается избыточной, неприрученной энергией, которую он отдает ей в обмен на домашние уроки секса с пикантными деталями и слегка извращенным массажем.

Если любовь Тере была связана с ныряниеm и играми в безобидной реке, неглубокой и небыстрой, то отдаться Ампаро, Норке, скорее походило на то, чтобы пойти вечером на пляж Гуанабо, и уплыть в море как можно дальше, в уже глубокую ночь, и глубоко дышать, и заполнить легкие воздухом, и погрузиться глубоко в водную бездну, голым, без стыда, без страхов, без Вины и Вещей, без той тоски, которую

наводят Вещи. С Ампаро, с Норкой, Чупачупс открыл для себя те преимущества, которые давала ему его двойственная природа: он научился исследовать бесконечное Тело Женщины (белизны немного эпической, быть может, слишком матовой) тонкостью своих рук, похоже, предназначенных не для лечения, как это казалось Чаро, а для щекотания, прикосновений и самых ухищренных ласк, и он научился входить в Норку, в Ампаро, в нужное мгновение, с точностью и силой Коленного Удара. В этих случаях делилась ли надвое Падающая Звезда, и Ампаро наслаждалась бархатным Чупачупсом, а Норка фаллическим? А может быть, наоборот? «Со мной она была одной неразделимой женщиной, – говорил мне Фредди по прошествии лет. – Не было никакого раздвоения, никаких таких штучек, – утверждал он. – Она была ни с чем не сравнимой, в этом я уверен, не несравненной, как ее объявлял тот петух из клуба – и это звучало показушно, мерзко, – а на самом деле: я не могу сравнить ее ни с кем, по крайней мере из тех, кого я знал». Он говорил мне это убежденно, потому что его Разумная Душа завершилась, погрузившись во всеобщность Норки-Ампаро, в этот прилив больших и маленьких неожиданностей, где фоном всегда было какое-нибудь болеро, или старинная кубинская песня, или шепоток создателей «Филинз», по-кошачьи устраивавшиеся между влюбленными.

Встреча Чупачупса с Падающей Звездой была для него, кроме всего, возвратом к музыке, которая ему действительно нравилась, музыке его детства в квартирке на Поголотти, музыке квартала, который видел, как он растет. Благодаря ей и ее проигрывателю «РСА Виктор», прекрасно сохранившемуся, и ее чудной коллекции кубинской музыки, он вернулся к Небожителям, к Бессмертным (Бола, Бенни, Матаморос), и к другим, быть может, обреченным уже, но не менее

берущим за душу того Чупачупса-Меломана, который ставил эти диски тысячу и один раз, и отодвигал в сторону Великих и всех других, и не чувствовал себя обязанным слушать Боба Дилана, изображая экстаз перед его бессмысленными литаниями.

Есть в отрочестве такой период, когда, как кажется, компания становится осью всего сущего: быть принятым компанией и разделять ее правила и ритуалы делается самым главным для этого зверька – не дающегося в руки, угрюмого, полудикого, – который называется подростком. Среди множества групп или «команд» в Колледже Марианао выделялась (стоит повторить это ради истины) наша, в которую входили Марк Аврелий, Анхелито Китайчонок, Чупачупс и я, и не потому, что она была Командой для веселья и тусовки или блистала за столами казино или в других светских заведениях, – отличие нашей Команды основывалось на шахматах (Марк Аврелий и я играли достаточно хорошо), на литературе (я прочитал «Братьев Карамазовых» до конца, и все это знали), на философии (Малый мог на память декламировать «Размышления» Великого) и, более всего, на том типе рока, который мы приняли как гимн и стандарт, как объединяющую силу в тех хиленьких музыкальных сообществах скандальных меньшинств, чьим арбитром и указующим перстом был Анхелито Китайчонок.

Чупачупс всегда проигрывал в шахматы и внутренне не был готов встретиться с «Братьями Карамазовыми», но Команде была на пользу (и все мы признавали это) его двойственная сущность, значительно более открытая и сексуальная, чем у остальных. Она помогала нам лучше сходиться с другими группировками и Командами Колледжа и всем остальным, что было в Колледже и вообще во внешнем мире. Чупачупс отдавал на службу коллективу свои способности

к завязыванию знакомств, которые он развивал с детства и даже раньше – со своих предшествующих воплощений. Он привлекал к нам очаровательных девиц и решал многие проблемы в пользу Команды. Иногда он чересчур усердствовал, но это ему сходило с рук, как тогда говорили. Марк Аврелий протестовал, наводил критику и выносил частные определения, но мы чувствовали Фредди своим, таким своим, что дальше некуда.

Полагаю, что музыка, наша музыка, была областью наиболее близкой Чупачупсу, его личности, трем его сущностям. Позднее он признается, к моему удивлению, сколько усилий ему пришлось потратить в доме Анхелито или Бетти или у меня, чтобы оставаться спокойным и слушать до конца пластинки из Каталога Команды. К «Битлз» он относился доброжелательно, однако, к его несчастью, Китайчонок начал теоретизировать насчет «явной слащавости» в некоторых песнях вечного квартета (что позднее он определит как «отравляющее влияние бражки Маккартни»). Он стал истреблять в нас любое проявление «безответственной и некритичной битломании», как он говорил, и под конец позволял нам радоваться лишь очень ограниченному кругу песен «Битлз» (из его личной антологии), навязывая Мика Джаггера и его «Стоунзов» в качестве любимчиков нашей Команды, после, конечно же, Боба Дилана.

Для Анхелито Китайчонка все «фольклорное», «коммерческое» и «слащавое» должно было быть изгнано без суда и следствия из нашего музыкального окружения, а с кубинской музыкой он был просто жесток и лишал нас ее – ему была не важна национальная принадлежность и все такое, он не прощал даже несчастных испанских рокеров (пусть они и пели по-английски) и «мягких» рок-музыкантов из Америки, Англии или откуда бы то ни было. Он вооб-

ще был не согласен с музыкой, не представленной в его собрании, ни с чем «чересчур очевидным» и «стремящимся к внешним эффектам».

Сам Ринго Нежный, который некоторое время надеялся вступить в нашу Команду, был выброшен Анхелито на мусорку: его слабость к столь прискорбным «медовикам», как Саймон и Гарфанкель, не могла сочетаться с принятой нами музыкальной дисциплиной, и даже псевдоним, который он принял для выступлений с «Лос Чикос дель Коней», крутился вокруг имени самого посредственного и клоунского Битла, что делало его подозрительным в наших глазах и потенциально продажным.

Ну что мог сделать Чупачупс со своими самыми сокровенными музыкальными пристрастиями перед бдительным оком Китайчонка? Да, можно было симулировать: тупо подпевать песенкам Боба Дилана на вечеринках и собраниях группы, а потом врубать на всю мощь радио в квартирке на Поголотти и заполнять свой слух и обе свои Души голосом Пельо эль Афрокана и его мозамбикскими ритмами. Но он хотел *продвигаться* во всем, что относится к музыке, и занялся изменением своих вкусов. Он высмеивал своих сестер, когда они играли в карты под ритмы «Оркестра Реве» или «Румбаваны», и ругался на Чаро, если она слушала программу Техедора.

С появлением своей Прекрасной Зрелой Женщины Чупачупс смог изгнать осуждающий дух Анхелито Китайчонка (который гонялся за ним много лет после ухода из Колледжа) и вернуться в нежное лоно *своей* музыки, музыки, которая питала его: пластинки и живой голос его обожаемой Норки де ла Торре вливали в него жизнь и красоту. Он никогда более не пытался отличать «фольклорное», «слащавое» и «коммерческое», а просто отдался во власть своих глубинных наклонностей.

Норка помогла ему и в изгнании других духов. Попа Падающей Звезды тоже была «несравнимой», оставаясь твердой и несокрушимой перед ударами Кроноса. Упадок не касался ее, и она день за днем возбуждала аппетиты Юного Кадра, Кадра в Развитии. Фредди хотел взять ее с боем, одолеть ее сопротивление, завоевать, и в этом героическом усилии он достиг избавления (по крайней мере на некоторое время) от другого прокурора, от обвиняющего призрака того, кто требовал от него обходиться в своем эротизме без *задних* мыслей.

С тех пор как его Живая Душа начала просыпаться, отвечая на зов инстинктов, там, в Поголотти его детства, женщины с большой Попой зачаровывали Фредди, не вообще жопастые, не те, у кого эта часть тела была выпуклой, широкой, на европейский манер, а те, на которых Африканская Попа поставила свой объемный, концентрированный, нестираемый отпечаток. Тяга весьма здравая, как известно, но педагогические приемы Чаро исковеркали и окрасили ее Виной. Скольких плоских девиц (жутко плоских) ему подбросила Чаро только потому, что они были белые-белые! Скольких с попками мягкими и обвисшими! Фактом остается то, что Попа Норки вошла в историю как единственная Африканская Попа, которой наслаждался Чупачупс, не чувствуя вины перед Трибуналом Прогресса. Благодаря множеству ее добродетелей, благодаря ее музыке и из ряда вон выходящей Попе, Норка де ла Торре, или Ампаро, или Норка-Ампаро, да как хотите ее называйте, стала одной из двух опор, которые поддержали Чупачупса в тот исключительный момент его карьеры: без нее, без ее любви, без ее терпения, одновременно материнского и ненасытного, инициативы, без конца выдвигаемые новым Заведующим отделом распределения, не имели бы достаточного веса – культурного и человеческого. Им

не хватало бы творческой глубины, того *экстра*, выходящего за пределы простого блеска, на которое стали благожелательно реагировать на разных уровнях Минторга, и особенно на Высшем Уровне.

Норка слушала его так, как никто до того не слушал. Несмотря на то, что она возвращалась из Гуанабо далеко за полночь, что была выжата и до смерти хотела спать, она никогда не отвергала речей Чупачупса в роли Молодого Кадра о новом импульсе, который он хотел бы придать Делу Распределения. Иногда она прерывала его или пользовалась паузой, чтобы вставить решающее словцо, настолько убедительное, что оно связывало воедино все доводы Чупачупса. Эти два-три слова, одна фраза, брошенная ею, Норкой, Ампаро, вдруг становились центром притяжения, и тогда, с помощью Падающей Звезды в идеях Восходящего Кадра увязывалось все несвязное, и приобретало большую прочность и плотность, и становилось отшлифованным, совершенным еще до восхода солнца. И тогда, возбужденный разговором такой интеллектуальной насыщенности и столь подходящей формой, которую приобретала его Новаторская Инициатива, Чупачупс преображался, его телесное и духовное строение мгновенно перестраивалось: из Юного Кадра он превращался в Юного Любовника, неудержимого, дрожащего от страсти, и Норка принимала его, несмотря на усталость, и делала счастливым.

Второй опорой, поддерживавшей карьеру Чупачупса в тех условиях, был Влиятельный Человек, Наставник, раскрывший его талант и его способности и ставший, как уже было сказано, его вторым отцом. Именно этот человек, эксперт в темной диалектике бюрократии, сумел с первых признаков усмотреть скорое падение старого Корралеса, стоявшего во главе Департамента общественных связей и распре-

деления, и ассоциировал этот закат с возможностями вновь прибывшего дарования. Корралес был уже Закаленным Кадром, хотя и умел скрывать это, когда Чупачупс пришел в Департамент самым скромным из помощников. У старика были потухшие глаза, и на еженедельных совещаниях у Замминистра, если присмотреться, в нем замечались (в его взгляде, в манере открывать заседание, держать карандаш) признаки того, что называется «кажущееся присутствие», это «быть или не быть», которое столь печально сказывается на трудовом процессе. Он много лет был Шефом Департамента («он все прошел», с гордостью говорили о нем подчиненные), не прощал ошибок и устаревших сведений в статистических отчетах, и если и допускал себе порой «кажущееся присутствие», то это не приводило к неисполнению или небрежности. Он видел, что дело идет к закату, но считал, что это просто черная полоса, и предпринимал нечеловеческие усилия, чтобы это мнение не передалось заведующим секциями, техникам, секретаршам и машинисткам, чтобы уныние и анархия не прорвали ряды его маленького войска. Каждое утро он повторял себе, что это совершенно реально, да, что он выйдет победителем из этого отступления, из этой случайной паузы и что для него вернутся славные времена Надежного и Доверенного Кадра.

Несчастный, он не знал, что на его лбу уже поставлен фатальный знак: своим орлиным взглядом, через стекла высоких кабинетов Заместителей Министра, Влиятельный Человек распознал в нем болезнь и счел ее неизлечимой. Корралес даже не мог себе представить, что создавалась некая невидимая связь между замминистра, там, на вершинах, и юным дарованием, только что пробившимся из подвалов и ожидавшим своего представления в качестве специалиста. Смещение Корралеса грянуло из-за инцидента, вытол-

кнувшего Фредди на Этап Зрелости как Закаленного Кадра. Но здесь в нашей хронике есть пустота, пробел, недостаток, потому что (это следует допустить) я никогда не знал достоверно, в чем состоял тот «несчастный случай» или ускоряющий процессы «инцидент» и какое отношение к этому имел Фредди.

Старого Корралеса люди любили (это был начальник строгий, трудолюбивый и «очень человечный», добавляли подчиненные), и его Падение грубо совпало со Взлетом Чупачупса, который со стула Заведующего отделом во мгновение ока переместился в кресло Начальника Департамента, оставляя в своем прыжке далеко внизу безжизненный комок поверженного Корралеса, как когда-то оставил Тамакуна во время баскетбольного матча. С новым назначением, несмотря на слезы, пролитые в честь жертвы, на Чупачупса навалилась новая волна заигрываний со стороны белых и красивых девушек из всех управлений, департаментов и отделов Минторга и из его бюджетных подразделений и предприятий. Но на этот раз с ним была Норка де ла Торре, прежняя Ампаро, продолжавшая быть Ампаро. А когда такая женщина, воистину женщина, принадлежит тебе, это все равно что у тебя в комнате и постели разместился пляж Гуанабо с его ночными глубинами, его болеро и с чем-то наподобие соленой волны, огромной и удивительно сладкой, которая облизывает разом все твое тело и обе твои души.

8 СВАДЬБА

Марк Аврелий представил мне Тамару, когда они уже готовились к свадьбе. «Моя суженая», – сказал он, играя этим выражением из старинного романа, и позволил себе чуть горчащую улыбку на тонкогубом лице (словно ножом прорезанную между носом и подбородком), затронувшую сначала порченый глаз, а потом и другой.

С этого мгновения я уже знал, что Тамара – женщина не для него, но знал кое-что и похуже: Марк Аврелий понимал это и все же соглашался заниматься ею, неизбежным ребенком и всей неисчислимой ерундой, которая будет сопровождать все это.

Я встретил их на остановке 98-го автобуса на углу улиц 100 и 41, держащихся за руки, в роли Светящихся от счастья жениха и невесты, которые ожидают не только 98-й, но также и (в особенности) свою очередь во Дворце бракосочетаний. Тамаре более-менее шло счастливое и взволнованное выражение Светящейся Невесты (интересно, до какой степени она врала?), но наш Марк Аврелий, Малый, никого бы не смог убедить в своей радости. Он явно мечтал ускользнуть незамеченным, раствориться, стереться из толпы тех, кто выстроился в очередь за женитьбой, но ему это никак не удавалось. Всем известно, что стоики не слишком хороши в сценических искусствах и во вранье, а Малый был самым никудышным.

Я тоже был жертвой этой брачной эпидемии семи-

десятых, ее лихорадки, ее коллективного бреда, я тоже записался в очередь-во-Дворец и находился среди тех, кто целой толпой ждал счастливого момента (бог мой, как затягивался его приход, как заставлял себя желать), чтобы легально соединиться, убить тоску одиночества и покончить со средневековым материнским надзором и со всеми остальными очередями (бесконечными, унижающими), со встречами в неуютных общежитиях Института туриндустрии, как их называли, с сексом в полумраке лестничных пролетов и в Гаванском Лесу. И для полного счастья – мы были убеждены в этом – необходимо было жениться как можно раньше, но, бога ради, не где угодно, в каком-нибудь зачуханном загсе, а сочетаться браком в сияющем Дворце, с конфетти, фотографированием, с блеском, присущим всему Ложному.

Марк Аврелий Малый не смог бы раствориться в брачных волнах семидесятых годов. Везде его встречали подозрительный взгляд, ненужные вопросы и сомнительная улыбка – «печать Каина», как я выразился, когда мы обсуждали эту тему годы спустя. Я сказал ему, что обнаружил также другие значения устаревшего выражения «моя суженая». В этой ипостаси невеста становится под защиту слова чести, становится девушкой, давшей обещание вступить в брак в обмен на такое же обещание жениха. А он им и был там, на остановке между сотой и сорок первой, – «суженый», «предназначенный» – животное, бесповоротно избранное жрецом для жертвоприношения, животное, которое видит в движении Очереди приближение медленного и неотвратимого ножа. «Все происходившее было для тебя свершением Судьбы: свадьба, очередь, Дворец и все остальное, ты не был Светящимся Женихом, ты был Обреченным, кем-то, кто знает, что будет принесен в жертву, что его влекут к чему-то нехорошему, что результат будет печальным». Так я сказал, а он посерьезнел и предпочел не

признаваться в том, что на самом деле чувствовал Марк Аврелий Эскобедо накануне роскошной свадьбы с Тамарой, в чем он мог исповедоваться лишь сам себе, наедине со своей Разумной Душой.

Они познакомились, когда Марк Аврелий, только что получивший диплом, начал работать на Предприятии. Тамара имела большой авторитет (была ни больше ни меньше как Секретарша Директора), и все восхищались ею, когда она совершала свой парадный вход, всегда немного опаздывая, в восемь десять или восемь с четвертью, – высокая, породистая девушка, с гордостью поправлявшая волну блестящих волос цвета меда и смотревшая на мир сверху вниз. Почему Тамара заметила присутствие Малого, уже сидевшего за своим столом в самом темном углу кабинетика, который из-за нехватки помещений разделяли с ним два пришлых служащих из перенаселенного Департамента кадровых ресурсов, почему Тамара улыбнулась этому адвокатику, грустному, плохо одетому, молчаливому и косоглазому, и поздоровалась с ним, она, такая высокомерная, с ее пышной прической, все это остается вопросом, на который нет ответа в сфере разума, по крайней мере, как воспринимаем его мы, смертные.

Проще объясняется, на мой взгляд, реакция Марка Аврелия: когда в восемь десять или восемь с четвертью он в очередной раз получал приветливую улыбку Тамары, это было как пушечный выстрел, сотрясавший весь офис, его правый глаз начинал метаться в самых непредсказуемых направлениях, его Живая Душа, годами остававшаяся неухоженной, получала мощный электризующий импульс. Тогда самым низменным флюидам его Тела удавалось вырваться из рамок приличия, и они начинали действовать, и его Разумная Душа, мало поднаторевшая в любовных сражениях, не в силах была отбивать те соблазны, которые подготовили для нее Инстинкты. Получалось, что третья субстанция Малого, его Разумная Душа, един-

ственное, что, согласно Великому, принадлежало ему, предавалась Тамаре, идя вслед за его Телом и Живой Душой, из чего наш стоик наивно сделал вывод о приходе Истинной Любви в его Истинную Жизнь. Но во глубине своего Я (да и на поверхности тоже) он совершил грубую ошибку толкования: Марк Аврелий, наш, из Команды, подумал, что через посредство этой пышущей здоровьем и здравомыслящей девушки ему представилась, так он полагал, исключительная возможность познать мир и его реалии. Для него было возможным и реальным дополнить безжизненность и сухость тех, кто ничего не хочет и не просит, чистым преклонением перед Созданием и перед самим фактом существования. Самое печальное, что Тамара не сделала его счастливым ни в его духовных ожиданиях, ни в тех, что пониже рангом, ни в тех, что рождались из двух оставшихся субстанций. Тамара была красива и хорошо сложена, блистала волной волос цвета меда, которые спадали вдоль спины до самой талии, но ее поведение в интимной обстановке скорее сводилось к холодности, равнодушию и никак не соответствовало образу страстной и горячей женщины. Быть может, виной тому был Марк Аврелий, такой неопытный и смущенный, такой бестолковый в ведении сложных тем, таких, как эротизм, женская сексуальность и ее секреты, со множеством присущих им тонкостей, далеких от его стоического призвания.

Месяцы спустя после помолвки все усложнилось. В просторной столовой Предприятия было очень шумно: разговоры сотрапезников, тонкий перестук вилок и более грубый – металлических подносов, которые грубо бросали в кучу и они сталкивались там, издавая звук боевых щитов. Перекрывая гвалт, Тамара сообщила, что у нее запоздали сроки.

«Я очень пунктуальна, – сказала она, – а у меня на счету уже десять дней». Так она сказала, а он сразу не понял переносного смысла ее новости и подумал, что

это смешно: его невеста опаздывала на работу, на свидания с ним, да куда угодно, а вот в сроках она, видите ли, пунктуальна. Тут было явное несоответствие между точным хронометражем ее организма и ее непунктуальностью, что совсем иначе характеризовало и определяло ее. А вот теперь уже нет, сроки начали запаздывать, то есть стали искать необходимой гармонии со стилем Тамары. «Тебе нечего сказать?» – спросила она, и Марк Аврелий ответил кратко: «Нет, нечего» или что-то в этом роде, но его голос был заглушен многократно отраженным ревом столовой. Когда врач подтвердил беременность, она поговорила с Марком Аврелием еще раз, теперь уже с безапелляционной твердостью. «Я оставлю сына, – заявила она, и ведь сказала «сына», хотя там не было еще даже бесполого головастика, которого она называла Сыном все время, пока он созревал. И добавила, поправляя блистающую волну волос: – Мы должны пожениться». Он тут же согласился с этим, как настоящий кабальеро, и получил в награду жаркий поцелуй Тамары, поцелуй, выходящий за рамки обычного.

Большая свадьба, свадьба во Дворце бракосочетаний, свадьба со всеми признаками, с тортом и фотками, со множеством народа вокруг, была первой уступкой, сделанной Марком Аврелием. Возможно, не самой первой, но самой повлиявшей на его личную философию, такой, что унизительным воспоминанием впилась в его память. «Что это, сынок?» – вопросил его отец, Серафин Эскобедо, на том диком празднике, который устроили сваты. Это был не вопрос, естественно, не был даже упрек, он походил больше на выражение сожаления. «Что это, сынок?» – вспомнит потом тысячу, десять тысяч, сто тысяч раз Малый фразу отца, в которую укладывались и смехотворные фотки, и положенные шутки, и увешанный шарами автомобиль, и толпа прожорливых гостей, и, сверх того, все его будущее.

9 НАНА

Люди, которые ласкают и гладят домашних животных, до определенной степени вливают в них душу и ускоряют эволюцию; и наоборот, люди при этом впитывают жизненные силы и магнетизм животных. Поэтому это против природы и в конечном счете вредно – ускорять эволюцию животных.

Из теософского наследия
Е.П. Блаватской

Потеряв Нико Лаферте, Чаро впала в тяжелейшую депрессию. Надо сказать, что она ждала этого удара (ее Дух-водитель возвестил ей это) и даже старалась подготовить себя, но все напрасно – в нужный момент ее защитные силы не справились. Она рухнула, как Тамакун, как Ларсен, как старый Корралес, и упала на дно колодца депрессии всем весом своего необъятного тела. Она бросилась в постель, как воин, покинувший поле боя и не имеющий сил вернуться, она безудержно рыдала, не ставя преград своему плачу. Ни стыд, ни гордость – ничто не могло сдержать этот поток слез и вспышек боли, она обливала слезами простыни и постель, которая еще совсем недавно была супружеской, была полна ласк, а сейчас простиралась перед ней широкая и голая, как пустыня.

Фредди, ее замечательный, ее самый любимый сын, женился немного спустя после того, как Нико

собрал свои шмотки и переехал к Другой. Невестка, Амарилис, была безукоризненно белой-белой, и не было в ней ничего такого, что напоминало бы об Отсталости или о грозных Африканских Попах, но Чаро (под могильной плитой печали) не в силах была радоваться ее приходу в семью, какой бы белой, скромной и выглаженной она ни была. И вправду, она никого не могла принимать, будь он хоть самим воплощением Продвижения, она не пошла на свадьбу, так и не поднявшись с кровати, и рыдала еще больше, и твердила соседкам и коллегам по Кардесистскому кружку, что сразу оба мужчины дома покинули ее. Так она говорила, несмотря на протесты и заверения Чупачупса и даже на его слезы, смешивавшиеся с ее собственными. Ее стенания не прекращались, хотя молодожен сократил Медовый Месяц и потратил много времени, чтобы принести ей утешение и моральную поддержку, и действительно, он потратил значительно больше времени, чем полагается в таких случаях. Она продолжала объявлять себя «дважды покинутой» перед беспардонными посетителями, которые совали к ней свой нос, чтобы справиться о здоровье и пошпионить немножко.

Чаро стало еще хуже, когда пришел черед следующей свадьбы, ее старшей дочери («единственной, кто мне помогал по дому»), она отнеслась к этому событию жутчайшим образом и просто перестала покидать постель. С каждым днем она закатывала все более сильные истерики и добилась того, что миниатюрные, как у Куклы Лили, черты ее лица покрылись морщинами, сделались плаксивыми и приняли выражение, свойственное мученикам. Ее старшая дочь не только уходила из дома, как Нико, как ее любимый Фредди, она одним махом отказалась от советов и поучений своей матери и в скандальном порыве Отсталости вышла замуж за «жалкого негра, – гово-

рила Чаро, – за негра телефонного цвета, за некоего Тоти». Да, конечно, кожа у нее была смугловатая, но ведь она была самой красивой из ее дочерей и демонстрировала такую стильную фигуру, что любая модель из журналов Оттуда стала бы ей завидовать. Чаро верила в нее и с самого детства пророчила ей уверенное Продвижение. А сейчас она проклинала дочь и желала ей всяческих неудач, но тут же раскаивалась. И вот тогда она хныкала еще более усердно и требовала платочков и полотенец, чтобы прикрыть свои распухшие веки. Она не переносила самой возможности внести ясность, не хотела, чтобы хоть что-то приходило ей в голову: лучше ничего не видеть, ничего не соображать, не думать о Тоти (который, как известно, во всем виноват) и о неблагодарных детях, которые покидают родимый очаг и оставляют Мать в одиночестве, бросают, как ненужную вещь. Она стремилась только к тому, чтобы поспать, да, поспать, потому что только так можно было не думать о муже, Нико Лаферте, живущем с Другой, сидящем за столом с Другой. И эта чужая, эта ведьма накладывала ему пищу, ходила вразвалочку с видом дешевой шлюхи, и ее муж, бедняжечка, жевал ее варево своими дивными челюстями и проглатывал это, не сопротивляясь («он, бедняжка, был на все согласен, ел, что перед ним поставят»). Боже, ее муж, такой стройный, такой нарядный в своем выходном костюме, как ему шли эти белые рубашечки, очень белые, которые она стирала и гладила с любовью, и только она знала точно, сколько их надо крахмалить, о господи, ее муж, такой чистенький и ухоженный, каким он был у нее, хорошо одетый, здоровенький и накормленный, а сейчас что! Чаро видела Нико своими воспаленными глазами и представляла стоящее перед ним блюдо с рагу из пауков и менструальной крови той, Другой, приправленное кучей других мерзостей, чтобы *привязать*

его. Она желала ему отравиться, чтобы он понял истинный вкус этого варева, которое Другая, вышедшая из низкого и подлого народишки, готовила, безусловно, на невероятно грязной кухне, в клоаке, полной тараканов, мокриц и крыс размером с кролика, без малейшей гигиены, а только в ней здоровье, без любви подлинного друга, без любви, которую она, Чаро, делала основной приправой тех яств, что готовила для Нико, без десертов (ее специальность), без взбитых сливок и фланов, без риса на молоке! Даже в свои отсталые верования могла затащить Другая ее мужа (о, Кардек, какой стыд!): вот он прогуливается с ведьмой вокруг колдовского алтаря, увешанный бусами, браслетами и амулетами Отсталости, какой стыд, какая беда, они вместе посещают жуткие пустыри, землянки, где живет этот сброд, который станет навсегда их кругом, почему нет!

Чаро ясно представляла себе сцену, обжигавшую ее сердце: муж играет в домино с колдунами и шаманами, его новыми друзьями, а Другая злословит в окружении каких-то ведьм, не забывая следить за Нико, стерва такая, и поднимается, чтобы услужить ему, и идет, по-царски двигая своими ляжками, и наливает Нико стакан рома – тому, кто был ее мужем, мужем Чаро, и она предвидит, боже мой, как он примет этот стакан, не отрывая глаз от домино, и как положит руку на ягодицу Другой, на массивную и провоцирующую Попу, и это будет жест не сладострастия, а доверительной, семейной интимности, нежной, необоримой.

«Ее убивала больше эта интимность, чем сам секс, – рассказывал Чупачупс. – Она чувствовала себя более уязвленной, более униженной тем, что отец и другая женщина разделяют быт – житейские вещи, обычные, ежедневные, она страдала просто от их совместной жизни, а не от наслаждений, которым они предавались, и все такое».

Во время своей Великой Депрессии Чаро безудержно говорила сыну об этой задушевной связи между Нико и Другой, и Фредди целые дни выслушивал ее выплески. Как он говорил, это могло помочь ей вынырнуть из омута, глотнуть воздуха и сбросить тот камень, что таился внутри и не давал подняться. Он рассказывал мне, как он клал свою голову с гладкими волосами на пышную грудь Чаро, как она погружала свои толстые пальчики с накрашенными ногтями и множеством перстней в его шевелюру и расчесывала ее, при этом говоря, говоря, говоря, и ее монолог иногда прерывался только приступами плача и взрывами ревности и злости.

Фредди очень скоро понял, что не мог рассчитывать на своих сестер: та, которая только что вышла замуж, полностью подчинилась мужу и придерживалась одержимо-зависимой модели семьи, так что почти не выходила из гнездышка, построенного для нее Тоти с такой любовью и таким деспотизмом. Две другие, еще незамужние, продолжали жить в доме, но занимались исключительно самими собой и своими придуманными женихами, они относились к Чаро как к огромному ребенку, который хочет привлечь к себе всеобщее внимание.

Нана, бело-пегая кошка, толстая и неповоротливая, появилась в разгар депрессивного кризиса Чаро и позволила Чупачупсу хоть как-то выбраться из этой двусмысленной ситуации – сын-женатый-но-не-очень – и посвятить больше времени своей жене и работе.

Кошка прибыла на руках одного из самых уважаемых членов-основателей Кардесистского кружка Поголотти – профессора Мариньо, отставного библиотекаря, который отважно нес свои семьдесят лет, весьма статный и высокомерный, всегда при галстуке, с оттенком лазури в редких волосах и эрудицией, брызжущей из всех пор, но, естественно, без

малейшего признака педантизма. Профессор, так с гордостью окрестил его квартал, был страстным последователем Кардека, его знаменитого ученика Леона Дениса, а также Чико Хавьера и всех, кто строил теории по поводу Потустороннего или служил посредником между миром живых и мертвых. Он также интересовался Теософией, Месмеризмом, Хиромантией, Астрологией, Каббалой, картами Таро, Психометрией, мирным использованием Ментальных Сил и науками, которые называются (вообще) тайными. В то же время, словно для того, чтобы установить необходимое равновесие между По-ту- и По-сю-сторонним, читал и перечитывал без устали рассказы Золя, в которых с подробностями и жестокостью описывается мрачная сторона подлинной жизни, слушал музыку Вагнера, и бродил с ним от студеных «Нордических Мифов» до «Скалы Германии», реально тяжелвесной. Он воздавал почести трем Гигантам, трем Титанам, которые должны были стать Опорами его Разумной Души. Кардек, тайнописец, пророк подлинного спиритизма, уверенной рукой вел профессора Мариньо в поисках Совершенства и Света. Вагнер составлял обязательный музыкальный фон этого утомительного пути к Прогрессу. Золя привносил туманную ноту, нравоучительную, также неминуемую, эту оборотную сторону Света, которая демонстрирует нам, сколь слабым является человеческое существо и до какого предела оно может Отступать и Отставать.

Направляемый своей загадочной интуицией, Профессор пришел, напевая увертюру из «Тангейзера» – самого подходящего подарка во времена духовного кризиса. «Ее зовут Нана, – сказал он, – и она очень ласковая, вот увидишь». Чаро не читала роман Золя, но зато слышала его радиоверсию. С чувством юмора она приняла кличку кошки, и в ту же секунду ей стал симпатичен этот чувствительный зверек, чистый и шелко-

вистый. Позже она узнает, что ее Нана была значительно более фривольна и ветрена, чем та, из романа: она отдавалась ухажерам не за деньги, но из чистого развлечения («из любопытства», замечал Чупачупс), правда, в ее случае не было «смягчающих обстоятельств» другой Наны: влияния родителей-алкоголиков, коррумпированного общества, в общем, всех травм и психосоциальных мотиваций, которые приволокли героиню романа к нравственной пропасти.

Эта Нана еще не выплеснула свою сексуальность наружу, на крыши и веранды округи, и казалась самой домашней и очаровательной кошкой, которую только можно себе представить. Чаро позволяла ей устраиваться с ней на постели, взбираться на ее огромное тело и растягиваться среди перин ее грудей и занимать там (расслабленная, томная, излучающая свое кошачье тепло и томление) почетное место, там, куда столько раз, в худшие дни депрессии, возлагал Чупачупс свою круглую голову с хорошими волосами, на то самое место, которое в счастливые и уже далекие дни осыпал жадными поцелуями Нико Лаферте.

Кошка иначе нагружала своим весом тело Чаро, это не был тюк Нико, мужской, крутой и взрывной, который когда-то делал ее такой счастливой; это не был мешок терпения ее самого любимого ребенка, его сферического черепа, совершенного как баскетбольный мяч, с блестящей – продвинутой! – шевелюрой, который (да, успокаивая ее, демонстрируя нежность и сыновнее сочувствие) лишь усиливал в ней чувство жалости к себе и желание поплакать.

Нана наслаждалась постельным приютом, который она нашла у Чаро, и в обмен приносила утешение поверженной в прах женщине, давала что-то наподобие передышки: они обе, женщина и кошка, скользили в сторону полного неги летаргического сна, в объятия совместного мурлыканья, в конце концов они задремы-

вали, кошка на женщине, подчиняясь правилам некой игры, которая Чупачупсу казалась немного нездоровой. Чаро, ее белая громада, гора тающего снега, растекающегося по постели, и на ней – раскинув лапы, странно изогнутая, почти непристойная – ее бело-пегая кошка, с ее смешанным окрасом, похожим на яйцо по-креольски, которое разбивают и перемешивают с рисом. Фредди много раз заставал их в нежном объятии и начал видеть в Нане, которая вначале была ему симпатична, воплощение какого-то нудного сериала.

Чупачупс, конечно, не был моралистом и как мало кто был готов к тому, чтобы пройти по опасным дорогам человеческого эротизма, но он никогда не соглашался с извращением, называемым (из-за отсутствия более подходящего слова) зоофилией или бестиализмом. Его отвержение секса с животными не имело этических корней, как то было бы у стоиков, скорее, это был отказ во имя гигиены (что равнозначно Здоровью, как уже с основанием было сказано) и эстетики (которая способствует здоровью Разумной Души). Вид кошки, дремлющей на груди и животе Чаро, прежде всего был гротесковым, антиэстетическим, он нарушал гармонию вселенной и Вещей. Он также оскорблял Чистоту, эту богиню с гневным взглядом, воздевшую швабру как меч или как военный стяг.

Сама Чаро всю жизнь была выдающейся служительницей культа чистоты, ее дом был храмом, где Кардек и Гигиена царили на равных правах. «Я пришел к выводу, клянусь, – так говорил Чупачупс, – что эта кошка имела какую-то власть, некие чары, в ней было что-то Нехорошее, – в этом он признавался мне, и его рот сжимался в гримасе отвращения, – она мне меняла мою старуху, она ее делала дурочкой, клянусь».

Есть одна история, лучше других иллюстрирующая нерушимую позицию Чупачупса по отношению к так называемому бестиализму. Он сам нам ее расска-

зал (Марку Аврелию, Анхелито и мне), и она осталась в памяти Команды как «Сказка об Изнасилованной Козе». Чупачупс тогда учился в средней школе, и мы еще не были знакомы, и еще не сформировалась наша Команда. Школу послали на полевые работы – на прополку или что-то еще, и он поехал с друзьями из квартала, которые были в большинстве своем товарищами по школе. Однажды вечером на прогалине в тростниковых зарослях приятели поймали козу и оттрахали ее один за другим. «Я им сказал, я в этом не приму участия, и так и сделал», – уверял Фредди, стараясь изобразить (хмуря брови) твердость, показанную им тогда, среди тростников и усмешек товарищей. «Не принял: не только не ввязался в групповое изнасилование козы, но и не принял самой козы», – уточнил я. И Фредди подтвердил это, не обращая внимания на неуместную игру слов, и выглядел гордым тем, что одновременно смог победить как соблазн, так и общественное давление. «Надо мной смеялись, мне говорили, чтоб я не бздел, чтоб я не был пижоном, там не хуже, чем у бляди, говорили они. Коза замечательная, говорили они. Но я не смог бы засунуть Мою Свистульку туда; я плевал на все предрассудки мира, я был уже достаточно взрослым, представьте себе, но Мой Инструмент, Мой, я ни за что бы туда не засунул».

Фредди поддерживал любопытные отношения со своим Телом, которые становились нежными, чувственными, неповторимыми, когда речь шла о Его Свистульке, о Его Инструменте. Приняв душ, он пользовался тальком в промышленных масштабах: не обращая внимания на то, убираем ли мы жженый тростник или находимся в самом поганом бараке, он посыпался тальком с головы до ног с ритуальным наслаждением. «И главное, – вещал он нам, как глашатай, – побольше талька на яйца, в пах, туда, где

зарождается и развивается Инструмент, и везде, где только пробивается то, что называется пубертатным волосом, то есть на лобке, – это не более чем скопления Дурного Волоса, потому что там, чего только не бывает в жизни, там смотрелись бы по-идиотски, там смотрелись бы кошмарно Гладкие Волосы. А люди с гладким волосом в том месте, бедняжки, страдают и завидуют остальным». Так он говорил и сгибал руку в локте, нацеливаясь в небо сжатым кулаком. Кулак и рука удлинялись и превращались в очевидную и грубую фаллическую метафору, и он прибавлял тогда с влажной улыбочкой: «Запомните, парни, подмытый Свисток – это Свисток Победитель»

Он ругал нас (всех нас, всю остальную часть Команды) за то, что мы не мылись на сельхозработах и военных сборах, за то, что мы неделями не меняли верхней, да и нижней одежды, обвинял нас в том, что мы «вонючие хиппи, разводчики вшей и мандавошек, свиньи, еще большие свиньи и вонючки, чем Чудовище Эриберто». Так он говорил и похвалялся, что он самый чистый (этой заслуги у него не отнять) в нашей Команде.

Его страсть к ежедневному душу, тальку и безукоризненному белью вошла в него не только через Чаро, но и через Нико Лаферте. Оба, каждый на свой манер, культивировали купание в любой ситуации и смогли заложить в своих детях весьма приветствуемое преклонение перед богиней Чистоты. Вот поэтому Чупачупс и был так обеспокоен депрессией Чаро, которая начинала забывать о своих гигиенических привычках (то есть отрекалась от самой себя), вот поэтому он и стал видеть в Нане некое дьявольское начало. Чтобы его мать, не кто иной, как его мать, обернулась свиньей, так он говорил, это было бы за гранью переносимого.

Решение проблемы пришло, случайно или по велению Неведомой силы, опять же из рук профессора

Мариньо, того самого, кто принес кошку. Профессор явно склонялся к тому, чтобы руководить чтением Чаро и рекомендовать ей тексты, которые дополнили бы дозой теории, постепенно вводимой и хорошо контролируемой, ее природную склонность к погружению в Таинственное. Столь настойчивый педагогический труд в глазах Чупачупса выглядел подозрительным: по его мнению, «старичок с голубыми волосами» был влюблен в мать, а его, Фредди, бил озноб перед возможностью того, чтобы колдуны, или покойники, или неведомые божества подсунули ему в качестве отчима, как он говорил, слюнявого, расфуфыренного и смехотворного старика.

Если оставить в стороне такие соображения, стоит признать, что Профессор внес свой вклад в повышение культурного уровня Чаро. «Нет, он его опускает», – настаивал сын с гримасой ревности на подвижных губах. Личная библиотека Мариньо была весьма значительной (после его выхода из тела книги должны были полностью передать в дар Кружку Кардесистов), ее фондами питалась Разумная Душа матери Чупачупса и даже его сестер, которые просили у Профессора «любовные романы», а получали, к примеру, «Терезу Ракен».

Благодаря одной из книг Мариньо, разрушились колдовские чары, наводимые Наной на распластанную женщину: когда Чаро прочитала «Понятия Теософии» мадам Блаватской, разбилась ее фальшивая связь с кошкой, она изгнала ее без сожалений из супружеской постели и навсегда низвела в разряд обычной кошки. После решительного смещения с пьедестала Наны, кошка отказалась от тонкостей и нашла в квартале другие, более естественные пути удовлетворения своих инстинктов.

Тезис Мадам Блаватской нанес по Чаро сильный удар. Ей вдруг открылся в своей простоте и жестокости Закон, который ведет нас по тропам Продвижения:

«каждый Возвышающийся делает это за счет Опускания другого». Это было совершенно очевидно, хотя она никогда и не рассматривала этот вопрос под таким углом: Тоти выплывал за счет погружения ее младшей дочери, а Фредди получал возвышение за счет Амарилис, а Нико продвинулся в молодости за ее собственный счет. И даже эти зверьки, с которыми мы обращаемся, как если бы они были детьми, и баюкаем их, ласково прижимая к себе, получают выгоду от пребывания в компании с существом эволюционно более развитым. И по мере того, как они продвигаются и становятся лучше подготовленными к своей будущей реинкарнации, человек отступает, движется в обратном направлении, подвергаясь влиянию существа менее эволюционированного, и в определенном смысле *звереет*.

Чаро изгнала Нану из ее перинного царства и заодно решила подняться, выйти из норки, оставить позади Депрессию и «заново начать жить», сказала она. Таким образом, с Падением кошки произошло Вознесение Чаро, потому что был необходим импульс вниз, в сторону бездны, чтобы произошел импульс восходящий, в котором нуждалась поверженная женщина. Это был грандиозный спектакль: как если бы вы присутствовали при пробуждении вулкана, дремавшего семь веков, или при оттаивании Снежной Женщины, которая разлепляет веки и фокусирует взгляд для того, чтобы заново открыть Вещи, или при воскрешении Валькирии (так сказал бы профессор Мариньо), берущей щит и копье и водружающей на свои космы крылатый шлем, этакой толстой и очень белой Валькирии, медленно встающей на ноги, сменяющей свое оружие на щетки и губки и воздвигающейся в полный рост в квартирке на Поголотти, – вот она рывком распахивает окна, с впечатляющей жизненной силой плещет водой, вытряхивает, метет, моет и изгоняет таким образом пыль, грусть и всех темных духов заодно.

10 АТТАШЕ

Зодчий К. Гатериус Тичикус жил и продвигался и стал богатым во времена Императора Домициана. Он умер, как все, как было предопределено и как он сам предполагал. Сегодня о нем помнят благодаря величественному семейному пантеону, покрытому барельефами, которые иллюстрируют или, согласно специалистам, подводят итог устремлениям римского среднего класса – такого работящего, такого занятого стараниями возвыситься и быть признанными в глазах патрициев. Это был их способ бороться с рутиной, их стремление к признанию и величию, их прагматизм и те возвышенные отношения, которые они поддерживали с Вещами.

Скульптор (анонимный) смог воспроизвести своим точным резцом завершающий этап возведения некоего Дворца (намек на профессию отца семейства): некую механическую лебедку, с помощью которой поднимают кирпичи и камни на кровлю, и Женщину-Богиню, апатично возлежащую на самом верху строения и поддерживающую рукой пузатую амфору с узким и длинным горлышком. Значение этой женской фигуры проявляется в ее непропорциональных размерах и в ее позе (что-то среднее между величественной и дремлющей), контрастирующей с усилиями строителей, с беготней персонажей у ее ног, с суетой человеческого муравейника. Некоторые ученые считают ее богиней Согласия, другие (думаю, идущие по более верному

пути) предпочитают видеть в ней одну из тех женщин, которые совершенно необходимы для Продвижения предприимчивого плебея: возможно, собственную жену К. Гатериуса Тичикуса.

Образ этой Женщины-Богини, царящей над домом и его обитателями, над толпой карликов, шастающих из стороны в сторону в надежде найти смысл своего дурацкого возбуждения, кажется мне очень подходящим для того, чтобы вставить несколько эпизодов из жизненного опыта Марка Аврелия Эскобедо в качестве Атташе, в качестве временного поверенного в делах семейства Тамары.

Для него, Марка Аврелия Малого, не было сомнений: чтобы представить мать Тамары, Тещу по определению, его Тещу, Женщина-Богиня должна была находиться именно на вершине, поверх всего и всех. В течение тех «адских лет», как он выражался, когда он обитал под крышей своих тещи и тестя, в течение тех лет «сожительства», он много размышлял о том, что такое «атташе», и о чертах, которые его определяют, о его границах и его способности, весьма редкой, защищать Свое и оставаться на плаву.

Он поискал значение термина в Академическом Словаре и нашел (среди различных неподходящих смыслов) следующее: «Человек, живущий в деревенской усадьбе с разрешения хозяина и получающий жилье и пищу в обмен на мелкие услуги», просто-напросто – приживала. И действительно, Марк Аврелий жил, как говорится, «с позволения хозяев» в деревенском доме (если бы «в сельской усадьбе», с большей площадью, то все могло бы быть вполне терпимо), он действительно получал «кров и пищу», хотя не был уверен, что то, чем его там потчевали, заслуживало нейтрального имени «пища», столь свойственного кастрированному языку словарей. Однако никак не назовешь «незначительными услугами» то, что тре-

бовалось от него. От него добивались полного пожертвования его человеческим существом, его достоинством, тем, что возвышает человека и формирует его духовный и моральный состав. Традиции и личные привычки временного поверенного в чужих делах часто сталкиваются с новой ситуацией, в которую он должен влиться, с отношениями и правилами, которых он не понимает. В рассматриваемом нами случае это очень живо выразилось на поле так называемых «домашних стычек» или «семейных противоречий». Наш Марк Аврелий, как известно, родился от пары супругов, которые ненавидели друг друга, это да, но делали это в строжайшей тайне. Сама Пятидесятилетняя война была разработана для замкнутого круга воюющих сторон (Серафин Эскобедо и его жена), и в ней все три ребенка были либо случайными союзниками, либо (в большинстве случаев) пассивными наблюдателями. А дом тещи и тестя Марка Аврелия, наоборот, всегда был полон народа, и каждая семейная стычка, какой бы безобидной она ни была, проходила при обильном стечении скандальной публики, которая тут же включалась в действо, как жабы во время игры в домино по-кубински, и привносила в каждую схватку непереносимо вульгарный оттенок. При том множестве более или менее отдаленных родственников, которыми кишел этот дом, которые прорастали, как сорняки, в самых неожиданных местах, выползали из комнат и клозетов, безостановочно входили и выходили, и приезжали из села на несколько дней, а оставались на годы, и толпились на кухне, голодные, прислушивающиеся к бульканью похлебки («пищи»), и выстраивались в очередь перед туалетом по утрам, и захватывали двор, зал, веранду, какая могла быть закрытость: нет, там нельзя было драться по правилам родителей Малого и также невозможно было утвердить прочный и длительный мир.

Наш Марк Аврелий должен был адаптироваться (так тогда говорили) к новому типу сожительства, который не провоцировал саму войну (неоспоримый авторитет Тещи препятствовал этому), но создавал нечто, на мой взгляд, значительно худшее: повседневную жизнь (или инфражизнь), протекавшую в ругани, криках и спорах невысокого достоинства, из-за пустяков. Если бы ему позволили выбирать, он предпочел бы скорее бесконечную, звериную, но цивилизованную ярость, вдохновлявшую на протяжении десятилетий его родителей, чем хаотическую тарабарщину, разногласия и варварство мелких нападок этого сброда. «Так же реагировали, – говорил ему я, – римские патриции на Возвышение людей типа К. Гатериуса Тичикуса». И он погружался в размышления, в самоанализ, поскольку стоик чересчур предал бы самого себя, принижая чувства аристократические в сравнении с народными. Тогда он качал головой: «Дело не в этом, – говорил он. – Думай об очищении, о сублимации, о превосходстве, которое есть в исконном кубинском народничестве, вспомни об отце Фредди, Нико Лаферте, о его барственности, вспомни о Чаро и даже о самом Фредди. Возможно, это начинает портиться, когда появляются претензии на Продвинутость, на урбанизацию в рекордные сроки, когда усиливается стремление забросить эту сельскую жизнь и переместиться в поток городских дел, заразиться столичными ритмами». Так говорил Малый и снова использовал «как положительный пример» Нико Лаферте, спустившегося с гор и обосновавшегося в Поголотти самым что ни на есть естественным образом. «Он никогда не отрицал своего происхождения, – говорил он, – и не отрекался от самого себя. Он пришел в нужное время, и ему повезло, он нес с собой Свое, он был действительно Хозяином Самого Себя».

Сохранить это – Свое – в царстве Тещи преврати-

лось в титанический труд. Там все базировалось на основах, непостижимых для нашего Марка Аврелия, так частенько происходит: Временный Поверенный спускается на парашюте в мир, структуры которого ему трагически далеки. «Самое трудное, – объяснял он, – это принять законы иррационального». И чтобы доказать это, прибегал к одной очень поучительной истории, не имевшей ничего общего с баснями Эзопа, Лафонтена или Саманьего, к Сказке без животных, без ворон и лисиц, без курочек и изнасилованных коз, где действующим лицом или героем или жертвой был не кто иной, как он сам, Марк Аврелий Малый, и он называл ее «Сказка о Приживале в Туалете».

В квартале, где жили его теща и тесть, как он говорил, всегда хватало воды. С этой точки зрения это был привилегированный район, и все население квартала радостно открывало свои краны и мылось в душах, и спускало воду в унитазе. Тем не менее его Теща установила закон: бачок не должен разряжаться нормальным путем, который техника проложила человеку для облегчения его жизни. То есть у них было запрещено использовать механизм, который поднимает затвор и позволяет воде сливаться. Ничего подобного так просто не должно было происходить. Кто бы ни пришел в туалет по большой или малой нужде, вынужден был выйти во дворик, налить ведро воды в стиральне, вернуться в туалет с капающим ведром и вылить воду в унитаз, как в Каменном Веке, а затем (вроде до сей поры унижение было недостаточным) найти в углу кухни примитивную швабру, пошаркать ею по полу и вытереть капли воды, отмечавшие роковую траекторию.

«Этот закон и метод, накладываемый на пользователей туалета, – вспоминал Марк Аврелий, – поддерживался бесконечным караваном кузенов и племянников, пересекавшим дом в обоих направлениях –

между туалетом и задним двориком, туда с ведром, обратно со шваброй, что создавало обстановку бессмысленную, неуравновешенную, ненадежную, как если бы мы жили в лагере беженцев».

Что было концептуальной основой для столь абсурдных регламентов и распоряжений? Очень просто: существовала Легенда о механизме сливного бачка, которую никто не удосужился научно подтвердить, – уверяли, что бачок был неисправен, и если дать ему сработать, то вода будет продолжать течь потихоньку, и огромные баки с водой в доме могут опустошиться, и вся семья, лишенная столь драгоценной жидкости, впадет в состояние беспомощности и самой суровой засухи. Никто не позвал водопроводчика, который разобрался бы с внутренностями бачка, никто не попытался дернуть за цепочку и подождать десять минут, чтобы увидеть, что будет дальше. «Типичный случай донаучного мышления», – говорил мне наш Марк Аврелий, который никогда не стал бы ни императором, ни философом, поскольку не мог скрывать своего направленного в недавнее прошлое негодования.

Когда Малый рассказывал мне о своих превратностях в качестве Приживалы, он преображался: гнев, эта низменная страсть, которую столько раз осуждали Теофраст, Эпиктет и Великий, прорастал из его воспоминаний, из обеих его Душ и источался из его правого, плохого глаза, который начинал бешено дрожать, а также через его левый глаз, здоровый, который метал взгляды пронзительные и ядовитые как стрелы, а его голос и слова становились тяжелыми и суровыми. Благорасположение и прощение, к которым призывал его знаменитый тезка, казалось, отступали перед этим приливом злобы.

Из этого посыла рождается вторая часть Сказки – «Восстание Приживалы». Исходя из моего собствен-

ного опыта и опыта знакомых (в том числе и Малого), акты восстания Приживал вспыхивают противу правил, не достигая никаких результатов, и лишь провоцируют усиление напряжения в доме, а подчиненное положение повстанцев остается лишний раз подходящим образом подчеркнутым. Если Приживале «некуда деться», по словам Чупачупса, если у него нет защищенных тылов, восстание – это непозволительная роскошь.

Однажды поздно ночью, когда весь дом спал, Малого атаковали колики, которые заставили его пойти в туалет. Это был пятый или шестой приступ, по выражению врачей, несмотря на двойную порцию каоэнтерина и множество таблеток сульфогуандина, которые он принял. Ему было плохо, он ослаб, был разбит, очень утомлен этой повторяющейся диареей – болезнью, которая, как уже проверено, не только лишает сил Тело, но и яростно атакует моральные запасы Разумной Души. Там, в туалете, в том скорченном положении, которое судьба вынуждает принять людей в наказание за гордыню, ему показался особенно обидным сизифов труд с ведром воды: выходить во двор чуть свет, наполнять ведро, выливать его в унитаз и повторять этот путь с мерзким приспособлением (швабра с тряпкой) и тереть, да, тереть пол Преисподней. И тогда он дернул за цепочку и подумал: «А, будь что будет или что Бог пошлет». И Бог послал следующее: из труб туалета послышался жуткий вопль, скулеж металлического животного, раздавшийся по всему дому, как сирена воздушной тревоги. Это было предсказуемо: шланги, которые соединяли унитаз с сетью трубопровода, провели многие годы в бездействии, в соответствии с гидравлическими законами Тещи, и сейчас, застигнутые врасплох, издавали этот крик боли (такой, как у рожениц) и радости (в связи с возвращением воды и жизни). Естественно,

все проснулись и выскочили из постелей, и, открыв дверь туалета, Марк Аврелий Малый, Атташе, столкнулся с грозной толпой, отряхивавшей остатки сна, чтобы с наслаждением предаться той коллективной ярости, которая предшествует линчеванию. Там были Тесть и три племянника, только что приехавшие из Баямо, все в трусах; оба шурина со своими женами (одна из них, беременная, защищала живот руками, как если бы рев труб мог навредить плоду); там была тетка Тамары, тетка-страдающая-нервами, и ее сын, Запоздавший Племянник, а в глубине, замыкая взвод своим Толстеньким Телом, обернутым спальным халатом, – Теща, Властительница Лошадок, ищущая своими огненными глазами лицо повстанца.

Конец Сказки печален и даже уникален. В туалете продолжали смывать палеолитическим путем – из ведра, но с одной новой деталью: племянники из Баямо, а может быть, шурины, следуя инструкциям Тещи, намертво привязали проволокой поплавок в бачке, чтобы никоим образом не разрешить доступа воды. И впредь, в последующих веках, если в болезненном мозгу какого-либо Приживалы появится идея еще раз нарушить закон, он, безусловно, встретится с приговоренным механизмом, сухим унитазом и стерильным бачком, лишенным влаги на веки вечные.

Когда он заканчивал Сказку, уже не было следов гнева в Марке Аврелии Малом: он был скорее подавлен, пуст, и его плохой глаз уже прекращал свои лихорадочные поиски («некоего центра, неведомой оси, на которой косоглазие обретет наконец смысл и отдохновение») и сползал аж до пола, а здоровый глаз сопровождал его падение. Малый сейчас был способен отдалиться и даже вернуться на барельеф, иллюстрирующий эту главу, и предложить «символическое прочтение» крынки, которую поддерживает Женщина-Богиня.

Амфора, о которой идет речь, имеет объемистое пузцо, несколько вульгарное, которое, похоже, обрекает ее на посредственность Гадкого Утенка, и вдруг, очень эффектно, глина становится более упругой, вытягивает лебединую шею в небеса и самой своей формой представляет былое Возвышение процветающего инженера К. Гатериуса Тичикуса и его плебейской семьи, а также Возвышение вот этой самой семьи из нынешнего времени, семьи Тамары, и Возвышение Тестя, вызволенного рукой некоего божества из среды птиц марабу и кисасос, живущих в непаханых кубинских степях, и поднятого в весе до Директора Государственной Строительной Компании. Но амфора, кроме того, была эмблемой власти Тещи: она символизировала семейный взлет, который она держит в своих руках, и воду, самую драгоценную жидкость, которая дает людям, животным и растениям уникальную возможность жить. Кто владеет водой (в каком-нибудь племени, в селе, в домах и прочих строениях), тот не только становится Начальником Карусели, не только держит вожжи символических Лошадок, он охраняет доступ к ключам самой Жизни.

11 КАЛАБАСАРСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Чупачупс регулярно навещал отца в Калабасаре, там, у Другой. Собаки, жившие в доме, за два квартала чуяли его запах и присутствие, лишь только он выходил из автобуса. И потом, когда он *продвинулся* и смог приезжать на своей машине – моторизованный, как он говорил, – собаки определяли запах его бензина, или урчание мотора, или скрип тормозов, а может, какие-то волны в воздухе, и оповещали о его прибытии еще до того, как машина свернет с авениды направо, за километр от дома. Они устраивали чудовищную возню, которая нарастала по мере того, как Чупачупс приближался к заборчику отцовского дома своим пружинящим шагом. Этот хор лая достигал апофеоза, доходил до безумия, когда он, Чупачупс, ступал на ступени изъеденной временем лестницы.

Одни псы ненавидели его всеми силами своей Животной Души, единственной, какая у них есть, они гавкали и выли, чтобы отогнать его, другие испытывали непреодолимую любовь к этому явлению – надушенному, полному сил – и приветствовали его прыжками, лаем и жарким выражением нетерпения. Чупачупс без разбора боялся и тех и других: от любви или от ненависти, возбужденные животные обрушивались на него лавиной, обнюхивали, лизали, царапали его лакированные туфли, или кроссовки «Адидас», или его итальянские мокасины тонкой рыжеватой кожи, они оставляли шерсть, царапины, следы

слюны, других своих выделений, грязи и прочей мерзости на его высококачественных брюках, только что полученных из чистки.

И только голос Сесилии Вальдес Гойенечеа, ее уверенный, спокойный, никогда не злой голос утихомиривал эту свору и заставлял собак уступить дорогу (те, что ненавидели Чупачупса, тихонько ворчали, а обожавшие его виляли хвостами и жарко дышали) и дать возможность доброму и верному сыну Нико Лаферте пройти в дом и обнять отца, хотя брюки и ботинки у него были уже, конечно, не те. Отец ожидал его, спокойный, уверенный, сидя на табурете в зальчике перед телевизором. Он пожевывал окурок сигары и смотрел игру в пелоту, которую транслировали откуда-то из-за туч, из далеких гор, из неподвижного, личного и непередаваемого времени. Однако приход Фредди его радовал, он вставал и, хотя и не позволял влажным губам сына притрагиваться к его щеке, разрешал ему на несколько секунд прижаться к его узловатой груди.

Владения Нико Лаферте простирались теперь вдоль дороги, которая идет из Калабасара в Аэропорт. Там стоял ветхий деревянный домик под эскортом двух ценных деревьев (справа манго, а слева авокадо), защищенных от воров и незаконных вторжений изгородью, сооруженной из кусков колючей проволоки, кривых палок с шипами и остатков чьих-то заборов и оград. Но более всего постоянный надзор за деревьями осуществлялся усилиями бесчисленных собак разнообразнейших цветов и размеров, которых любовно содержала Сесилия Вальдес Гойенечеа.

Домик располагался в самом центре равностороннего треугольника, образованного тремя пунктами особого значения: Калабасарским кладбищем, Гаванской Психиатрической больницей и Аэропортом «Ранчо-Бойерос». Это были три символа человече-

ской склонности к передвижению, символы трех форм Перемещения или Путешествия (в страну Смерти, в страну Без-Рассудного и в другие провинции и страны). Посреди них карликовое королевство, где любили друг друга Нико и Сесилия, должно было обозначать нечто прямо противоположное: отказ от всяких перемен, Устойчивость.

Еще до знакомства с Нико, до соединения с ним, прежде чем сделать его хозяином своего Тела, своего очага и обеих своих Душ, Сесилия страстно любила другого мужчину, любила настолько, что «принесла ему» (то есть родила ему) ребенка, очень красивую девочку – волшебный цветок, маленькое лучистое солнышко, поднимавшееся каждое утро и освещавшее Калабасар и его округу. Этот свет, хоть об этом никто не догадывался, заполнял все три кончика треугольника. Муж оказался тупым быком и пьяницей, ни на что не годным, так что Сесилия устремила всю свою способность любить (а она была немалой) на тот лучащийся плод чрева своего, который она нарекла Леди Мадонной (произносится как *Лей-димадонна)*, и это было поистине королевское имя. Когда никудышный отец и наихудший из мужей как-то вечером пошел на пляж в Хайманитас, надул камеру от трактора, бросился в воду и доплыл до самого Майами, Сесилия и Леди Мадонна почувствовали необыкновенное облегчение. Они посвятили себя одна другой и жили-поживали в покое (тогда собак еще не было), редко-редко нарушаемом соседскими мальчишками, которые перепрыгивали загородку, чтобы посбивать камнями плоды манго.

У Сесилии, еще молодой и привлекательной, с роскошной африканской Попой, было множество претендентов, но она не торопилась с выбором. В то время ей было нужно предаться сладкому затворничеству со своей дочкой. Все шло хорошо, все протекало

как в фильмах и рассказах, описывающих счастье. Сесилии нравилась ее работа (на Фабрике изразцов неподалеку), а Леди Мадонна, с каждым днем все хорошевшая, перешла в шестой класс с очень хорошими отметками.

Была только одна, едва заметная полоска Тени, падавшая на яркий и улыбчивый пейзаж тех счастливых дней: Сесилию Вальдес Гойенечеа пугало, что ее девочка, такая красивая и умная, такая Светлая («мое солнышко», говорила она), может вызвать у людей зависть и привлечь губительное влияние злого глаза. Так что она могла понять ту печаль, которая сопровождала Чаро с самого детства Чупачупса, когда она увидела, как он растет, с его Гладкими Волосами, его грациозностью и полиморфическим очарованием. Те, кто станут позднее соперницами, сближались, не ведая того, в чувстве любви, гордости и беспокойства за своих детей. Чаро боялась этих «одержимых духов», этих мертвецов, которыми управляют колдуны, а Сесилию в особенности пугал взгляд (злой глаз, господи) отчаявшихся людей, тех, у кого, допустим, был ребенок, и они его потеряли, и не могли простить и забыть этого, и никак не могут обрести согласия и покоя, или людей бесплодных, не имеющих потомства, чьи чувства могут быть оскорблены лучистым образом Леди Мадонны, идущей в школу в форме, с пионерским галстуком, освещающей на пути все вокруг.

Леди Мадонна с самого раннего детства носила при себе амулетики и обереги, на веревочке на шее или пришитые к одежде. В таз с водой для ежедневного купания Сесилия добавляла немножко одеколона, порошка хины и ложечку пчелиного меда, и орошала этим свою девочку, и тщательнейшим образом смывала с ее кожи все злые взгляды, все дурное, так чтобы та была чиста от всяких бед и вреда, которые можно подхватить на улице.

Несмотря на всю бдительность и предосторожности, однажды в субботу пришел тот самый день («так было записано», сказал бы Нико Лаферте), который Зло отметило своим копытом. Это был какой-то приступ, потрясший Леди Мадонну изнутри, а потом – жалоба, тонкий стон, разрубивший надвое эту субботу и располосовавший деревянные стены дома. Она горела в лихорадке, у нее исказилось лицо и скрючились руки, спина заскрипела и согнулась, девочка – само совершенство и гармония – была обезображена конвульсиями, на шее, плечах и груди появилась красная сыпь, распространявшаяся с каждой минутой как окончательный удар по красоте.

Они пробыли целую неделю в гаванском Педиатрическом Центре, рядышком друг с другом: Леди Мадонна сражалась со своей болезнью на скрипучей металлической кровати, а мать, у изголовья, пыталась ее приободрить, не спала ночей, страдала так, что сильнее, кажется, некуда.

На шестую ночь в клинике Сесилия Вальдес Гойенечеа позволила себе сомкнуть веки, уронить голову, не выпуская из рук пылающих ладоней девочки, и было ей Откровение. Она прервала свое бдение всего на несколько минут (две-три, не больше), но вот в этом крошечном кусочке сна она увидела собаку, мелкую блохастую шавку. Ничего более, обычная собака, без породы и звания, смотревшая на нее прощальным взглядом. Тогда она открыла глаза, поцеловала дочку в лоб (горящий, все еще горящий) и дала Обет. Она произнесла его про себя, с большим убеждением, очень сосредоточенно, без молитв и нашептываний, чтобы он попал напрямую к Святому Лазарю в качестве личного послания. Если Леди Мадонна излечится, если лихорадка и сыпь пройдут, если болезнь выйдет из этого дрожащего, измученного тельца, она, Сесилия Вальдес Гойенечеа, обязательно подберет

всех бездомных собак, которые будут встречаться ей на пути в течение года, и будет защищать их и заботиться о них, как о своих собственных детях, как о плодах ее чрева, и будет исполнять это до конца жизни (то есть жизни собак и ее собственной). Более того, она сменит имя девочки, обратится в суд, обегает нотариальные конторы, перевернет небо и землю, подпишет все нужные бумаги и поставит все нужные печати, и тогда Леди Мадонна, воскрешенная и излеченная, Леди Мадонна, вернувшаяся к ней, уже не будет больше Леди Мадонной, а будет Лазарой, да, Лазарой или Лазаритой – в честь своего спасителя.

На следующее утро, к изумлению врачей, температура стала спадать, сыпь уходить, и Лазарита (официально еще Леди Мадонна) сказала, что хочет есть, и проглотила все, что перед ней поставили, а потом дошла с матерью до широких окон приемного покоя и посмотрела оттуда на суматоху, на улицы, на суету, на тот ураган, куда святой позволил ей возвратиться.

Сесилия, естественно, исполнила Обет буквально. Домик в Калабасаре заполнялся псами и собаками самого сомнительного происхождения, которые, в свою очередь, свободно размножались и навязывали здесь свою прожорливость, свой лай и свои нравы. Когда завершился срок Обета, они составляли уже очень развитую собачью колонию, требовавшую обильного питания, жидкости против блох, пилюль от паразитов и ежедневную порцию ласки, которую их хозяйка должна была тщательно распределять между всеми ними, поскольку собаки – существа ревнивые и требующие полного внимания.

В дурные моменты, в самые что ни на есть плохие, Сесилии казалось, что она сойдет с ума посреди этих ненасытных и вонючих тварей, и тогда она обращалась к своему святому: она не просила помощи (Обет есть Обет, здесь не может быть исключений), а толь-

ко немножко снисхождения к ее ошибкам и неспособности правильно обходиться с подопечными, к скромности порций, которые она с таким трудом добывала для них на кухне изразцовой фабрики. Факт остается фактом: святой помог ей – косвенным образом, как поступают все святые. Все соседи, потрясенные действием Обета и строгостью его соблюдения, видя Лазариту все более цветущей, здоровой, прекрасной и «светящейся», встречая ежедневно бедняжку Сесилию, мотающуюся как юродивая туда-сюда в сопровождении собак, тоже стали искать покровительства у Святого Лазаря, у Баба, как его называли ласково, и собирали еду и сражались с чесоткой, вшами и клещами, так что внесли неоценимый и осознанный вклад в сохранение собачьего сообщества. «Без соседей, без района, – рассказывал мне Чупачупс, – не знаю, как бы они справились с этаким». При этом он шевелил своими тонкими пальчиками, изображая бессмысленную толкотню и безудержный рост числа собак. «Если б ты видел, старик, – говорил он. – Сколько этих приставучих тварей, сколько вони, с ума сойти!» Вторая часть Обета, на первый взгляд значительно более легкая («бумажные проблемы, вопрос документов», полагала Сесилия), встретила неожиданные препятствия в Разумной Душе дочери, в самой тонкой и деликатной части ее духовного строения. Дело в том, что Лазарита яростно сопротивлялась перемене имени: она чувствовала, что это будет болезненная операция, что на месте разрыва останется незаживающая рана. Хотя имя Леди Мадонна нравилось ей своим звучанием (в нем слышалось что-то экзотическое, свинговое), и именно так ее звали в школе, в квартале, повсюду, причиной ее сопротивления было другое: она выросла как Леди Мадонна; ее физиология – каркас трех ее основ, – ее физическая, психическая и моральная организация выстраивались

именно под этой эмблемой. Она не могла объяснить, но если бы у нее отняли имя, имя всей жизни, если бы ее заставили отбросить его подальше, как что-то мертвое и чужое, она потеряла бы то существенное, что придавало форму ее существованию, всей последовательности ее поступков, что укрепляло строительные леса вокруг ее Сущности.

Чупачупс узнал ее как Лазариту, когда она уже много лет была Лазаритой: она уже открыто не сопротивлялась своему новому имени, ее неприятие существовало в погруженном состоянии – огромное, темное, как «Наутилус». Ей исполнилось Пятнадцать Полновесных Лет, с большой буквы, как вступают в этот возраст только кубинские мулатки. У нее была незабываемая Попа, жемчужина Гвинейского залива, лаконичная, хорошо слепленная грудь, славные глаза, и Чупачупс возжелал ее с взрывной силой, жадно, порочно: с ней, с Лазаритой, он готов был впасть в Отсталость без малейших колебаний. Он отдал бы все за возможность обвить ее как лиана, полакомиться своими пухлыми губами каждым из углублений на ее теле, и испить из нее, и накрыть собой, и утешить, и успокоить в ее неприятии имени, данного по Обету, и защитить от всех напастей.

С тех пор, как Чаро прочитала «Понятия теософии» и выгнала из кровати кошку Нану, Чупачупс почувствовал некоторое облегчение, но его мысли тут же отправились в Калабасарский треугольник. Он испугался за Лазариту и за саму Сесилию Вальдес Гойенечеа: а вдруг мадам Блаватская говорила правду! Насколько могли отстать в своем духовном продвижении мать и дочь из-за сожительства с этой стаей? Он даже подумал, не пойти ли ему, оставив условности, к профессору Мариньо и не попросить у него эту книжку, а потом устроить просветительские чтения в домике на Калабасаре.

Иногда ему удавалось поговорить с Переименованной в ненадежном уединении, которое позволяли им собаки. Они болтали на детские темы: как было там, на пляже в воскресенье или на празднике у Такой-то, понравился ли Лазарите новый фильм по телевизору. Чупачупсу хотелось думать, что между ними установилась некая бессловесная связь и девушка передает ему некие послания, которые невозможно произнести. Он чувствовал, что Лазарита не принимает, не принимала никогда, ни на одну минуту, своего нового имени, и верил, что видит силу этого неприятия в черных, прекрасных, бездонных глазах девушки.

Чупачупс вспоминал о Норке де ла Торре, об Ампаро, видя драму Лазариты, которая не хотела ею быть, которая крепко держалась за Леди Мадонну, отнятую у нее только на бумаге. Норка, Переименованная по своей воле, напротив, яростно защищала свое новое имя, и расстраивалась, и злилась, когда он, приезжая в Гуанабо, для прикола приветствовал ее словами: «Смотри, кто пришел, радость моя, Ампарито де ла Каридад».

Вид Калабасарского кладбища (мрачная, скажем так, точка нашего Треугольника) вызывал у Чупачупса дрожь: он не переносил мысли о смерти, о переходе в те неведомые земли, где путешественник остается и уже не возвращается никогда. Психиатрическая клиника («отчужденный» пункт) с ее дураками, играющими в пелоту, или подрезающими ветки деревьев, или глазеющими из-за ограды на безумную суету здравомыслящих людей, пробуждала в нем любопытство, он пытался представить себе, как осуществляется этот Переход, приводящий человека в удел бессмысленности и неведения, какими должны быть эти пажити бреда, и иногда он криво и нервно усмехался. Аэропорт («туристический» пункт, замы-

кающий Треугольник), и в особенности зона международных полетов, трогал Разумную Душу Чупачупса особым образом: это было фосфоресцирующее прикосновение фей, это было путешествие в страны Продвинутости и Вещей; «путешествие как поклонение Ложному», – сказал бы Марк Аврелий.

И вот здесь, в центре стольких перекрещивающихся линий, в центре таких мощных противоречий, оставалось загадкой, да, настоящей тайной, как домик Нико и Сесилии мог сохранять Устойчивость в полном смысле слова, без малейшего снисхождения. Позже, в девяностых, мы вернулись к теме Устойчивости, которая так нравилась Марку Аврелию, к «загадке Устойчивости», как он говорил, а Фредди обратил наше внимание на другое чудо Калабасара: ту спонтанную, естественную, органическую манеру, с которой Нико Лаферте разместился в самом сердце этого домишки и начал царствовать в нем, словно эта роль и это место были предназначены для него с самого зарождения его рода в каком-то порту на юге Гаити, или даже раньше, в далекой Дагомее. Его призвала сюда Отсталость силой его примитивных духов, как полагала Чаро? Отсталость поджидала его в Треугольнике Устойчивости, в этом деревянном домике, среди неумолкающего лая и даров двух деревьев – авокадо и манго? Гаитянцы поклоняются духу Легбы, белобородого старичка в изношенной одежде, прихрамывающего и опирающегося на короткий костыль, и некоторые думают, что Легба и Лазарь, что Легба и Бабалу Айе – это один и тот же святой. А может, это Легба подвел его к Сесилии Вальдес Гойенечеа?

Нико улыбался, как человек, который Знает, той улыбкой, которую Чупачупс видел на его лице, когда при нем упоминали о Божьей воле, о роли духов или мертвецов в жизни людей, в случаях особого несчастья или удара судьбы. «Все написано, – говорил он, –

а написанного ничто не изменит, никакая молитва, никакое колдовство». Он не был атеистом наподобие Серафина Эскобедо, отца Марка Аврелия Малого, и не мог бы приписать себя, как его сын, к кругу этих распалывчатых верующих, которые верят «на свой лад». Он был рожден и воспитан среди божков и ритуалов его отцов, которые привезли из Порт-Салута в Гуантанамо свою веру, свои молитвы, свое поклонение Легбе. Позже, уже взрослым, когда соединился с Чаро, он научился жить рядом с фантазмами Алана Кардека, а сейчас он мог быть счастливым среди своих святынь и собак его новой жены. Он не отрицал возможность существования (сверху или снизу, на вершинах или в ночи) других существ, называемых различными именами. Но по его суждению, они не имели никакой власти над тем, что написано, они были чересчур заняты своими делами, чтобы откликаться на призывы священников, «бабалаов» или в них верующих, или чтобы реагировать на Чаро и заседания Кружка Кардесистов Поголотти, на жертвоприношения и ритуалы гаитянцев или на те, что совершали Сесилия Вальдес Гойенечеа и другие ведуньи Калабасара.

Не так легко было преодолеть преграды, защищавшие Разумную Душу Нико Лаферте: казалось, он дистанцировался от всего и заключал себя в прозрачную капсулу, когда усаживался в дверях, чтобы покурить «гаваночку», как он выражался, и полистать старый журнал. Шум района и неумолкающей своры, новости об эпидемиях и катастрофах, о прибытиях, пактах, чудесах, научных открытиях, о рождениях и смертях, приходившие из человеческого муравейника, не пробивали его внутренней закрытости. Чупачупс определял это качество отца выражениями «ему-хватает-самого-себя» и «ни-от-кого-не-зависит». Однако наш Марк Аврелий Малый заходил куда дальше и

видел в нем средоточие основных чаяний стоицизма. «Предшественники стоицизма, – объяснял он, – специально тренировали своих учеников, чтобы суета внешнего мира не присосалась к ним изнутри, чтобы неуравновешенность, дурь Внешнего не смогли испортить их ядра, Сути их Сути, мозга костей, центра, определяющего каждого из нас, – так он говорил и нацеливался на Фредди своим хорошим глазом. – Ты себе не представляешь, как я восхищаюсь твоим стариком, – говорил он, – ты просто не представляешь, – повторял он, и это выглядело как упрек за то, что его друг родился от такого отца и не ценит этого как подобает. – Твоему старику было дано (думаю, что с самых ранних лет) то, чего мой не смог обрести за целую жизнь упражнений в стоицизме, в чтении и медитациях, чего не добились ни Поляк, ни Эпиктет, ни Марк Аврелий Великий».

Пока Малый так горячо теоретизировал о Сути, Фредди размышлял (не мог избавиться от этого) о собаках Сесилии Вальдес Гойенечеа и их любопытном поведении в отношении Нико Лаферте. Он мог бы поклясться, что собачья колония ощущала некую хрустальную стену, границу, невидимую преграду, стоявшую перед этим мужчиной, черным и молчаливым, чуть поседевшим, всегда свежим, чистым, словно только что вымылся, который лучше всех других умел усаживаться в дверях своего домика или у калитки, или медленно приближаться к деревьям и сбивать палкой плоды манго и авокадо, или величественно подходить к изгороди и останавливаться, пожевывая окурок сигары, и долго смотреть на мир без большого интереса. Если наш Марк Аврелий смог понять благодаря многим прочитанным книгам и непрестанной тяге к размышлениям, что отец Чупачупса должен быть определен как Абсолютный Владыка Своего мира, собаки пришли к такому же выводу по своему

разумению: они чуяли это нерушимое условие с первого появления Нико в домике на Калабасаре и тщательнейшим образом соблюдали его. Никто не отваживался встречать его прыжками, лаем и льстивыми ласками, никто не приближался к нему, чтобы выпросить кусочек, когда он ел. Если Владыка Своего проходил через колонию, собаки ложились ничком и создавали перед ним коридор покоя и тишины.

По воспоминаниям Чупачупса, был только один пес, только один среди всех облагодетельствованных Обетом, который непонятным образом приблизился к Нико, – уродливый серый пес с какой-то вывихнутой походкой, к тому же не лающий, который взаправду никогда не лаял. Его присутствие было настолько незаметным, что не нарушало атмосферы Своего, и ему было позволено тереться о ноги Нико Лаферте и даже присаживаться с ним рядом на крыльце. Серый Пес не был просто собакой и даже не был подобран, как остальные. Он пришел самым последним, за несколько часов до окончания срока Обета. Он не встретился Сесилии Вальдес Гойенечеа по дороге, как было указано в Обете, он пришел к ней своими собственными лапами. Той ночью лил дождь, громыхало, и собаки сгрудились в доме, напуганные ливнем, раскатами и вспышками молний, и вновь переживали ужас жизни под открытым небом, без крова, любви и пищи, а может, страдали от каких-то более древних собачьих страхов. Они грызлись между собой, и прятались под мебелью, и жались к ногам Сесилии, пытавшейся их успокоить. Лазарита вдруг вернулась в детство и искала защиты, ласково приникая к матери, и отстаивала свои объятия от притязаний маленьких щенков, и ей хотелось плакать.

Вдруг дом осветился снаружи вспышкой более яркой и долгой, чем все молнии вместе взятые, но за ней не последовало удара грома. Как по команде,

собаки вылезли из своих убежищ и начали лаять, но каким-то другим тоном, с вздыбленной шерстью, направляя свои носы, глаза и гавканье в сторону улицы. Они уже не боялись грозы: другой страх, приходивший издалека, из глубин памяти рода собачьего, и даже из более далекого прошлого, приводил их в трепет, и они изображали истерическую отвагу, надсаживая глотки по эту сторону запертой двери.

Что-то неведомое преодолело ограду и уже находилось на газоне перед входом, а может, под манго или авокадо или на ступенях крыльца. Сесилия Вальдес Гойенечеа была женщиной отважной, но она предпочла подождать до утра рядом с плачущей дочкой, с дрожащими сторожевыми собаками, продолжавшими лаять и сбиваться в кучу к ней поближе.

На следующее утро, ясное утро, во дворе не было обнаружено ни метеорита, ни корабля пришельцев, ни НЛО, не было ни ангела, ни трупа изнасилованной женщины, ни бежавшего преступника – там был Серый Пес, спокойный, смирный. Он проскользнул, как тихий листок, в разгар бури и разноголосого лая собачьей своры, он нашел укрытие под досками и оцинкованными листами. Он не говорил ни слова, это естественно, но он также не скрежетал зубами, не скулил, не издавал ни единого звука. Он пришел на встречу с Сесилией точно в день окончания Обета.

Собачья колония так никогда и не приняла его в свой состав равноправным членом – с паспортом, правами и обязанностями. Остальные собаки чувствовали перед ним какую-то смесь страха и отвержения, они либо застывали в его присутствии, либо пятились, и шерсть у них дыбилась, как в ту грозовую ночь. Серого Пса, похоже, не привлекали радости и выгоды жизни общественной. В своей тонкой и умеренной манере, не представляясь ни угрюмым, ни униженным, ни просящим, он держался отдельно во

время принятия пищи, во время возни у ограды, во время отправления естественных нужд, он ни разу не попытался присоединиться к лающему рою, который окружал в определенные сроки течных сук, он не выказывал интереса к обнюхиванию задниц своих сородичей, ни к тому, чтобы его зад был обнюхан и признан. Он получил имя, как любой и каждый входивший в колонию. Его временную кличку Серый Пес заменили на Пепел, намекая на его цвет или метафорически осмысляя его. Но его окончательное имя появилось позднее, когда Лазарита дала в руки матери Историю Кубы для шестого класса и показала ей страницы, где говорилось о кубинских индейцах и их собаках, таинственных немых собаках. Сесилию с ног до головы пронизала дрожь, охватившая все ее Тело и Обе Души. Пепел был переименован (как это случилось с Леди Мадонной, как это произошло с Ампаро по ее собственной воле), его назвали Немой Пес, хотя ему было наплевать, и Сесилия повесила над образками Святого Лазаря, Баба, Старичка с Костылем две гипсовые головки – воинственный профиль индейского вождя в разноцветном оперении, и другой профиль, более мягкий, его жены, с одиноким белоснежным пером между двух черных и густых кос.

12 ПЕРВЫЙ РАЗРЫВ

В один омерзительный воскресный день в Утехах Юга, у табачных плантаций Лагеря кубино-монгольской дружбы, сложилась новая глава биографии нашего Марка Аврелия, Малого. Надо бы назвать ее (вообще-то, это пошлое название) «Первый Разрыв».

Это был один из тех «жизненных случаев», которые так нравились Норке де ла Торре: пятнадцатью годами ранее в тех же краях была написана важная глава другой биографии – Чупачупса. Такого совпадения ни Малый, ни кто-либо другой не могли себе и представить. Очень недалеко оттуда, от лагеря, где Ребенок проводил положенное время в рамках педагогической программы «Школа – Селу», находилась, то есть продолжала существовать, воинская часть, в свое время принявшая в свои ряды Чупачупса, и текла, продолжала протекать река, речка, речушка, которая столько раз омывала своими водами стриженого новобранца с чувственными губами и Тере, самоубийцу. Если пройти немного на восток, то можно наткнуться на горную полянку, все еще отмеченную Огнем, а если отправиться на запад, то попадешь на кладбище. В его чреве когда-то, чопорно, среди вздохов, молитв и слез была упокоена малая толика почерневшего вещества, ничего общего уже не имевшего ни с Тере, ни с ее подходом к тому, как надо предаваться – чисто, невинно, бесповоротно – сначала любви, а потом смерти.

В то время Марк Аврелий еще не был в курсе многих глав и приключений из биографии Чупачупса, не знал простенькую и жестокую Сказку о Новобранце и Влюбленной Крестьяночке. Естественно, его полностью занимала собственная глава, и было бы несправедливо критиковать его за это, ведь в висках у него безостановочно пульсировал мотивчик Серафина Эскобедо – «что ж это такое, сынок?».

«Плохо мне там было, – признался мне Малый много лет спустя. – Я чувствовал себя чужим среди этого люда». Так сказал он мне. Но главное, что именно там, среди толпы в Лагере кубино-монгольской дружбы, он решил избавиться от Вины, привязывавшей его к сыну, и разорвать свой брак с Тамарой. Каким-то образом могли повлиять на его решение, столько раз откладываемое, мягкая зелень пинарского пейзажа, нежный, лижущий ветерок – и грубое, шокирующее его стоический взор вторжение горожан: родителей, разыгрывавших напускную ласку («внешнюю», говорил Марк Аврелий), притащивших с собой пакеты, авоськи, лакомства, бабушек и пуделёчков. Да, родителей, приехавших на автомобилях, автобусах, машинах и колясках, на телегах, влекомых тракторами, родителей, высаживавшихся, как морская пехота. Они отравляли собой атмосферу, но вдыхали легчайший воздух жадными и шумными глотками, словно животные из другого мира – надменные, надутые, неспособные пристойно разместиться в этом невинном мире.

Малый приехал, поскольку «экскурсия», так он говорил, была организована Тамарой, а также симпатичной и активной мамашей подружки Ребенка, Джамилет (которая уже переставала быть просто подружкой, готовая превратиться в нечто наподобие невесты Ребенка). Они приехали все вместе на машине тоже весьма симпатичного и активного папы Джамилет и

привезли собранный в складчину завтрак. Это было довольно странное семейство, составленное только на одно воскресенье, ну, может, еще на следующее, а возможно, на все остальные воскресенья (четыре или пять), угрожающе маячившие впереди до самого окончания «Школы – Селу».

Папа Джамилет всегда был готов *решать вопросы* (так говорил он сам, а его жена и Джамилет, да и Тамара тоже, повторяли это с восхищением), и только благодаря этому его качеству они смогли разбить бивак под самым лучшим деревом в округе: мощным деревом, с обильной тенью, не очень близко, но и не очень далеко от лагеря, окруженным к тому же бархатистой травкой, без козявок, муравьев и мусора. Идеальное место, чтобы расстелить клеенчатую скатерть и устроить пикник по всем правилам.

Джамилет и Ребенок тут же набросились на сладости, закупленные их мамашами после четырех- или пятичасовой очереди на Центральном Рынке, в магазине, который раньше назывался «Sears». Папа Джамилет выставил впечатляющую магнитолу («Sony», *made in Japan)* на крышу своего автомобиля (аргентинский «фиат» семьдесят восьмого года) и занялся поисками музыки, «музыки старого, доброго времени», как он выражался, и поставил «Брызги шампанского», а потом «Хиты на все времена» из программы «*Ноктурно»*, а дети попросили Хиты посвежее, и последовала прелестная музыкальная полемика, а бабушка Джамилет расставляла на скатерти кастрюльки, термосы, пластиковые подносы, нейлоновые сумки с ножами, вилками, тарелками, стаканами и прочим замысловатым оборудованием для завтрака. Тамара услужливо помогала ей, показывая, что она не перестает *решать вопросы*, в то время как ее муж («чужак») стоит себе в сторонке, руки в брюки. Один глаз Марка Аврелия, правый, неудачный, бро-

дил по развешанным связкам табака, а другой, нормальный, уставился бог знает куда. А мама Джамилет, такая милая и заботливая, уже шествовала в здравпункт за зеленкой и пластырем, чтобы собственноручно заняться обработкой раны, малюсенькой ранки, которую Ребенок посадил на локте. «Да что ж это такое, сынок?» – таким, наверное, был бы комментарий Серафина Эскобедо.

«Я больше не мог, – рассказывал мне Марк Аврелий. – И я постоял в сторонке, а потом пошел». Шел и шел, и остановился у межи, окружавшей табачное поле, и позволил обоим глазам разгуливать каждому по своему маршруту. Один из них рассмотрел белые покрывала на некоторых участках и пушок на листьях, а другой, возможно, посмотрел чуть выше и дальше и различил скромный берег реки, речки, речушки, которая омывала когда-то Тело и Обе Души его друга Чупачупса и которая продолжала течь, как уже было сказано, безразличная к шагам Кроноса, к катастрофам, страстям и превратностям человеческим.

Малый смотрел на поля Пинар-дель-Рио и вспоминал «добрые старые времена», как он рассказывал мне, причем не времена передачи «*Ноктурно*» и ее хитов, а те годы, полные труда и славы, когда он отправлялся (еще очень маленький, меньше Ребенка) собирать кофе или рубить тростник, словно шел на войну. И он, и я, и Чупачупс и Анхелито Китайчонок загружались в длинные товарные поезда, и пересекали всю страну, и спали в гамаках, кое-как прибитых к пальмовым брусам, и терпели настоящий голод, истинный голод, и было бы невероятным оскорблением, если бы тебе привиделся посреди горы какой-нибудь родитель или надоедливая бабушка, или кто-то везущий тебе пончики и конфеты. И Марк Аврелий, и я, и Китайчонок, и Чупачупс чувствовали себя почти эпическими героями, когда возвращались в столич-

ный город с грязными и драными рюкзаками на плечах, в обтрепанных штанах, с въевшейся в кожу землей, с сильным Телом, покусанным разными тварями и порезанным острыми листьями тростника.

В то неведомое воскресенье в Лагере кубино-монгольской дружбы, Марк Аврелий спрашивал себя (я знаю), как могла та эпопея, наивная, быть может, но очень трудная, заполненная красотой и силой, выродиться в этот странный пикник, в это мелкобуржуазное празднество, в это плачевное соревнование между мамами и бабушками за то, кто привез больше еды, лучшего качества, более дорогой или труднее доставаемой, или кто блещет собачкой более редкой породы, или магнитофоном лучшей марки (всегда с «коммерческой» или «слащавой» музыкой), или блестящими и переливающимися атрибутами – солнечными очками, бейсболками, джинсами и теннисками по последней моде.

Думаю, именно тогда его неудачный глаз завершил сельскую прогулку и уставился на Тамару, с ее гривой, повязанной цветным платочком, живо переговаривающуюся с очаровательной мамой Джамилет, в то время, как хороший глаз созерцал дерево, избранное папой Джамилет, и видел, насколько его блистательный, гордый, полный растительного достоинства ствол был осквернен во время ритуала завтрака. Неудачный глаз, пусть и кривой, послал сигнал в мозг, где размещается трон Разумной Души, и этот сигнал присоединился к тому, что пришел от хорошего глаза, и ко многим другим импульсам, и именно так было принято решение, столько раз откладываемое, то, которого все друзья Марка Аврелия ждали уже тысячу лет и не понимали, как можно было оттягивать его за все разумные пределы.

На следующий день, это был понедельник, он удрал от Тамары, от Тещи, от кузенов, от племянни-

ков из Баямо, и укрылся в доме своих родителей в Буэн-Ретиро, милом убежище времен кончавшегося детства, и всего отрочества, и первой молодости. Серафин Эскобедо был жив еще, и принял его с объятием, а мать вытащила откуда-то сухой поцелуй и запечатлела его на щеке блудного сына, в то время как братья и племянники и шурин не старались ничего изображать, а издавали в качестве привета, каждый в свою очередь, короткое похрюкивание.

Первый разрыв был задуман в сельскохозяйственном лагере, в далеких Утехах Юга, в прямом контакте с Природой и ее Посланием силы и достоверности. Предпосылки, питавшие Разрыв, ослабли в городской атмосфере Марианао, и он потерпел неудачу и не смог превратиться в Развод. Однако он принес случайный плод необыкновенной ценности – внутреннюю связь, восстановившуюся между Малым и его отцом, больным, на пенсии, уже отмеченным Той, Что Не Прощает. Они возобновили свои беседы на стоические темы до самой поздней ночи, свои партии в шахматы (последние, что были сыграны в их жизни), которые почти всегда заканчивались яростными нападками отца в отношении стиля Ларсен – Марк Аврелий, они прогуливались по району, несмотря на одышку и изматывающий кашель Серафина Эскобедо, опиравшегося на плечо сына, но настаивавшего на том, чтобы дойти до сотой улицы и отдаться ветерку, летевшему от Обелиска.

Я представляю себе Отца и Сына на углу 100-й и 39-й: они словно воплощали легендарную пару – старого Анхиса и Энея – Героя, Основателя, троянца, воздвигшего в Лации царство с блестящим будущим. Серафин Эскобедо, чей взгляд был устремлен на маячивший перед ним образ Парки, был бы хорошим Анхисом, а вот (по правде говоря) косоглазый, тщедушный, терзаемый угрызениями Совести и Вины

Эней, которого должен был представлять Марк Аврелий, не казался способным основать ни царство, ни вообще что-то долговечное. Да, в нем работала и возрастала Вина, как в Серафине Эскобедо работала и возрастала Болезнь.

Однажды он не выдержал и возвратился, к ужасу всех его друзей, в объятия Тамары и Тещи, поскольку полагал, как он сказал мне, что так «будет лучше для Ребенка».

Несколько месяцев спустя после бессмысленного восстановления отношений на Предприятии ему дали квартиру, а Серафин Эскобедо умер. Стоики, как известно, должны встречать смерть, свою собственную, да и других тоже, со спокойным духом – они принимают ее как предвиденный факт, в порядке вещей, она не берет их врасплох, не ужасает, не заставляет страдать. Малому в его случае не сильно помогли уроки Великого, Эпиктета и Поляка: потеря острым лезвием распорола глубины его Разумной Души и оставила в ней очень болезненную рану, которую время едва-едва смогло превратить в бледный шрам.

Судьба отнимала у него отца, но в то же время дарила новую квартиру, где он впервые в жизни сможет отстаивать свои права и звание законного главы семейства. Так перед глазами Марка Аврелия предстал Знак – твердый и кровоточащий, говорящий о грядущих неведомых заботах и о надежде. Его слово обретало объем и вес, он уже не был Приживалой, Вещью без марки и цены, приблудным псом, кем-то, живущим из милости, выполняющим только правила и обязанности и не имеющим никакого права. Кто знает, может быть, наедине с Тамарой и Ребенком он сумеет отстоять их для Подлинной Жизни, отдалить от людей без сути и смысла, таких, как папа и мама Джамилет и как она сама – этот прелестный Цветок

Отроческой Фривольности, отгородить от таких невоспитанных и грубых людей, как Теща и ее многочисленные родственники. Кто знает, быть может, в Тамаре, в самой Тамаре еще таились духовные запасы, которые смогли бы всплыть на поверхность в уюте новой квартиры. Кто знает, быть может, в ней спала (сокрытая) надежная соратница в деле воспитания Ребенка.

Наш Марк Аврелий Малый чувствовал, что, пусть и поздновато, он вошел в зрелый возраст, и уход отца резко подчеркивал это ощущение: сейчас он был один, как молодой бык, отделившийся от стада со своей самкой и ее теленком, как тот, для кого уже не существует никакой родительской помощи или поддержки.

Жизнь покажет ему, с обычной для нее нравоучительностью, сколько изобретательности заложила она в его дебют в качестве взрослого-главы-семейства.

13 СТРАДАЛЕЦ СИБОНЕЙ

В те дни, когда Сесилия Вальдес Гойенечеа подбирала в Калабасаре одного пса за другим, исполняя свой Обет, кардесисты Поголотти безуспешно призывали некоего индейца – неприкаянный дух, облаченный в Большой Свет, которого называли Страдалец Сибоней, – и требовали его присутствия на всех ординарных заседаниях, и специально созывали внеочередные собрания только для того, чтобы заставить его прийти, и вкладывали в этот зов всю психическую мощь группы, всю умственную энергию, которую только были способны произвести, и заканчивали труды в полном изнеможении: он или не слышал их, или не хотел слышать.

В семидесятые годы Чаро и ее сотоварищи регулярно внимали глубоким и серьезным речам Страдальца, его слово и его разъяснения были ступенями необычайной ценности для коллективного Продвижения Кружка Кардесистов и для личного Продвижения каждого из его членов. Но вот пришел восьмидесятый год, события в Мариэле, и Нена Маникюрша уехала из страны.

Нена вместе с Чаро и профессором Мариньо была одним из создателей Кружка. Ее признавали (с полным основанием) самым одаренным медиумом Поголотти и одним из самых блестящих во всей округе. Это была не просто очередная потеря: по причине ее безвозвратного ухода расстроились многие отноше-

ния с Той Стороной, а их Кружок постоянно укреплял со дня своего основания. Но хуже всего, что оборвалась нить, связывавшая их со Страдальцем (пречистым) Сибонеем. Именно она, Нена, Предательница, неверная Маникюрша, обычно выходила на связь с Сибонеем, скорбным и лучащимся, она предоставляла ему свои голосовые связки для выражения его мыслей, и такой рафинированный Дух, конечно же, не мог терпеть двусмысленных ситуаций: он не соглашался, чтобы ему за просто так меняли медиума. И он не приходил.

Когда Немой Пес вошел в ограду домика в Калабасаре, неся, возможно, послание от своих древних хозяев, Чаро и остальные члены Кружка продолжали бесплодные попытки получить хотя бы слово, один намек, весточку, малюсенький знак от лучащегося индейца или от любого другого сибонея, таина или гуанахатабея, который помог бы им выйти из кризиса, из того провала, в который их ввергло предательство Нены Маникюрши. Если бы они знали, что в Храме Былого в то время удобно устроился сам Немой Пес, они заболели бы от злости или зависти, и кто знает, может, от чего похуже: от необратимой концептуальной сумятицы, от некоего сомнения, разрушающего основы их веры.

Чупачупс не мог объяснить себе их навязчивую идею связываться с туземцами, заставлявшую страдать, злиться и выходить из себя последователей Кардека в Поголотти, включая его мать, так нуждавшуюся в отдохновении после своей Великой Депрессии. Что им, не хватало симпатичного духа Испанской Монашки, неизменно присутствовавшей на очередных собраниях Кружка? Или Утопленника реки Заза, такого выразительного и влажного в своих проявлениях? Или Одинокой Руки, гулявшей по потолку и по стенам, как прозрачный паук, и своими холодными

пальцами портившей прически собравшихся? «Ах, Фредди, сынок, – говорила ему Чаро, – ты ничегошеньки не знаешь, ты не представляешь себе, что мы потеряли, – вздыхала она, и ее обильные и белые телеса колыхались. – Такой индеец, как Страдалец, – это сокровище, драгоценность, раритет; ты не представляешь, какая потеря нас постигла». Так говорила она, исполненная грусти, и упросила профессора Мариньо, признанного идеолога спиритического авангарда, теоретически направлявшего кардесистов Поголотти, чтобы он дал достойные и обоснованные разъяснения в ответ на возникшее любопытство ее сына.

Профессор Мариньо, из кожи вон лезший, чтобы сделать приятное Чаро, прицепился к нежданному ученику как «педагогический клещ», рассказывал мне Фредди, и прочитал ему целую лекцию о той роли, какую сыграли индейцы, в особенности североамериканские, во всемирной истории спиритизма, занимая место сразу же (это очевидно) после мертвецов, и дал ему четыре или пять книжек, которые охватывали эту тему и даже иллюстрировали ее «психическими фотографиями».

Чупачупсу не хватило терпения прочитать книжки Профессора. Он полистал их и отдал мне, и я, листая страницу за страницей, смотрел на дефиле неприкаянных душ апачей, сиу, ирокезов, навахо – что-то вроде примитивного передового отряда, расчищавшего дорогу Свету, оказывая большую, огромную помощь в области его популяризации. Так называемые краснокожие, похоже, сами не несут целенаправленного послания Оттуда, но, безусловно, производят много шума и театральных эффектов: двигают столики, бьют вазы, зеркала, стекла в окнах и целые сервизы, поднимают кровати скептиков и скидывают их на пол – и содействуют таким образом Обращению

людей, которые никогда ранее не интересовались доктриной, зашифрованной Кардеком. В них бурлит жажда осуществлять все эти действия («феномены полтергейста») и выделять плотную эктоплазму, крайне полезную для материализаций или проявлений, и напротив, они ничем не могут помочь, когда приходит время воспроизводить психофонические или психографические послания.

Все началось, согласно книжкам Мариньо, в 1837 году, когда некое бесплотное племя предстало перед общинами шейкеров в Соединенных Штатах, и овладело людьми, и заставило их танцевать и крутиться вокруг огня, как предшественников голливудских индейцев, и кричать «юп-юп» и все такое в фольклорном ключе. Это был их дебют, а затем утыканные перьями призраки стали практически неизбежными на публичных актах связи с Той Стороной и на собраниях более закрытых – везде, куда бы только ни приглашались души, свободные от телесной оболочки. Все великие медиумы спиритического бума конца XIX – начала XX века, Великие, а также Малые, обязательно прибегали к помощи «краснокожих» и оставили нам множество «психических фотографий». На них мы ясно видим изображение Медиума (мужчины или женщины), сидящего в кресле, а рядом с ним стоит силуэт, туманный контур, эктоплазматический след очередного индейца.

Отпечатанная на мимеографе брошюра «Кубинские аборигены в исследованиях подлинного кардесизма: мифы, обманы и некоторые уточнения», работа самого Мариньо, придавала национальный штрих собранию книг Кружка и показывала, как кубинский спиритизм в различных его вариантах всегда интересовался первыми обитателями острова. Профессор защищал кардесистскую ортодоксию, и отвергал «извращения», как он писал, «спиритизма креста и

веревки», и критиковал народные представления о мертвых туземцах, лишенные исторической достоверности и имеющие склонность представлять наших таинов и сибонеев с плюмажами из перьев, с расписными щеками, с луками, стрелами и даже трубками мира. Но он признавал главный факт: всякий кубинец, с твердостью и страстным желанием тем или иным способом вопрошающий Тень, так или иначе столкнется с фантастической толпой мужчин, женщин и детей – милых, голых, беззащитных, – которые всем скопом были ввергнуты в смерть в течение нескольких лет. Спиритисты, более или менее верно следующие за Кардеком, и другие, которые не следуют ни за кем, а также жрецы вуду, колдуны, и христиане (более ортодоксальные или более свободные), и прихожане Великой Смешанной Церкви, и дети кота и ласки, законнорожденные или приблудные, и даже атеисты, страдающие бессонницей и глядящие в тропическую ночь, – все, абсолютно все сталкиваются (мы сталкиваемся, это неизбежно) с нашими индейцами. Они летали и летают над Островом без обиды и досады, как свинцовая туча: поутру собираются в поле, в долинах и принимают вид покрывала или тумана или появляются по вечерам над городом наподобие горячих испарений или как слабое дуновение голосов, а посреди ночи они концентрируются, скопляются и структуризуются в объемистые тюки эктоплазмы. Они там, они были там во все времена, утверждал Профессор в своей брошюре, но они не проявляются ни на одной «психической фотографии», что только подтверждает печальную судьбу этого народа.

«Мариньо рассказывает, как пытались сфотографировать Страдальца где-то в семьдесят первом или семьдесят втором году, – говорил я Фредди. – Наняли одного специалиста из Мансанильо, он пришел с

японской камерой «Никон», которая никогда не подводит, – и ничего. Маникюрша выходила на фотках одна, очень сосредоточенная, но одна: индеец не позволял себя фотографировать». Это говорил я Фредди и добавлял, что «туземная одержимость» Чаро, Профессора и всего Кружка «не есть чистое стремление к духовному прогрессу, но это уникальная возможность внести вклад в историю спиритизма. Ты представляешь себе значение, которое обрел бы Кружок, если бы, к примеру, смог представить Страдальца Сибонея на каком-нибудь международном конгрессе? Очень развитой индеец, который приходит из Былого не в поисках Продвижения, а наоборот, преследует противоположную цель, и приносит Свет и Прогресс в наш мир, и не проявляет себя хлопаньем дверьми и прочими глупостями, воплями апачей и перьями. Ничего в этом роде, он приходит с определенной философской темой, с импульсом, с настоящим посланием, на уровне лучших из тех, кого нам посылали Оттуда. Вот в этом и заключается теоретическая революция, – говорил я ему, – подлинный вклад, тогда Кружок был бы поднят в Зал Славы как ведущая спиритическая группа, а Страдалец, конечно же, как передовой индеец, причем – внимание! – не из какого-нибудь отряда примитивных лазутчиков, но из настоящего интеллектуального авангарда, бок о бок с душами Сократа и Марка Аврелия Великого. И знаешь, какая еще проблема должна их сильно тревожить, этих кардесистов? Кошмарная возможность того, что Нена свяжется со Страдальцем в Майами и все заслуги достанутся ей, предательнице, и горстке Спиритистов Марианао в изгнании или чему-нибудь наподобие того».

Но во Фредди чересчур часто прорастало Плохое Семя, тупой *расовый* вариант Продвижения. Он отставил тему Страдальца Сибонея (индейца, несу-

щего Свет), чтобы развить другой постулат: мулатам с Гладкими Волосами и тонкими чертами лица нравится считать себя индианизированными, они предпочитают вести свой род от индейцев, чтобы удалиться от негритянского наследия. Конечно, и таким образом можно продвинуться, но для этого надо совершить прыжок назад в хронологии Острова и поместить себя в поток истории еще до прибытия африканских рабов. «Если кубинских индейцев не истребят, если они выживут, – сказал я ему, – то с ними выживет и расовость, направленная против них».

Чупачупс потянул себя за нос, сложил губы в трубочку и спрятал их, чтобы его большой рот, созданный для больших и малых сосаний, уменьшился и сделался на миг доколумбовым. «Притавляю тибе Страдайца Сибонея», – проговорил он, придуриваясь, и мы оба рассмеялись. И в этом кубинском смехе растворились все теории, потому что это не какой-нибудь там смех, это взрывной смех, грубый, который затем вскрывается более мягко, нежно, избыточно, как гигантская анемона в Карибском море, и охватывает нас всех – горбоносых и с приплюснутыми носами, индейцев, черных, белых, желтых и разноцветных, метисов, мулатизированных китайцев и негров – обеленных, китаизированных или индианизированных, белых курчавых или негров гладковолосых, губастых или тонкогубых, смуглых, альбиносов или квартеронов, – всех а-ля Летающий Кот в его разнообразных проявлениях.

14 В ПАРКЕ ЛУСЕВАН

О, Господи, не мог бы ты купить мне «Мерседес-Бенц»?
Не мог бы купить мне цветной телевизор?

Дженис Джоплин.
О, Господи…

Не могу видеть своего отражения в воде;
Ничего не могу сказать, в чем не было бы боли;
Я не слышу отзвука своих шагов;
Не помню звука собственного имени.

Боб Дилан.
Завтра – понятие растяжимое

Биографии Марка Аврелия Эскобедо, нашего, Малого, и Годофредо Лаферте, то есть вечного Фредди Чупачупса, вновь пересеклись в самый нужный момент. Судьба криками требовала от них пуститься в этот неотложный спринт, толкала в спину, чтобы они прибыли вовремя, чтобы попали в нужную точку сейчас, а не чуть позже, или через десять лет, или тогда, когда в этом уже не будет никакого смысла, или когда в этом будет неверный, не подлинный, другой смысл, если что-либо вообще имеет смысл.

Марк Аврелий Малый, сломленный, в депрессии,

одинокий и бездомный, без большего маяка в пути, чем подержанный, растрепанный экземпляр «Размышлений» его знаменитого тезки, вспоминал Предсказание своего врача, Знаменитости детских лет, и понимал, что оно было лживым и надуманным, как предсказания ведьм из «Макбета», и что «множества девушек» у него никогда не было, как и обещанного счастья. Он чувствовал себя, что называется, на краю пропасти – вот-вот должно было произойти то, что Записано в каком-то месте: что он, Малый, встретится с одним из самых старых свои друзей – с Чупачупсом, который будет переживать очень опасный период своей жизни, период изнуряющей полноты Взлета, изобилия и света. А Чупачупс в свою очередь будет нуждаться в Марке Аврелии, чтобы спастись от самого себя и от своих успехов, чтобы его Взлет не ослепил и не погубил его. Так произошло это чудо, их параллельные жизни пересеклись, и их Разумные Души взаимно оплодотворились.

Малый заканчивал свои отношения с Тамарой, шел к Разводу в полном смысле, к настоящему и бесповоротному. Прошло уже четыре или пять лет после первой попытки, известной как Первый Разрыв, за коим последовало ненужное примирение и трудоемкий, напряженный процесс, когда Марк Аврелий употребил все свои силы, все запасы терпения, всю способность к убеждению, свойственную стоикам, чтобы восстановить супружество «на новых основах», как выражался бедняжка. Это были напрасные траты: не существовало новых основ, поскольку Тамара оставалась прежней, и она продолжала бы быть самою собой до последнего своего дня на Земле. Для нее Ложная Жизнь, посредственность и одержимость Вещами не являлись подпорками или аксессуарами, которые можно заменить: Фальшь присутствовала в

Тамаре на клеточном уровне, составляя часть ее тканей, трех ее основ, самой структуры ее Личности. Конечно, Теща уже не жила с ними, но ее дух сопровождал их каждую минуту, и ее разъедающее влияние было заметно в каждом поступке, в каждом слове Тамары и даже Ребенка.

Марк Аврелий как следует подготовился к Решающему Разговору. Он не хотел ни ранить Тамару, ни лгать, ни создавать неясных ситуаций, которые сделали бы разрыв еще более сложным. В особенности он хотел, чтобы Ребенок пострадал как можно меньше. Он задумал подвести к теме, начав с общих размышлений по поводу брака: каким ежедневным испытанием для супругов он является, как он строится на терпимости, на взаимных уступках, на сожительстве физическом, моральном и духовном в особенности, насколько редко это получается хорошо, и если брак терпит поражение, то с какой ответственностью и зрелостью надо поступать, особенно при наличии детей. Тамара, конечно же, разрушила план Решительного Разговора, как только он начал разворачиваться. Введение застряло на половине, открылись шлюзы досад и обид, и Марк Аврелий остался в стороне, позволив изливаться этому потоку желчи. Тамара несла невероятную чушь более полутора часов, пока он укладывал свои пожитки в пару картонных коробок. Это был раздел имущества поспешный и кое в чем неравный; но Малый не спорил о Вещах преходящих и ничего не значащих, он предпочитал уходить с пустыми руками. Таков был урок, оставленный его покойным отцом, а также Поляком, Великим и Эпиктетом – всеми, кто работал во имя отдаления человека от Ложной Жизни и ее миражей.

Тамара оставалась с Ребенком, квартирой, мебелью, японским двухкассетником «Кроун», китайским трехскоростным вентилятором «Ватсон», советским

холодильником «Снайге», стиральной машиной «Аурика», тоже советской, и советско-кубинским телевизором «Карибе». Малый, в свою очередь, мог забрать китайский велосипед «Феникс», который ему только что продали на Предприятии, русский вентилятор «Орбита-5», собственноручно приобретенный в семьдесят восьмом на командировочные рубли в московском ГУМе, кассеты «Битлз», Дилана и Дженис Джоплин, свои постеры (два с анонсами кубинских фильмов и один с портретом Че), шахматы, свои десять или двенадцать книг, одежду и обувь, резиновые вьетнамки, и ничего более.

Единственным предметом, который ему было жаль терять, был его магнитофон «Кроун», несмотря на многолетний возраст и недуги, замечавшиеся в нем. Тамара бесцеремонно заграбастала его (сказала «для Ребенка»), а он тут же сдался, как тому и положено быть. Он много размышлял, и ему нравилось говорить об этом с отцом, что магнитофон существует для прослушивания музыки, не всякой музыки, а именно твоей, которую ты предпочитаешь и выбираешь навсегда, он не должен восприниматься как часть Ложной Жизни: музыка обращается ко всему самому чистому в человеке, это часть не Животной, а Разумной Души, которая смеется и радуется, слушая ее. Он позволял себе в этом случае не соглашаться со своим знаменитым тезкой, другим Марком Аврелием, Великим, который разлагал на отдельные звуки самые прекрасные мелодии, чтобы открыть нам тщету этого искусства и внутреннюю пустоту его приверженцев. Музыка, считал Малый, входит в круг Подлинной Жизни; метод Великого, столь часто использовавшийся Серафином Эскобедо в Пятидесятилетней войне, действовал в отношении Вещей материального мира, но не для этого невещественного потока, который без посредников воздействует на дух человека и поддерживает его в устремлениях к Подъему и в

отвержении Ложного. Хотя, по правде говоря, нам незачем продолжать это расследование: как всегда, Тамарой было сказано последнее слово. «Если хочешь слушать музыку, – сказала она, – найди доллары и купи аппарат». Именно так: музыка, доллары и «аппарат».

Однако сейчас перед ним, перед Малым, вставала проблема бесконечно более значительная, чем утрата магнитофона и музыки, она поражала Подлинную Жизнь значительно существенней: у него не было крыши над головой, чтобы спрятаться от непогоды, поспать или предаться бессоннице, или повторить какую-нибудь партеечку Ларсена, или перечитать «Размышления» Великого, или «Братьев Карамазовых», или любую другую из его книг. Люди, озабоченные устроением для себя дома блистательного, избыточного, с пространством значительно большим, чем это необходимо, решительно ориентируются на Ложное, это понятно. Но как построить себе Истинную Жизнь, достойную этого наименования, если отсутствует хотя бы пещерка, в которой разместились бы Тело и Животная Душа, не для удобства, а хотя бы для минимального устроения, чтобы Разумная Душа росла и возвышалась в чтении или в свободном философствовании? Диоген, это точно, избрал себе экстремальный вариант с его бочкой; но Марк Аврелий не доверял Диогену и киникам-эксгибиционистам, он видел в них определенную позу, желание обратить на себя внимание, что по существу относилось и относится к сфере Ложного. В дом на Буэн-Ретиро он не мог вернуться: там его не ждали и, кроме того, он был переполнен. Так называемая Комната Прислуги (или Полкомнаты), в которой Марк Аврелий разместился во время первого разделения, была захвачена двумя старшими племянниками, которые слушали хеви-метал, постоянно мастурбировали и доставали неведо-

мо откуда жвачку, сигареты «Мальборо» и заграничные журналы. Они жевали, курили и вырезали фотки из журналов (машины, женщины, реклама), и приклеивали их на стенах рядом с афишами «Guns N'Roses» и «Metallica». Его брат, тоже разведенный, спал теперь на диване в зале, а в оставшееся время приударял за сорокалетней женщиной приличного вида, имевшей дом, да, дом на Коронеле с двориком и садом. Сестра, шурин и два или три племянника ссорились, любились и с неистовством насекомых размножались в одной из комнат (в полном смысле этого слова), а мать, в оставшейся комнате, в полутьме и тишине считала доллары, присылаемые родственниками из Майами, и с крайней скрупулезностью рассчитывала, как их потратить.

Вслед за смертью Серафина Эскобедо и завершением (в связи с оставлением поля битвы) Пятидесятилетней войны, набрали силу другие, региональные войнушки, которые не стоило недооценивать: с одной стороны, шла непрестанная ссора из-за долларов в новой принципиальной схватке, в которой противостояли скаредность (по словам дочери) и транжирство (по словам матери). А с другой стороны, начинала разворачиваться необъявленная война маневров, в которой сестра, деверь и племянники захватывали мало-помалу территории на кухне, на террасе, даже в зале, и уже использовали колыбельку самого маленького внучка в качестве передового поста (пока что без успеха) в комнате матери. Малому было совершенно невозможно отступать в дом на Буэн-Ретиро, в этот предательский тыл, битком набитый врагами.

К кому обратиться? Годами ранее, ему, Малому, Марку Аврелию Эскобедо, Предприятие и трудовой коллектив выделили квартиру, принимая во внимание его трудности: да, потому что он был жестоко унижаемым приживалой у тещи и тестя и, кроме того, за его

достоинства как юридического консультанта, самого точного и плодотворного из всех, кто был на памяти. Если еще раз обратиться на Предприятие, что он мог добавить – что ему нужна другая квартира, поскольку свою он оставил Тамаре и Ребенку? Директор, профсоюз, трудовой коллектив и каждый из его членов указали бы ему только один путь: разменяй на две. А кто сможет разменять на две квартирку из полутора комнат, построенную хозспособом аж на самой Ла-Лисе? Тамара скажет: «Найди доллары и отнеси в обменное бюро». Вот так вот: доллары, аппаратура, обмен.

Думы Малого мрачнели все более. Он сидел на скамейке в Парке Лусеван, вечером, напротив 51-й авениды в Марианао, и его велосипед «Феникс» (китайского производства) был прислонен к ближайшему дереву, а две его коробки с вещами были на скорую руку привязаны к багажнику. На тонких губах Марка Аврелия гуляло некое подобие легкой улыбки, его высокий лоб увлажняли капельки пота: единственный признак печали, который позволяют себе стоики.

Как три поросенка из сказки, он внимательно прислушивался теперь к дыханию волка, который наполнял легкие воздухом. Он слышал ужасающий хрип зверя, готового уже подуть и пустить по ветру все его бедные заслоны.

И тогда появился, как Супермен из кино, Фредди Чупачупс. Мощный клаксон прервал раздумья Марка Аврелия, трубный глас автомобильного сигнала и носовой голос, удивительно родной, выкрикнувший его имя раз, и два, и три. Неудачный глаз проследил за полетом стайки испуганных воробьев, а хороший глаз увидел автомобиль «Ниссан», стопроцентно японский, который въезжал на стоянку рядом с Парком Лусеван, увидел внутри него человека и увидел,

как водитель, то бишь Чупачупс, выходил из машины, и шел к нему с радостными и приветливыми жестами, и обнимал его, Малого, и хлопал по спине, и производил полный допрос, не переставая похлопывать его по плечу, а себя по коленкам.

Марк Аврелий рассказал о своих несчастьях в нейтральном тоне, без надрыва и сентиментальности, как специалист из ЮНЕСКО; тем не менее, его друг тут же ощутил глубину колодца, из которого всплывали на поверхность легкая стоическая усмешка и ровный голос, не дрожавший только благодаря усилию воли.

«Ты переезжаешь ко мне, – неожиданно воскликнул Чупачупс. – И никаких разговоров, ты переезжаешь в мой дом», – сказал он, вновь хлопнув Малого по плечу, а тот был смущен предложением, еще больше косил, и слабо вопрошал, хватит ли места. Чупачупс уверил, что места в его доме чересчур много, что он здесь, рядышком, на Плайя, угол 62-й и 19-й, очень милый и спокойный район, и «моей супруге идея очень понравится», прибавил он. Чупачупс рассказал, что его жена «тоже училась в Колледже и помнит о тебе, точно помнит, раз уж мы каждую минуту говорим с ней о том баскетбольном матче с Ведадо. Тебе не снится по ночам, что Тамакун сваливается тебе на голову как двухметровый Франкенштейн?» И Марк Аврелий, хотя и оставался печальным в самом податливом и чувствительном уголке своей Разумной Души, засмеялся, показывая все свои зубы, как не смеются стоики ни при каких обстоятельствах. Чупачупс составил ему компанию, и они, смеясь как два мальчишки, открыли багажник «Ниссана» и уложили туда велосипед «Феникс» и две картонные коробки.

Вот и снова проявился Кубинский Смех (не усмешка, не ржачка, а смех) со всей его заразительностью. В нем не только смешиваются расы и цвета людей, их верования, Упадок и Прогресс; в его желе

растворяются стоики и хитрецы, рабы Ложного и те, кто следует Доктрине Отказа, закоренелые гедонисты и те, кто пьет сильно разбавленный ром, сосальщики, умелые в деле сосания фруктов и тел, и те, кто не умеет сосать, те, кто читал «Братьев Карамазовых» и разделяют веру Алеши и сомнения Ивана, и те, что живут, равно удаленные от сомнений и от веры, и приближаются не к Дмитрию, заполненному любовью, водкой и страстями, а скорее к старику Карамазову. Именно поэтому некоторые теоретики с подозрением взирают на Кубинский Смех и считают его «морально опасным», они отвергают существование среди нас большого анемона Карибского моря, они хотели бы погрузить его в ракушку и снабдить иглами морского ежа и так называемыми защитными атрибутами: панцирем, зубами, чешуей, вплоть до кальмаровых чернил, чтобы насколько можно «усовершенствовать» его и, по их словам, «увеличить возможности его распознавания».

Возможно, здесь надо бы оставить теорию, сделать паузу и предложить другой барельеф, еще один римский фриз, но очень бесхитростный, спокойный, без чрезмерных претензий, на котором появляется тощая фигура Марка Аврелия Малого, пытающегося устроить велосипед в машине, и Чупачупса рядом с ним, уже очень толстого, помогающего ему с коробками. Обе каменные фигуры смеются, и этот каменный смех, однако, очень хорошо заметен, виден, как вспышка на каменных лицах, на лицах помолодевших, почти подростковых, и это смех, которого не увидишь на Колонне Траяна, ни на Колонне Марка Аврелия Великого, ни на саркофагах патрициев и генералов, ни даже на пантеоне К. Гатериуса Тичикуса или других разбогатевших плебеев. Так что этот фриз, фриз Парка Лусеван, должны будут тщательнейшим образом исследовать археологи и все, кто

попытается восстановить эволюцию человеческого существа, ускоряющуюся по причине этого смеха, столь жизненного, столь открытого, в котором в течение нескольких секунд растворяются и сплавляются Ложное и Настоящее.

Когда велосипед и коробки были уже в «Ниссане», Фредди объявил, что должен дозвониться до Амарилис, жены, чтобы она приготовила что-нибудь поесть. «Давай сделаем звоночек», – сказал он, и Марк Аврелий не понял и стал искать взглядом (и плохого и здорового глаза), возможно ли двойное чудо: первое, найти телефонную будку в Парке Лусеван или на тротуаре напротив, или на углу у аптеки, и второе, что в этой будке будет телефон, причем работающий. Но Чупачупс своими глазками (оба нормальные и искрящиеся) не искал никакого чуда: облокотившись на машину, он держал в левой руке сотовый телефон, а указательным пальцем правой руки изящно нажимал на кнопки.

Светлая улыбка лучших дней Колледжа, Кубинский Смех в самом юном его варианте исчезли с круглого рта, и сейчас он улыбался в глубины вечера Марианао, гордый самим собой, телефоном, автомобилем, своей просторной рубашкой лимонно-желтого цвета, всем своим видом, недостаточно освещенным (какая жалость) тусклым фонарем.

Малый понял, что «звоночек» был предназначен не для Амарилис, а для него, Марка Аврелия, он был послан не только ему, но и негритятам, игравшим в пелоту в Парке Лусеван (которые прервали игру), неграм, белокожим и мулатам, детям и взрослым, всем прохожим и всему району.

«Фредди, – сказал тогда стоик неожиданно твердым, даже металлическим голосом. – Я не хочу обидеть тебя, ты дал мне доказательство дружбы, которого я никогда не забуду, клянусь. Но будет лучше, если

я не поеду к тебе», – сказал он, и наступила пауза. И Чупачупс оторвался от машины, и начал тревожно спрашивать «почему, почему?», и вперял свои детские глазки в глаза Малого, которые избегали встречи (и хороший, и плохой) с глазами друга. «Я страдаю бессонницей, – объяснил Марк Аврелий, – и ночью встаю по двадцать раз». Чупачупс обнял его за плечи своими удлиненными и женственными руками: «Но ведь у тебя будет своя собственная комната, говнюк; если захочешь, вставай тысячу раз, две тысячи, и читай, и играй сам с собой в шахматы, или дрочись, или что тебе придет в голову». Казалось, он был готов заплакать (лицо все более и более детское, всхлип на полных губах) и почти умолял. «Черт, братишка, – продолжал он, – я только что поговорил с Амарилис, знал бы ты, как она рада, сейчас она немножко приберет в комнате, она прямо сейчас собиралась это сделать, клянусь матерью», – сказал он, и Марк Аврелий напряг свой правый глаз, и выровнял его с левым, и посмотрел на своего друга по Колледжу в упор. «Хорошо, поедем, Фредди, – сказал он очень серьезно, – но только на несколько дней, не больше, пока я не найду другого места, так пойдет?» И Чупачупс согласился, и опять заулыбался (лицо у него мгновенно преобразилось), и с поклоном открыл дверцу машины: «Ты увидишь, как удобно тебе будет, как тебе понравится у меня, а потом, чтобы выставить тебя, мне еще придется давать тебе пинка, вот увидишь, в моем доме всего полно», – сказал он, и Малый вспомнил о своей матери, как она произносила это «всего».

15 АМАРИЛИС

Позднее, много лет спустя после той исторической встречи в Парке Лусеван, Марк Аврелий признался мне, что первый взгляд на жену Фредди немного разочаровал его. Он скажет «первый взгляд», потому что, хотя он и должен был видеть эту девушку в Колледже, он не запомнил ее. В памяти сохранился лишь след присутствия Амарилис (молчаливой, бледной) среди других девчонок из Марианао, визжавших на трибунах во время баскетбольного матча, который принес нам победу. Она была, между прочим, одной из тех «подстреленных» подвигом Фредди девиц, одной из «объяснившихся» ему, как тогда говорили. Единственная страшненькая и непомерно худая, единственная отвергнутая, так и не побывавшая в сумраке кинотеатра «Амбассадор» с героем дня, с победителем Тамакуна.

Чупачупс усадил Малого в изукрашенной гостиной, дал ему стакан «Старого рома» и запустил поток своего гугнявого голоса в самые дальние глубины дома: «Амарилис, крошка, мы уже здесь». Жена просунула голову сквозь джунгли макраме, колокольчиков, вьющихся растений и амулетов, напоминавших афро-кубинские, и Марк Аврелий увидел ее огромные светлые глаза, смотревшиеся чрезмерными на бледном и худощавом лице. Когда она подошла к нему, чтобы поприветствовать и поцеловать в щеку, он отметил, что это была женщина хрупкая, почти

истощенная, и «проглаженная», да, дважды проглаженная, без Кормы и Форштевня. Он тут же спросил себя, каким образом необычайная чувственность Чупачупса смогла найти удовлетворение в этой женской особи, столь бесплотной и неприкрашенной. Было и другое несовпадение, более видимое: Фредди был мужчина экспансивный, без труда выплескивавшийся наружу, на сцену, к лучам света, а его жена, напротив, выглядела скромной, молчаливой, словно ящерица, которая предпочитает откладывать яйца в дальних кустах дворика.

Когда Фредди с такой гордостью, так убедительно говорил ему о *своей супруге,* Марк Аврелий (руководимый, скорее всего, неизбежными в таких случаях стереотипами) представлял себе цветущую женщину, возможно мулатку, прямую наследницу Очун, танцевавшую днем и ночью в бесконечных представлениях для туристов. Но такой образ был для него нарушением материнского закона Продвижения: сыну Чаро для *продвижения* была необходима белая-белая женщина, и именно Амариллис, даже более чем желалось, соответствовала этому требованию.

В доме, где «всего хватало» (Фредди не преувеличивал), где Вещи агрессивно навязывали свой вес и свое значение, бледность и хрупкость Амарилис делали ее почти призрачной. Она двигалась посреди Вещей как легкая тень, как призрак ребенка, материальный мир не трогал ее, и именно это делало ее привлекательной в глазах стоика.

Если кто-либо взялся рассматривать ее детально, он неожиданно обнаружил бы в Амарилис некоторые таинственные свойства: она носила шорты и что-то похожее на футболку, настолько пригнанные к ее тельцу, словно она хотела с откровенностью и даже горечью обратить внимание на реальные контуры своей плоти. Одевалась она в стиле, несовместимом с

тем, что был принят ее мужем еще со времен Колледжа. Когда Анхелито Китайчонок, и я, и Ринго Нежный, и все, кто хотел быть на гребне волны, безнадежно старались обузить брюки, Чупачупс оставался верен моде «распущенная тога», которой следовал Юлий Цезарь в молодости и которая навлекла на него уйму критических замечаний и колкостей. Чупачупсу, как и Юлию Цезарю, было необходимо пространство, чтобы его телесное строение беспрестанно утверждалось – то в боевой мощи «колено-кольцо», то в тонкости овала «руки-кисти-пальцы-мяч-соловей».

Хотя многосоставный Чупачупс на баскетбольном матче «подстрелил» ее, Амарилис изо дня в день отвергала всем своим обликом любое притворство, любую лживость или двусмысленность. Она бросала вызов всему миру своим анатомическим строением: столь тощим, сколь и неоспоримым. Поникшие ягодицы, неощутимые груди и угловатый рисунок ее плеч и бедер – это были экспонаты, которые она предъявляла миру со всей честностью: она желала, чтобы ее воспринимали без украшательств, без лжи и утайки. Марк Аврелий Малый, принципиально далекий от всякой моды, будь она узкой или широкой, понял это стремление Амарилис, и вскоре ему открылась в ней крылатость, исходившая не от богини Очун, не из карибской смешанности рас и ни в коем случае не из арабской Испании или из Средиземноморья. Это было некое волнение – нестройное, неупорядоченное, – чувственность, которая не предлагалась в округлых формах, страстность, принесенная, возможно, каким-то неведомым эмигрантом из самого сурового, странного и иссушенного уголка Старой Кастильи.

Это была дикая страсть к Продвижению, выходившая за пределы естества. Она привлекла Чупачупса к Амарилис, и Малый был ему искренне благодарен за

это, потому что иначе он никогда бы не встретился с такой женщиной. Он не смог бы восстановить себя без ее звучания, без ее уникального очарования, столь чуждого всему Ложному, столь близкого (хотя она сама и не могла себе это представить) к Центру Подлинной Жизни.

16 СУББОТЫ

Кот начал изрыгать огонь изо рта, спрашивая, почему его не повезли на праздник...

Хосе Лесама Лима.
Завтра суббота

В доме Чупачупса каждую субботу с шести вечера устраивался праздник. Приходило много народу, все ели, пили и даже танцевали немного: зарубежные компаньоны Фирмы, на которой работал Чупачупс, и кубинские сотрудники, которые везде носили с собой сотовые телефоны и выкладывали их на барную стойку, прежде чем налить себе двойное или тройное виски. Были и товарищи без должностей и мобильников, всегдашние, товарищи детства Чупачупса, приезжавшие из Поголотти и из самых невообразимых районов города. Были жены кубинских сотрудников и простых приятелей, и девушки, сопровождавшие иностранцев, и разведенные подруги Амарилис, и соседи по нынешнему кварталу, как положено приглашенные, а с ними вместе – то один, то другой из тех, кого в то время называли «приклеившиеся», и сотрудники безопасности, и неопределимое количество шоферов.

Когда вечеринка была в разгаре, между восемью и десятью, можно было различить среди собравшихся несколько групп. Предпринимательская, то есть груп-

па Высшего уровня, объединяла деловых людей всех национальностей, представленных в тот вечер, и располагалась она в одном углу залы. Ее участники, развалившись в роскошных креслах, говорили о проектах и перспективах, о маркетинге и ноу-хау, и чересчур громко рассказывали друг другу анекдоты, и пили много виски, хотя, по правде говоря, не закусывали достаточно. Группа Доминошников, тоже мужского состава, но очень демократичная и открытая, всегда располагалась у входа и состояла из самых старых товарищей Чупачупса, настоящих друзей. В эту группу входили и другие, которые еще не стали товарищами, но хотели ими быть, добрые, приятные парни из числа живущих по соседству, с включением шоферов и некоторых охранников. Этот состав можно было назвать Группой любителей хорошо поесть, но и хорошо выпить тоже, особенно «Старого рома» и «Золотой карты», это для начала, а потом и всего, что осталось. Музыкальная тусовка, попивавшая пиво, толпилась в самом дальнем конце залы вокруг проигрывателя компакт-дисков. В этой группе подозрительно смешивались представители мужского и женского пола, и оттуда распространялась какая-то волна, некий свинг. Туда тянуло молодых шоферов, девушек из сопровождения, разных кубинских предпринимателей, которым уже осточертел язык коммерции и даже пикантные анекдоты, но которые жаждали высшего языка музыки, способного сказать что-то (если признать верным тезис Малого) Разумной Душе. И наконец, Телевизионная группа, в которую входили, как и в Музыкальную, представители того и другого пола, хотя и (стоит заметить) с меньшей склонностью к смешиванию. В этом плане она была скорее воздержанной, но зато способной разнести в клочья самый солидный шведский стол. Там не упускали возможности посмотреть сериал или просто кино,

поэтому собирались в столовой прямо между выставленными лакомствами и телевизионным экраном. Это была очень разнородная группа, состоявшая из ухоженных и прекрасно одетых жен кубинских предпринимателей, менее нарядных жен игроков в домино и разведенных подруг Амарилис, ничем не блиставших и очень подурневших из-за хода Времени, от неумолимых шагов Кроноса. Туда входило большинство работников Службы Обеспечения (стукачи, кладовщики и «оперативные сотрудники» Фирмы), а также кое-кто из проигравших в домино – хмурые, кислые, они пытались безжалостно нажраться, чтобы отомстить за свою неудачу.

С началом вечера Чупачупс в роли доброго хозяина приветствовал всех своих разномастных гостей, останавливался то там, то сям, спрашивая у спецприглашенных, достаточно ли у них еды и питья, у своих обычных и постоянных посетителей осведомлялся о том же, но с меньшей заинтересованностью, иногда он присоединялся к болельщикам домино и шутил, или комментировал очередной ход. Естественно, он посвящал больше времени Группе Высшего Уровня и (в строго определенное время) устраивался между иностранными и кубинскими товарищами и обогащал предпринимательские разговоры своим талантом и острым словцом – и уже не возвращался ни на веранду, ни в столовую, ни на площадку Музыкальной группы, и никто не обижался на него за это, и каждый считал его замечательным и гостеприимным хозяином, хотя и со значительными ограничениями и оговорками.

Поведение Амарилис было менее понятным: она не предпринимала никакого рода обходов гостей, не интересовалась делами Такого-то или Сякого-то и ей было все равно, наполнены ли стаканы ее гостей или пусты. Частенько она присоединялась к Группе

Телезрителей (на стульчике, в глубине, среди прочих приверженцев) и шепталась с одной из своих разведенных подруг, или садилась в уголке одна-одинешенька, или выходила на террасу и вдыхала свежий ночной воздух.

Чупачупсу хотелось бы познакомить своих субботних гостей с Марком Аврелием, он готов был представить его, особенно своим зарубежным приятелям, но каждый раз получал от друга крутой и стоический отказ. Малого удивляло новое звучание, которое получил термин «приятель», когда Чупачупс использовал его в отношении делового мира: он делался картонным и терял свою теплоту и мягкость, доверительность и простоту. Казалось, это слово вылетало изо рта Чупачупса как частица чего-то чуждого, несвойственного ему.

Помещение, которое занимал Марк Аврелий, значилось как Комната с Видео, потому что долгое время она использовалась семьей и близкими для просмотра фильмов. Несмотря на то что комната была наверху и выходила на задний двор и не была чересчур подвержена праздничному шуму, Малый по субботам предпринимал экстренные меры: закрывал двери и окна, и включал советский вентилятор «Орбита-5» (он принципиально отказывался использовать кондиционер), и перечитывал одну из своих книг или проходил какую-нибудь из старых шахматных партий (Ласкер – Капабланка, Алехин – Капабланка, и Ларсен, его обожаемый Ларсен, против Штейна, Дормера, Корчного). Несмотря на предосторожности, его уши воспринимали сигналы, приходившие от различных групп: погромыхивание костей домино, перемешиваемых на столе, там, в дальней стороне; от самой веселой группы, Музыкальной, исходили лучи танцевальной, «фольклорной», «коммерческой» музыки и нескольких модных, сладких баллад. Значительно реже звучали

«Брызги шампанского» или другого какого неувядающего хита из программы «*Ноктурно*», по заявке ностальгирующего кубинского предпринимателя. От оставшихся двух групп можно было услышать мало, почти ничего: короткий взрывной хохоток от Управленцев по поводу чуть более пикантного, чем обычно, анекдота, или реакцию Телевизионной аудитории (одобрение, удивление, восторг) по поводу неожиданного поворота событий в сериале.

Малый никогда не забудет свою первую субботу в Комнате с Видео: кто-то легонько постучал в дверь и появилась Амарилис, принесшая блюдо с поджаренными ломтиками банана, куриными котлетками, воздушной кукурузой и хрустящими шкварками. Был принесен также и ром, разбавленный водой, ведь только так его и пьют стоики. С этого дня она приходила каждый раз во время субботних приемов, а иногда поднималась к нему неоднократно с каким-нибудь вопросом и с угощением. Она садилась на стул и ничего не говорила, созерцая своими безмерными и светлыми глазами скомканную постель, книги, шахматную доску, скрипящий вентилятор и избегая смотреть на него самого, на Марка Аврелия, и вдруг спрашивала, как ходит конь или офицер, и верно ли, что пешка, обреченная на безвестность, может превратиться в королеву игры, и как записывались ходы Капабланки, и трудно ли научиться играть в шахматы и заучить эти значки, чтобы восстановить то, что тысячу лет назад на другой доске творили Капабланка и Ласкер.

Эти посещения и знаки внимания Амарилис, ее молчание и ее вопросы, и сокровенность, рождавшаяся между ними в бывшей Комнате с Видео, вызывали у Марка Аврелия жаркое и сладкое чувство, бурлившее в груди, вызывавшее подрагивание плохого глаза и состояние лихорадочное и скандально приятное, состояние, близкое к наслаждению и производившее

ощущение Вины. Он воплощал теперь образ лживого затворника, он, Марк Аврелий Малый, тот, что унаследовал от Великого имя и учение, сын Серафина Эскобедо, духовный сын Поляка, – не кто иной, как он, обретал сущность Тартюфа, притворщика, с пафосом отрицающего похоть и тщету, чтобы в одиночку, в своей пещерке, упиваться земными наслаждениями. Но самым отвратительным, самым болезненным, самым бесстыдным было не это. Он с каждым днем все яснее чувствовал, что между ним и Амарилис начинается другая игра – не в шахматы, не в домино, а во что-то низкое и подлое: в предательство друга.

Малый мучился и подумывал об уходе, о том, чтобы снова привязать свои коробки к багажнику велосипеда «Феникс» и сбежать из этого проклятого дома, от этой чудесной женщины, но раз за разом откладывал.

Мысль не видеть Амарилис, ее движений, не слышать ее шагов, ее голоса была для него ужасной. А ведь он вышел из развода таким слабым, что требовалось время (два-три месяца, не более, говорил он себе), чтобы решиться на самоотвержение такого масштаба и предпринять побег. А пока что он распаковал только самые необходимые вещи. Его кассеты и большинство книжек оставались в коробках, его плакаты (два с анонсами фильмов и один с Че), бывшие с ним все годы, когда он был Приживалой, и потом, когда утверждался в роли главы семейства, были тщательно свернуты в рулон и спрятаны. Он хотел бы убедить всех (и прежде всего, самого себя), что находится здесь случайно, вне его привычного образа жизни, как перелетная птица, как раненый зверь, который убежит сразу же, как только восстановит силы. Но Малый мучился и вопрошал себя: он действительно вел себя как перелетная птица? Или как пресловутая рыба-прилипала?

Чупачупс тоже поднимался к нему по субботам, но значительно позднее, за полночь. Избыток рома или виски был заметен по его мутным глазам и по плавности, которую обретали его движения, так что он казался бескостным, плазматическим, и он опускался на стул как бесформенный мешок. В одной руке он держал бутылку «Выдержанного семилетнего рома» или «Джонни Уолкера» (черный лэйбл) для угощения Марка Аврелия, а в другой – тарелку шкварок, и смеялся без повода, и в шутку докладывал другу, что на празднике все хорошо. «Все под контролем», – говорил он, но оставался ненадолго. Боялся, что его хватятся в Группе Предпринимателей или что его не будет при ключевом разговоре, или что он пропустит самый остроумный анекдот вечера. «Надо быть на высоте, приятель, – повторял он. – Будешь рыть копытом землю, с тобой будут иметь дело. Если отпустишь удила – останешься за бортом». Быть на высоте означало высшее достоинство и для папы Джамилет, хотя Марку Аврелию припоминалось, что тот симпатичный и живой мужчина употреблял это выражение не в самом лучшем смысле.

Однажды в субботу, в три утра (да, было три часа, в этом совпадали «Сейко» Фредди и «Полет» Малого) Чупачупс ввалился в Комнату с Видео. Он распрощался с последним из гостей и выглядел более пьяным, чем обычно: жевал окурок сигары жирными губами, но Марка Аврелия удивил его взгляд – отсутствующий, холодный.

Фредди (на удивление) не выказывал желания поговорить. Уставившись в пространство, он грыз окурок, не обращая внимания на то, что коричневая слюна стекала по одному его подбородку на второй. Через некоторое время он поднялся на ноги – распухший, увеличившийся в объеме на пять или шесть дюймов. Гладкие Волосы, так любимые Чаро, стали

красноватыми, вьющимися, словно африканская кровь отца бросилась ему в голову. «Они хотят меня кинуть, – сказал он, вперив взгляд в невидимого врага. – Но они ошибаются насчет Годофредо Лафертe». Так он сказал, и его Тело и обе Души вдруг сделались единой компактной массой, крепкой, почти грозной, словно все его существо слилось в одно небывалое колено. Он повернулся, чтобы уйти, но не ушел, а на мгновение оперся рукой о стену и потом вновь рухнул на стул.

«Я хотел бы сказать тебе кое-что, Марк Аврелий, тебе, моему брату, моему другу, моему дружбану на всю жизнь, – он успокаивался сейчас, смягчался. – Амарилис и я – мы очень тебе благодарны, правда, – сказал он, – мы просто счастливы, что ты здесь, честно, клянусь матерью, самым дорогим, что у меня есть. Мы рады, что ты с нами в этом доме, это твой дом, ты слышишь? – Так он сказал и прибавил: – Никогда не покидай нас, это твоя семья, и это твой дом».

17 КРАСАВИЦА В ДЕВЯНОСТЫХ

Я сменил бы все мои завтра
на только одно вчера.

Дженис Джоплин.
Я и Бобби Макги

Девяностые были трудными годами для всех на Острове, для самого Острова и в особенности для Лурдес, Красавицы из Колледжа в Марианао, той, что была Королевой на карнавале 64-го и эротическим мифом моего поколения. Все мы так или иначе изменились в девяностые, но никто – настолько и так быстро, как Лурдес.

Говорят, что Кронос не прикасался к ней в семидесятые и восьмидесятые, и она продолжала быть красивой, нетронутой и цветущей, в то время как Неумолимый сеял опустошение и гибель среди прочих разведенных подруг Амарилис, среди холостых и незамужних, мужчин и женщин, среди нас, кто в Колледже были еще мальчиками, он стирал с лица земли все и вся, и останавливался только перед дверью Лурдес, Красавицы Колледжа, и с осторожностью обходил ее, не оставляя ни сединки, ни морщинки из тех, что называют «куриными лапками».

Лурдес потеряла Эриберто в девяностых – и словно осталась без крова над головой, и вот тогда Кронос выполнил свою работу со сверхзвуковой скоростью и яростью, а затем пришло Преображение.

Первый из этих процессов (старение, ветшание) можно было понять, несмотря на его ожесточенность и темп, как нечто в определенной мере естественное, более или менее предвидимое. Второй – метаморфоза, располагается в зоне, о которой мы ничего не знаем и не можем знать.

Красавица обрела в девяностых годах надежную опору, возвышавшуюся как скала среди морских волн и среди стольких перемен и разрушений, – это была «подруга, каких сейчас не бывает, – говорила Лурдес, – товарищ в счастье и несчастье, из тех, что не бросают», – говорила она, и это относилось к Амарилис, ее подруге по Колледжу Марианао, которая осталась прежней, и открыла ей двери своего дома, и придала ей в нем особый статус, дала любовь, понимание, поддержку. Лурдес могла появляться в самое неподходящее время, пробираться сквозь занавесочки и макраме, заходить на кухню или даже в задний дворик, и включать музыку (ансамбль «Лос Матаморос» или что-нибудь еще из ностальгического), и залезать в холодильник, чтобы налить себе холодной водички или стакан сока или даже взять баночку тропи-колы, да-да, хотя она стоила в те времена сорок пять американских центов. Ее воспринимали «как свою», что она часто с гордостью повторяла.

Жила она одна, в квартирке на Буэна-Виста, и у нее было, по собственному признанию, «все время на свете», и она тратила большую часть этого времени, чтобы навещать «старых друзей», как она говорила, в первейшую очередь, конечно, Амарилис, и на то, чтобы говорить, говорить, говорить, говорить. Собеседник ей был совершенно не важен (Амарилис, Фредди или кто под рукой окажется), а вот тема не могла быть никакой другой, кроме Прошедшего, тех неповторимых дней в Колледже, когда не было старых и некрасивых, когда все мы считали себя вечными.

Разрушение постигло Тело Красавицы и ее здоровье: варикозная сетка покрыла колонны ее ног, ее преследовал артроз и ужасающий словесный понос, поражающий Разумную Душу и известный также как вербомания или таквилогия. Люди бежали от нее, некогда притягивавшей всех, на субботних вечеринках, где она перемещалась от группы к группе, исполняя обязанности заместителя радушного хозяина. Иногда она подсаживалась с Амарилис к Телевизионной группе и ее глагол несся потоком неостановимым, а зрители злились, и не раз «какой-нибудь стукач из Обеспечения безопасности», говорила она с возмущением, осмеливался издавать роковое «тише!» (наглец) явно в ее сторону, ее, Лурдес, которая была «своей в этом доме».

Позднее, после Преображения, создалась одна из этих смесей, которые раскрывают перед нами комбинаторный талант Сатаны: словоизвержение Лурдес осложнилось ядовитым мокрым кашлем, и она была объявлена персоной нонграта подавляющим большинством гостей (лишь Амарилис голосовала против). В ее отвержении к Телевизионной группе присоединились предприниматели из надушенного Высшего Уровня, танцующие из Музыкальной группы и, в довершение всего, демократичные и шумные игроки в домино.

Коллективная и вожделеющая память компании, бурлившей в Колледже под именем «мальчиков», хранила образ нимфы, девушки-богини: Красавицы в дни ее славы. Во скольких снах она являлась? Сколько бессонниц рождала? Сколько желаний, дрочки и несвоевременных эрекций подпитывала она? Сколько «мальчиков» погрузилось в подростковый эротизм (этот темный лабиринт) благодаря ей? Не думаю, что кто-нибудь из нас сможет забыть эти груди, твердые и напряженные, похожие на двух круглых кроликов, притаившихся под школьной блузкой, или совершенную округлость ее ног, или распущенные волосы –

летящие, нереальные (золотое облако), или ее, боже мой, бесконечную кожу – прерию, покрытую персиковым пушком, по которой мы, «мальчики», в своих фантазиях мчались галопом на одном из таких же белых коней, на которых скачут Парни из Фильмов. А Попа? Как забыть эту фантастическую Попу, которую мы представляли себе такой Африканской, и такой розовой? Попа Красавицы: пышная и жаркая перина, зовущая прикорнуть на ней, умереть, растворитъся в ее подземных соках; прекрасная могила, похожая на легкие травяные гробницы (непрестанная жизнь и смерть), в которых покоятся фракийские цари.

Говорят, что Красавица заняла достойную и отважную позицию и проявила великий дух сопротивления, когда разрушение предприняло наступление на ее Тело, применяя артиллерию, танки и десантные войска. Она окопалась, приготовила оружие и включилась в систему аэробики, диет, массажей и восковых ванн, которую создали остальные разведенные подруги Амарилис. Она бесконечно накрашивалась, но выглядела еще хуже и с такой штукатуркой напоминала облупленную ярмарочную куклу (она, Королева карнавала в 64-м году), она ухитрилась похудеть, и обнаружила на себе несколько метров лишней кожи, и подвергла себя этим операциям, которые называются эстетической хирургией, и вышла из больницы еще более ярмарочной, с изменившимися чертами лица, ставшего неподвижным, словно маска.

Все словоблудие, примененное поэтами против тщеславных, но симпатичных женщин, все, когда либо сказанное, чтобы напомнить нам о преходящей сути красоты, о том, что мы должны согласиться с бренностью и скоротечностью жизни – все это, все эти бесконечные слова и метафоры становились странным скопищем рухляди, дурных шуток перед тем, чем стала Красавица в девяностые годы.

Вся ее прежняя жизнь, ее *Love Story*, в которой она участвовала вместе с Эриберто, с Чудовищем, не так богата уроками и выводами, однако она содержит одно весьма полезное мелодраматическое ядро. Если бы к Сказке о нашей Красавице и ее Чудовище добавить некоторое количество дополнительных второплановых сюжетов и персонажей, она произвела бы настоящий фурор в Телевизионной группе, безусловно, да, и заставила бы рыдать жен кубинских деловых людей, и игроков в домино, и службу обеспечения, и всех телезрителей вообще. Как жаль, что Телевизионная группа так и не узнала драму Лурдес, трагедию ее жизни! Тогда они были бы более снисходительными и, возможно, приняли бы ее как сиротку или как оберег Группы, да, вместе с ее словесным поносом и мокрым кашлем и всеми остальными недугами и дефектами.

Необычное обручение в Колледже, соединившее Лурдес и Эриберто, и давшее им двойное прозвище, вылилось в примерное супружество. Они жили вместе в течение четырнадцати или пятнадцати лет, до тех пор, пока в один прекрасный день Чудовище не влюбился в одну из своих сотрудниц («страшнейшую», по словам Красавицы), и образец дал трещину. Грянул развод, и для Лурдес это стало катастрофой. Ее позицией было то, что он, Эриберто, хотел ребенка, а она, Лурдес, не могла родить, и это она твердила, всхлипывая, и многие согласились с Лурдес и ее тезисом, когда Эриберто (в мгновение ока) обрюхатил новую возлюбленную. Если Эриберто, то есть Чудовище, в свою очередь разработал собственную версию произошедшего, то она не дошла до нас; он совокупился со своей новой женой с прилипчивой страстью, характеризовавшей его со времен Колледжа, и рассказывают, что он прекрасно, очень органично смотрелся в роли образцового мужа и отца в этом замечательном супружестве, а ребенок, согласно оби-

женной Красавице, «никто не знает, в кого он вышел, потому что получился красавчиком».

Эриберто не был просто женихом и мужем Лурдес – он был отцом и матерью, сиамским близнецом, который делил с ней внутренние органы, сосуды и жизненные соки. Безотлучный товарищ, поддержка, плоть и кровь, скелет и мышцы в жизни Лурдес, в ежедневном построении ее бытия и сути. Вот отсюда и все терзания Красавицы, вот отсюда та ужасная ампутация, травма сиамского близнеца, который раздваивается, прощается с половиной своего Я и видит в окно, как она удаляется. Разве не может быть понята дальнейшая ее трансформация как психологическая реакция на эту травму?

В сказках говорится о борьбе между Добром и Злом, о том, как противодействуют эти две силы внутри человека и вне его, но в особенности *внутри*, в сердце Разумной Души. Сказочники прибегают к чудесным превращениям для того, чтобы дети, молодые люди и взрослые поняли (в таком вот собирательном образе), что грех задерживает развитие человека, а любовь и добро приводят его к прогрессу и могут вызволить его из трясины, где он зачастую вязнет, заблудившийся и растерянный. Заколдованный ведьмой человек движется назад по зоологической шкале, он превращается в осла, свинью или неведомую рептилию, а Продвижение может прийти к нему только с выражением доброты и самой чистой любви. Когда принцесса решает поцеловать лягушку, или Красавица – Чудовище, чары спадают и отвратительный монстр вновь становится блистательным принцем. Наша Сказка, как будет видно, сказка Лурдес и Эриберто, нашей Красавицы и нашего Чудовища, ломает границы жанра и переходит в другое измерение.

В середине девяностых Лурдес решила покончить с аэробикой, она оставила диеты, макияж, пластиче-

скую хирургию и все, что напоминало о прежней ярмарочной манере. Она приняла и сделала своими возраст, утраты и другие, столь горькие вещи. И началась Метаморфоза: она шла, сутулая, в женском варианте (который понемногу уточнялся) того самого Квазимодо из Колледжа, и ее былинные волосы, ныне редкие и тусклые, отступали, чтобы дать дорогу ушам, пока не таким, как у Джумбо, но угрожавшим дорасти до этого, ее щеки покрывались чешуйками и зернами, словно повторяя юношескую прыщавость Эриберто, и ходила она вперевалочку, как ее «бывший» («мой бывший», говорила она, стараясь придать этому выражению ироническое звучание), и чесалась, как он, и воняла, как он.

Когда Красавица жестикулировала, когда двигала своими обезьяньими руками, когда-то белоснежными и гибкими, как крылья лебедя, становился явственным кислый запашок Чудовища и начинал фосфоресцировать дракон мокрого кашля, воскрешенный в ностальгических тирадах, в словесном поносе Красавицы, все глубже отдававшейся Метаморфозам, Красавицы, желавшей стать (которая уже стала) Красавицей и Чудовищем в одном флаконе. Или нет, кто знает, быть может, она преследовала более далекие цели: намеревалась повторить Чудовище в самой себе и разорвать всякую связь со своим прошлым? Трудилась над тем, чтобы стать близнецом того Чудовища, которое потеряла?

«Она становится немножко мачо», – определил Чупачупс, и это было так, и это показывало на важное различие между разрушением и метаморфозой. Разрушавшуюся Красавицу в любом случае можно было осудить за обращение к пластическим хирургам, за излишние гимнастики, кремы и румяна, то есть за бессмысленное сопротивление тому, чего избежать нельзя – никогда, ни при каких условиях. Она потеряла свою привлекательность, но ее женственность оставалась

нетронутой: она цеплялась за нее, как утопающий хватается за соломинку, и с тоской выгуливала ее по Гаване. Взгляд, один только взгляд, брошенный на Лурдес времен Метаморфоз, мог бы уложить наповал любого из выживших до сей поры «мальчиков»: эта мужиковатая Лурдес, горбатая, с опавшей и сплюснутой Попой, эта карикатура на Эриберто предстояла перед нами как издевка Бога, или богов, или самой судьбы.

Этот образ, ужасающий образ Красавицы, становящейся Чудовищем, свалился на меня (почти буквально) в тот вечер, тоже исторический, когда мы отмечали последний Общий созыв нашей Команды. Надо признаться, я был не способен ни на какие теоретические рассуждения, и только потом, когда начались вечеринки девяностых, я смог подойти к этому явлению рационально и даже высказать о нем свое мнение более или менее связно.

Мы посвятили целую встречу, как помню, обсуждению Сказки о Красавице и Чудовище. Марк Аврелий советовал нам, Чупачупсу и мне, избегать сентиментализма и рассмотреть ее без эмоций. Малого интересовали два аспекта: с одной стороны, «оборот истории», как он говорил, «этот переворот, в котором история меняет свой знак», и с другой стороны – неслучившийся сын, которого не имели Лурдес и Эриберто, «возможный сын», сказал Марк Аврелий и принялся разделять Сказку на четыре «неожиданности»: «три первых, – уверял он, – представляют типично мелодраматический сюжет, четвертая – нет, это нечто другое, это поворот».

С первой «неожиданностью» было ясно: самый некрасивый в Колледже тип, самый отталкивающий («и свинский», добавил Чупачупс), прилепляется к самой красивой девушке, и они строят мир-на-двоих – гармоничный, прозрачный и счастливый, как хрустальный шар.

Самозванка дебютирует во второй «неожиданности». Она не красива, зато молода, очень молода, и вооружена злокачественной плодовитостью, она врывается в нашу историю как циклон и взрывает хрустальный шар (мир-на-двоих), и вот она уже беременна, и пузо у нее раздувается за мгновение ока, и она должна родить, и вот уже кладет на руки Эриберто девятифунтового мальчика с толстенькими щечками, беби с картинок детского питания, и так устраивает мир-на-троих: Святое Семейство, все три медведя – мама, папа и дитятко.

Действующее лицо в третьей «неожиданности» – это покинутая Красавица, стареющая в рекордные сроки, без мужа, без детей, одинокая и стерильная, одна из тех жертв, которые больше воздуха нужны в мелодраме. «И мы подошли к поворотному моменту, к главной неожиданности, – объявил Марк Аврелий. – Лурдес решает принять свое разрушение, и разрушение вдруг становится метаморфозой, так что давайте оставим наш фельетон, чтобы перейти к притче о подлинности Человеческой Личности».

«Переходим, – сказал я, – от телесериала к метафизике, и это сюжетный поворот, который канал «Глобус» не смог использовать, и я представляю, что члены Телевизионной группы не поймут этого, и разозлятся, и пойдут играть в домино, или танцевать, или примутся за еду и снесут все со стола в свидетельство своего протеста».

«Пусть идут к черту все любители телевизора! – воскликнул Чупачупс в нетерпении. – Пусть протестуют, если им хочется. Я просто хочу знать, – сказал он, – чем все это заканчивается, и какие выводы мы должны извлечь из этого дерьма?»

«Финал мне неизвестен, выводов тоже нет, по крайней мере я их не сделал», – сказал Марк Аврелий, обрубая разговор. И мы увидели молнии и смер-

чи в его неудачном глазу, в то время как хороший глаз (чуть затуманенный) нацелился на Фредди и на меня, на поверженные останки нашей Команды.

Фредди спросил, идет ли речь о «фильме с открытым финалом», и Малый не ответил, а я упомянул о «косвенной причинности», придуманной Лесамой, «которая мне кажется фундаментальной основой, – так я сказал, – для понимания этого поворота, то есть почему Лурдес не остается старухой, довольной своим положением, а превращается в Красавицу-Чудовище», – сказал я, а разбитый Фредди брюзжал что-то о том, что он ненавидит «эту бредятину с открытым концом», а я вернулся к Лесаме, к двум другим его понятиям: потенсу и Летающему Коту.

Но наш Марк Аврелий, очевидно, не имел ни выводов, ни интереса к продолжению разговора. Для него вечеринка закончилась, он хотел подняться к себе, запереться в Комнтате с Видео и оставить нас внизу, Фредди и меня, наедине с початой бутылкой виски, с открытым финалом фильма и с загадками девяностых – Красавицей, Чудовищем и всеми нами.

Я заговорил (чтобы остановить его) о «возможном ребенке»: не живет ли и не растет ли он в «потенсе» Лесамы, в этом пространстве «бесконечной возможности»? Он мог бы быть Красавицей-Чудовищем в миниатюре? Или летал бы, как дитя кота и ласки?

Но было уже поздно: неудачный глаз в своем нервическом стиле прыжками поднимался по лестнице, хороший глаз более медленно следовал за ним, извиваясь, а за ними уходили от нас Разумная Душа Марка Аврелия, его Животная Душа, его Тело и весь Марк Аврелий ускользал от нас и покидал нас. В тот вечер я понял, что в нем, нашем Марке Аврелии Малом, в твердом и стоическом Марке Аврелии Эскобедо, обитала также и текучая сущность Фредди Чупачупса.

18 МЕЖДУ МАНГО И АВОКАДО

Среди многих и очень разнообразных видов манго Марк Аврелий предпочитал плоды с плотной мякотью, которые, как бисквит, можно есть ломтиками, с помощью столовых приборов, «как английский лорд», шутил Чупачупс, испытывавший повальную страсть ко всем разновидностям этого дара богов: Филиппинец, Королева Мексики, Сердце, Супер-Хаден, Крошка, Манго Белое, Мамей или Мамейсон, Толедо, Манго Желтое и, конечно же, Бисквит.

Чупачупс был пожирателем манго из самых закоренелых, из тех, кто реализуют себя одновременно как сосатели, перемалыватели, жеватели, и, не жеманничая, отдаются этому акту высшего наслаждения, погружая пальцы и нос в мякоть, и обливаются соком, и измазывают брови, щеки, подбородок, грудь и даже волосы – Гладкие или Курчавые, – и не только вкушают манго: они купаются в нем, плавают, скачут, прыгают, как подростки-дельфины, в плоти и соке фрукта, именуемого «гордость сада», если следовать тексту поэмы «Восхваление», написанной одним поэтом-туркофилом за тысячу четыреста лет до Рождества Христова. «Самый изысканный из фруктов Индостана», – утверждает поэт из глубины веков на гибком персидском языке, и Чупачупс, не спрашивая о других свойствах, полностью с ним согласен.

Каждый раз после посещения отца в Калабасаре, в центре Треугольника Устойчивости, он возвращался,

нагруженный иногда плодами манго, иногда авокадо, и были случаи, когда чудным образом он приносил в одной сумке сразу и манго и авокадо, побратавшиеся, несмотря на разницу в обличье и происхождении.

Царство Нико Лаферте отстаивало свое нищее процветание, находясь между деревом, происходившим из Средней Азии, и другим, рожденным на Новом Континенте. И вот так, с манго и авокадо, домик на Калабасаре обретал новое символическое содержание: в нем не только соединялись и сплетались в тесный узел наэлектризованные нити, идущие от Аэропорта, Кладбища и Психушки, он служил также горизонтальной осью, наводившей мосты между Западом и Востоком.

Со времен младенчества человека манго произрастало у подножия Гималайских гор, и простодушные пастухи коз питались его плодами, почитая как отдельного бога; но его предназначением, так же как и судьбой авокадо, стала блистательная Вселенская миссия: благодаря череде жестоких завоевателей и ловких купцов, паломников и мореплавателей, а особенно благодаря мудрому монарху Аль-Акбару, могущественному поедателю манго и его вдохновенному производителю, манго распространилось по всему миру и повсюду вызвало восхищение, поедание и обсасывание.

Авокадо родилось на низких склонах вулкана Орисаба и под звучным именем «ауакатль» сопровождало ацтеков в их захватнических войнах, оно обошло всю Землю и стало по-настоящему планетарным плодом. Если первые поклонники манго поднимали взор на Эверест или на иные самые высокие вершины и учились сочетать земной вкус этого фрукта со столь манящим образом, то первые поклонники авокадо имели перед собой склоны Орисабы – Цитлальтепека – и это тоже было ежедневным образцом величия.

Марк Аврелий и Фредди были рады, каждый на свой манер, когда Амарилис ставила на стол чашу со смеющимся чудом – желто-зеленым, подобающе приправленным авокадо. Фредди вздыхал, у него блестели глазки, и он должен был сдерживаться, чтобы не напасть немедленно на соблазнительный салатик, и он томился в ожидании, пока приносили оставшиеся блюда, и выделял больше слюны, чем собака Павлова, и много больше, чем все псы Сесилии Вальдес Гойенечеа. Он воздавал почести ауакатлю, как если бы в него воплотился Император Монтесума. Он немедленно набивал рот огромными кусками, которые тут же превращались в кашу, что было понятно по ускоренному жеванию. «Пожалуйста, Фредди, – останавливала его Амарилис, – ешь аккуратнее, противно смотреть». Но это была жадность безграничная и неостановимая, круглый ротик беззастенчиво выставлял напоказ все свои тайны и особенно печальную участь, которая постигала легендарное авокадо.

Когда он наслаждался манго или авокадо, черты лица Чупачупса складывались в выражение такого блаженства и счастья, которое можно было увидеть только перед шоколадным мороженым с виски «Татианофф», перед семилетним «Старым ромом», перед жареной свининой или очень желанной женщиной. Мы имели дело с типично «похотливым выражением лица», и было бы весьма полезным, думал наш Марк Аврелий, Малый, изобразить на каком-нибудь фризе грех похотливости, осужденный как «самый мерзкий» греком Теофрастом и самим Марком Аврелием Великим. Вспышка молнии освещала память Малого, и он видел массивный образ своего дяди Маноло: воплощение чревоугодия, гастрономического накопления и накопления вообще, лидера в эмиграции для всех, у кого всегда хватало *всего*. Нравились ли ему манго и авокадо так же, как и Фредди? Когда он нака-

пливал плоть и жир в Матансас или в Майами, впадал ли он в экстаз, сравнимый с чувствами Фредди? И наконец, когда его убило обжорство, смог ли он во время последнего своего ужина отразить на лице такое же наслаждение и счастье, как Фредди?

Перед свежим и красочным образом авокадо Марк Аврелий, наш, Малый, позволял себе едва заметную полуулыбку. Он был как горний дух, разместившийся между тарелками на клеенчатой скатерти, принесшей дружеское послание от Матери-Природы. Авокадо ему нравилось, но он брал себе совсем немного из чаши, выставленной Амарилис перед его хорошим, а заодно и перед неудачным глазом. Он знал, что почти двадцать процентов этого фрукта составляют жиры, а он ненавидел жир, скорее по причинам этическим, чем эстетическим или диетическим. Плод не интересовал его как афродизиак или антидепрессант, ни даже как лубрикант, что ему приписывается. Он предпочитал скорее манго (с его 0,32% жиров), чтобы справиться с бичом запоров, которые занимают, как известно, второе место среди наиболее частых недугов стоиков – конечно же, сразу после бессонницы с ее неоспоримым первым местом.

Малый кушал очень сдержанно, как это делали в свое время Серафин Эскобедо, Поляк, Эпиктет и Марк Аврелий Великий, хотя все они, включая Малого, понимали, что обжорство – это не только количественный показатель. Настоящий стоик в час приема пищи должен иметь в виду некоторые качественные соображения, и это из-за них в Разумной Душе нашего Марка Аврелия поднимался глубинный протест, направленный и на манго, и на авокадо: в каждом из них содержалось безусловное взывание к чувственности, которая подстерегает человека (нас подстерегает). Кто питается ими, не может делать этого в сдержанной, сухой манере, свойственной Доктрине Отка-

за: он вынужден ласкать взглядом округлости авокадо, и кусать его, словно кусаешь плечо толстухи Рубенса, и вдыхать сладкий аромат манго («пьянящий», сказал бы автор «Восхваления»), и глотать его нектар с наслаждением, даже если Некто не сидит за столом с ножами и вилками или даже с хирургическими пинцетами и не притворяется более утонченным, чем английский Лорд. Как не приветствовать всеми пятью чувствами громадные сочащиеся ломти Манго Бычье Яйцо или мякиш, сливки, возбуждающие кружочки Сахарного Авокадо? Как уберечься от лихорадочного танца вкусовых сосочков и дрожания Животной Души, как удержаться от обжорства и гедонизма, свойственных Ложной Жизни!

Чупачупс любил манго и авокадо с равной силой, и его особенно манила в них волна сладострастия, которую отвергал Марк Аврелий. Если он слишком усердствовал в их поедании (что случалось частенько), из его чрева доносились урчание, бульканье, писк и становились очевидными иные пищеварительные процессы. Тогда он был противен сам себе и проклинал последствия обжорства в своем чистом и полиморфном Теле. Иногда он забывал правила хорошего поведения за столом и жадно чавкал, но он хотел бы предохранить свое тело, защитить, по возможности отдалить его от процессов вульгарных, грязных, неблагородных, но, как это ни печально, свойственных жизни.

Его глубинный настрой приводил к излишествам, но в то же время его раздражали – и насколько! – физиологические и антиэстетические последствия чревоугодия. В этих случаях он прибегал к неожиданной самокритике, но не упрекая ни манго, ни авокадо за то, что перебрал с ними. «Это моя вина, – говорил он, – потому что я не умею вовремя остановиться». Вот именно, останавливаться вовремя, перед манго,

перед авокадо, перед Вещами, – никто не представляет, до каких высот дошел бы Фредди в этой стране, владей он хотя бы несколькими основами того, что называется Ограничение.

Много лет назад, когда он окончательно провалил Физику и его призвала Военная Служба, слова *авокадо* (по цвету формы) и *семьпесо* (по месячному довольствию) использовались как унизительное обращение к солдату, и Чупачупс, в его чересчур просторной зеленой форме, со стриженой головой, был очень чувствителен к таким насмешкам и не оставлял их незамеченными, и вот поэтому он стал персонажем Сказки о Солдате и Трех Крестьянах.

Солдат – это, безусловно, Фредди Чупачупс, который выходит в субботнее увольнение, уже вечером, и направляется на восток, в сторону города, в сторону Гаваны. Он едет на скрипящей металлической голой кровати, на неуютной кровати, стоящей в кузове автомобиля. «Но я был доволен, страшно доволен, – рассказывал он нам, Марку Аврелию и мне, на одной из наших встреч, – поскольку ухитрился достать здоровенную бутыль, когда уже смеркалось, и, по моим расчетам, должен был приехать к себе домой еще до девяти, – говорил он, – и если помыться и одеться очень быстро и что-нибудь быстренько перехватить, какую-нибудь ерунду, я мог бы прийти на пятнадцатилетие Марилу, сестры Ринго Нежного, самое позднее в четверть или в половине десятого.

Три Крестьянина движутся пешком в противоположном направлении, на запад, и, – по словам Фредди, – «празднично одетые, самодовольные и очень пьяные», они наверняка направляются «на танцы, постучать каблуками или повертеть шляпами». Солдата ждет на востоке городской праздник, а Трех Крестьян на западе – сельский праздник, и они все встречаются в какой-то точке Центрального Шоссе («так

было написано», добавил бы Нико Лаферте): машина останавливается на переезде, и Три Крестьянина тоже прерывают свое движение, и видят Солдата, и не могут сдержать дьявольского искушения, и кричат «авокадо» нашему Солдату, Чупачупсу. «Я слетел с грузовика, клянусь мамочкой, – рассказывал нам Фредди, – и мне была уже до лампочки вечеринка Марилу и во что я был одет, направляясь в Гавану в этот час, и я их раскидал, подонков, я им выдал, и у одного хлынула кровь из носа, и он весь заляпался, словно зарезал поросенка, – его слова, – у него навернулись и выходная рубашка, и танцы. В те времена, клянусь, я мог вытерпеть любую выходку, кроме того, чтобы меня назвали авокадо или семьпесо».

Сказка скрипит, ее всю переворачивает от шума битвы, она становится мутной и кровянистой (да уже окрашена кровью сраженного Крестьянина), и мы вспоминаем колено Фредди, когда он поразил Тамакуна: грозное, неостановимое, как форштевень «Наутилуса». Это была беспримерная схватка – трое на одного, – но Солдату даже прическу не испортили. «Как у Роя Роджерса», – сказал я, но Чупачупса это не отвлекло, он старался передать нам накал страстей и продолжал рассказывать. «Я кипел от злости, – говорил он, – и я бы дрался с десятью, с пятнадцатью, с тысячью, и я сыпал ударами как сумасшедший». Так он говорил, и мы знали, что он не преувеличивает, и могли представить себе его в этой воинственной ипостаси, как ниндзя, как слепую машину для ударов, как Крутых парней из кино, как Брюса Ли – рычащего, плюющегося ругательствами и клочьями пены из искаженного рта, противостоящего всем крестьянам, вышедшим навстречу, батальону крестьян, всей крестьянской милиции и самой Госбезопасности. «Со мной у них не прошло, эти сукины дети мне за все заплатили, – сказал он и провел своими пальчиками

по Гладким Волосам. – Они меня даже не растрепали. – И добавил: – Потому что я был лыс как бильярдный шар».

Марк Аврелий и я вернемся позднее к этой Сказке и к любопытной связи, которую поддерживал Фредди со своей пожизненной кличкой. Он не испытывал реального вкусового влечения к чупа-чупсам («это же просто ничто, сосешь ради сосания», – говорил он), и эта штука значительно менее ценна, чем авокадо. Стоит задуматься, почему Фредди ни разу не возразил против своей клички, почему он принял ее окончательно и бесповоротно? «*Чупачупс* принадлежало исключительно ему одному, – говорил мне Малый, – это прозвище определяло его и защищало его личность. Когда его назвали *авокадо*, его растворили в безымянной охапке людей, – говорил он мне, – в социальном отношении считавшейся *ниже* такого народа, как нарядные крестьяне, которые не жили в военном лагере, не несли на себе знака Сексуальной Отсталости, не были одеты в зеленое и зарабатывали много больше, чем семь песо. Чупачупс, и дело тут не в конъюнктуре, чувствовал себя на таком уровне Продвижения, о котором Три Крестьянина и мечтать не могли, поэтому презрительное *авокадо*, брошенное ему, ранило больше, если посмотреть на то, от кого оно исходило. – Так он говорил, полагая тем не менее, что Солдат чересчур жестоко наказал своих обидчиков. – Кому-то он порвал единственную выходную рубашку, – размышлял Марк Аврелий, – а я пытаюсь подсчитать, что означала в ту эпоху, в семидесятые годы, утрата рубашки, известной как Лучшаяипоследняя. Те крестьяне зарабатывали больше семи песо, это так, но у них не было ни провизии, ни денег, как у нынешних, куда там, они не затоваривались на шопингах, ничего подобного, и порванная рубашка была великой потерей, даже катастрофой».

Однако Малый шел дальше (он всегда заглядывал дальше) и спрашивал себя, до какой степени повлиял Чупачупс на будущее окровавленных Крестьян, «на судьбу самого пострадавшего», с разбитым носом и перепачканной рубашкой, того, кто вынужден был отказаться от музыки, рома, свинины на косточке, волшебства и тайн крестьянского праздника. Кто ждал его напрасно в этот вечер? Возможно, женщина, которая сделала бы его счастливым? Или соперник похуже Чупачупса, с острым и мстительным мачете?

«Марк Аврелий Великий в любом случае, – говорил мне Малый, – был бы милостив к Фредди, поскольку речь шла о грехе, совершенном в ярости, а этот тип греха, как утверждал Великий, более подлежит прощению, чем прочие, поскольку сам грешащий страдает: Фредди напал на Крестьян по причине ожога, раны, нанесенной криком *авокадо* его Разумной Душе, – так он говорил и цитировал «Размышления»: – "Грехи вожделения более тяжелы, чем грехи гнева, – утверждает Великий. – Тот, кто грешит из сладострастия, более распущен и его поведение более женственно; у тех, кто грешит от гнева, отсутствие оного сопровождается болезненным ощущением"».

Фриз, создаваемый Марком Аврелием – Императором и Философом, или греком Теофрастом, или Макаренко, или любым другим педагогом, желающим сравнить грехи вожделения и гнева, мог бы успешно использовать Чупачупса-пожирателя-манго-и-авокадо, *побежденного* (это ясно) *сладострастием,* по одну сторону, и Чупачупса-в-ярости – по другую, где гнев и боль сливаются в его лице, которое теряет свои мягкие очертания и искажается в судороге, измученное и жуткое. Есть гнев и боль в этом теле, которое отбрасывает в сторону, как оторванный лоскут, свою ненасытность, свои аппетиты, свою женственность и являет собой одно единое брутальное колено, выходя-

щее за пределы, бьющее направо и налево, страдающее и заставляющее страдать, и оно бичует тройку Крестьян с яростью Марса, с яростью взбесившегося ниндзя, и идет навстречу успокоению (иная форма сладострастия?) в победе над тяжелораненым врагом, униженным, бегущим и удаляющимся от дороги, от танцев и от всех Вещей, плохих или хороших, которые ему были уготованы.

Если бы на фризе надо было изобразить Вину как желаемое приложение к греху, это было бы для нас (согласно Малому) «сложной проблемой формы». «Честно говоря, мне в голову не приходит, – говорил он, – с каким лицом и в какой манере представить Кубинскую Вину на таком фризе», Так он говорил и вспоминал другого Великого – Гёте – и его выводы о том, что «содержание *(Gehalt)* несет с собою форму *(Form)*», и о том, что «форма никогда не существует без содержания»; следовательно, нужно было бы дойти до корней, до крайних пределов содержания Кубинской Вины, этой игривой, подвижной, живой Вины. О таких вещах частенько распространялся наш Марк Аврелий на вечеринках девяностых, и результатом его размышлений стал первый его доклад. Он назывался «Кубинская Вина» и произвел на нас сильное впечатление.

«Грех и Вина, – начал он, – понятия далекие от нашего Острова» – и заявил, что идея греха, само понятие греха не могло зародиться здесь, на земле Острова, не могло прорастать вглубь, пуская корни, не могло расти вверх или давать новые ростки, как манго и авокадо, не могло приветствовать солнце своими цветами и плодами.

«Здесь мы способны ощущать Вину, – сказал он, – но не вину в иудейской или христианской традиции. У них она как копье, вертикально пронзающее Разумную Душу, и пригвождающее тебя к земле, и парализующее. У нас вина не вертикальна, – сказал он, – она

похожа на камушки в ботинках, которые впиваются в ноги при каждом шаге и мешают, но все же позволяют идти, и некоторые ходят со многими камушками, с целой пригоршней камушков, а другие, большинство, приспосабливаются к одному-двум камушкам, привыкают и по прошествии времени даже не вспоминают о них».

Марк Аврелий начал свой первый доклад при минимальном стечении народа (Чупачупс и я), но вскоре к нам присоединилась Амарилис, потом Лурдес, Красавица-Чудовище девяностых, и все внимательно слушали его, и все хотели узнать побольше о Вине на Острове – теме, которую Лурдес определила как «колючую», и это слово, с его изысканным ребячеством, подходило очень хорошо, как кольцо на палец, для того, чтобы постебаться немножко насчет «острой темы» и уколов камушков, и я был готов уже произнести шуточку, но не сделал этого.

Фредди беспокойно ворочался в одном из своих плетеных кресел и вспоминал (я уверен), пусть и во вред себе, другой эпизод времен его службы в армии – не Сказку о Солдате и Трех Крестьянах, закончившуюся победным и счастливым финалом для него, для Фредди, в его роли непобедимого мстителя, но ту, другую Сказку, в которой действовал Огонь, у которой был ужасный, но закрытый финал, а потом вышло, что нет, что финал не был таким закрытым, в нем были трещины, сквозь которые сочились Видения и Вина. Красавица, думаю, – делала усилия, чтобы сохранять молчание, она хотела быть настороже и опиралась на софу лишь пятнадцатью процентами своей сплюснутой и меланхоличной Попы и, возможно, возвращалась к мысли о нерожденном сыне («вероятном ребенке») как средоточии чувства вины, или о влиянии, производимом таким чувством на происходящие в ней разрушения и метаморфозы.

Амарилис возлежала на софе, далекая от Вины: она направляла на Марка Аврелия свои безмерные, чистые, откровенные глаза, похожие на два корабельных фонаря, и укрывала нашего стоика своим спокойным взглядом, в котором замечалась некоторая дрожь, что-то в глубине, какая-то вторая сущность, и это было желание любви, если бы хоть кто-то мог понять это; этот взгляд без усилий преодолевал преграды греха, Вины, и его не останавливали даже колючки Острова.

Индейцы, – объяснял нам Малый, – жили в редкостном этическом измерении, в чем-то похожем на невинность в чистом виде. Первооткрыватели и завоеватели принесли меч и крест, болезни, аркебузы, лошадей и собак, обученных лаять и кусаться, принесли грех (понятие и практику) и в конце концов притащили чудовищно грязное мировоззрение, в котором они поднялись до извращенной формы невинности – невинности от перенасыщения, от избытка греха. Негры принесли с собой очень мощное язычество, настолько сильное, что оно тут же распространилось и внедрилось в островную природу. Белые вначале смотрели на него с недоверием, как троянцы на громадного деревянного коня, и даже пытались разрушить его, но они нуждались в рабах и поняли, что необходимо и неизбежно открыть ворота города коню и его здоровому язычеству, и позволили ему войти, и из чрева коня вышли *языческие святые*. Многие белые оскорбились, а другие почувствовали облегчение и подумали, что такие святые будут получше европейских в деле прощения грехов, потому что они их просто не воспринимают, они не знают греха, и их не привлекает его познание, и белые вручили *языческому десанту* ключи от города на закрытой ночной церемонии, и все они (черные и белые) танцевали в ту ночь вокруг деревянного коня, вот так и канули в вечность все попытки посеять на Кубе Вину вертикальную и холодную.

Марк Аврелий сделал паузу, и тут Красавицу

настиг приступ словесного поноса, она бросилась в глубины: начала с восхваления рая земного, в котором пребывали кубинские индейцы до Открытия Америк, и как они любили друг друга в обстановке мира и равновесия, и какими красивыми и хорошо сложенными были мужчины и женщины, и как они прощались с жизнью еще молодыми, но без печали. Потом мне стало трудно следить за ее мыслью: она смешивала свои навязчивые идеи с «безусловной поддержкой» теорий Малого и обращалась как ко временам Колледжа в Марианао, так и к началам Острова, и дошла до такого бреда, что сравнивала счастливые годы в Колледже, «наши счастливые годы», с теми, которыми наслаждались индейцы до ужасного вторжения «чужаков», и когда она говорила «чужаков», на лице ее отражалось необычайное негодование.

От говорильни Лурдес мы одуревали каждый посвоему, и думаю, все были счастливы, когда Чупачупс прервал ее, шутливо каркая. «Колумб и его войско, – сказал он, – шли от Продвинутости и нашли здесь чертовскую Отсталость, – так он сказал. – А сейчас получается, что испанцы принесли с собой грех, так? Ведь индейцы ходили обнаженными, в чем мать родила. Как видишь, в вопросе невинности они стояли выше, а испанцы жили в отсталости, в грехе и были Злодеями из кино, словно специально приехали, чтобы опустить и разложить невинных.

Открытие Америк, Конкиста, Колонизация – все это было Отсталостью? – спросил он. – И мы всерьез поверим в эту чепуху? Вы скажете, было бы лучше, если бы Колумб проехал мимо, а мы продолжали жить здесь, убивая каждые полгода по дикой свинье и питаясь антильскими рыбами?»

Так говорил Чупачупс, и Марк Аврелий погрузился в себя, а Амарилис злилась, а Красавица выглядела обиженной. Тут выступил я, чтобы вернуться к

теме авокадо и манго, связав ее со второй темой: невинностью кубинских индейцев.

«Очень радикальные, почти патетические времена, – сказал я. – Они даже не знали ни манго (бедняжки), ни авокадо, они не могли впасть хотя бы в грех сладострастия», – так сказал я и должен был разъяснить, что это не шутка и не мое изобретение, а истинная правда, да, из тех тернистых, мозолистых правд, что ранят (тактильные ощущения).

Ауакатль был распространен в империи ацтеков, а инки принесли его из Эквадора в Перу, но воды Карибского моря он преодолел значительно позднее, на руках колонизаторов и пиратов, и пристал к Острову (с тем изяществом, которое приводит мужчин в наслаждение), когда наши индейцы всей массой уже погрузились в Тартар и оставалось лишь несколько выживших – униженных и разбросанных.

Манго вошло в Новый Свет через Бразилию, и есть сведения о его прибытии в Барбадос в 1742 году, а на Ямайку – сорок лет спустя, позднее оно высадилось на Кубе (всегда бывает поздно, если речь идет о пришествии манго), когда Блистательный Век уже угасал или на заре XIX века.

«Если бы моя мамочка, и профессор Мариньо, и вся эта публика из Кружка Кардесистов не были такими тупыми, если бы не шли только по пути, указанному Кардеком, – добавил Чупачупс, – они бы поставили для Страдальца Сибонея блюдо с целиковым манго, или порезанным на кусочки, или в виде компота, мармелада, мусса или как угодно еще, а к нему салатик из авокадо с солью и лимонным соком, я тебе говорю, индеец вернулся бы. – Так он сказал, и прищелкнул языком, и еще раз уверил: – Индеец вернулся бы, как ему не вернуться, если можно испытать хоть чуточку сладострастия! Ты представляешь себе, что значит помереть, даже не попробовав Манго

Бисквита или Желтого Манго, толстенького красавчика, или Авокадо Каталина, из тех, что просто чудо?»

«Но у них был табак, – вдруг сказал Марк Аврелий. – А это деталь, которая делает их менее невинными. Быть может, малую толику сладострастия они обретали в дыме? Кто знает?»

Чупачупс решил, что да, что дым – это просто иная форма наслаждения, и закурил «Мальборо». Прошло пятьсот лет с момента прибытия Колумба на остров, и «Мальборо» довольно сильно отличался от примитивных «мушкетов» из табака, упоминаемых Бартоломе де Лас Касас, тех, которые курил Страдалец с его современниками, и еще сильнее «Мальборо» отличался от смеси трав и табачного порошка, который индейцы потребляли через нос.

Меж элегантных пальцев Чупачупса помещалась определенная порция технологически *продвинутого* табака, завернутого в полупрозрачную бумажку. Сравните, что было вначале – рулончик горящих листьев. А сейчас – прирученный, дисциплинированный огонь, сосредоточенный в голубой искре на одном конце, а на другом – пробковое завершение. Фредди возложил сигарету в свои мясистые губы и посасывал ее, и тишина сгустилась над нами, и никому не хотелось говорить – ни Красавице, ни Амарилис, ни Фредди, ни мне, ни Марку Аврелию, который начал грустить, но только в той мере, которая позволена стоикам, и взывал, я это знаю, к Серафину Эскобедо, и перебирал все искушения сладострастия. Дым выходил из Фредди, присоединялся к тишине и обволакивал всех нас.

19 САНДОКАН

Своими размышлениями о Кубинской Вине Марк Аврелий открыл солидный цикл лекций, послуживший тому, чтобы разнообразить наши вечеринки и вооружить нас некоторыми концептуальными основами, весьма полезными в шквале девяностых. Мы высоко ценили эти усилия Малого, понимая, что в его Разумной Душе противостояли, с одной стороны, незыблемый стоик, ненавидящий любые проявления интеллектуального чванства и предпочитающий тишину, с другой – педагог, убедительный оратор, который делится своими размышлениями со всеми остальными и в конце, довольный, кладет микроскопическое зернышко песка в фундамент дела улучшения человека.

Если было слишком много народу, если не создавалось подходящей атмосферы сосредоточенности, он немел и погружался в глубь самого себя, как рак-отшельник в свою ракушку. Когда мы собирались «своей семьей», как сказала бы Красавица, то есть когда собирались Фредди, Амарилис, Лурдес и я (отсутствовал, всегда отсутствовал Анхелито Китайчонок), он говорил свободно и мог поддерживать интерес публики, смешивая самые сложные теоретические разработки с примерами из самой близкой действительности, как поступали в свое время основатели стоицизма и все, кто брался за распространение Света в этом мире слепоты и неуверенности.

Второй его доклад – «Быки, петухи и кубанизм» – нам понравился не меньше первого, и позже мы обсуждали его между собой под сокращенным названием «Сандокан».

В преамбуле Марк Аврелий описал «побочные эффекты», – так он сказал, – Продвижения, воспринимаемого вертикально, а не как органический результат развития. «Тот, кто *продвигается* внешне, искусственно, – сказал он, – очень часто *отстает* в своем духовном развитии, в своем внутреннем пути к полноте», – уверил он, – и привел нам пример со своим Тестем, отцом Тамары, получившим ранения – тайные и поэтому неизлечимые – в своем впечатляющем Восхождении к вершинам Национальной Строительной Корпорации и в его Выдвижении из села в город, из глубин зеленых массивов к каменным площадям, причем не каким-нибудь, а к высшим, в столичном городе.

«Это произошло под давлением жены, этого дьявола, – сказал вдруг Марк Аврелий, отбрасывая размеренный профессорский тон, и неудачный глаз сделал сальто, рассыпая искры, – это она, Леди Макбет, – так он сказал, – заставила его принять должность и переехать в Гавану, забыть свои привычки, своих друзей, свое естественное окружение и своих петухов».

Своих петухов. Да, он должен был отречься от них и привез с собой только одного: самого старого, увечного, одноглазого, в свое время выигравшего более ста боев и проходившего потом свою службу в качестве крепкого осеменителя. Тесть кормил его по ночам крошками хлеба в молоке, давая их ему прямо в клювик, и говорил с ним шепотком, говорил петуху, что он в техническом отношении был «лучше некуда», но на самом деле он значил для своего хозяина неизмеримо больше. Он родился от настоящего малайца (оттуда, от знаменитого родителя, и происхо-

дило его имя Сандокан), импортированного из самых глухих джунглей Борнео каким-то магнатом из Сантьяго, и одной прелестной курочки, «которую мне оставил по завещанию отчим, – рассказывал взволнованный тесть, – знавший, что оставляет мне мать чемпионов».

Наш докладчик познакомился с Сандоканом, когда петух уже был старым и разбитым: тот, кто был когда-то непобедимым бойцом на Полях Марса и на Полях Венеры, пребывал во дворе дома, как мешок перьев, как безобидное сырье для колдунов, способный лишь слабенько кукарекать и смотреть в небо круглой матовой пуговицей своего единственного глаза, а племянники из Баямо, и Тамара, и сам Марк Аврелий, и свояки, когда шли в стиральную комнату, чтобы наполнить водой ритуальное ведро, должны были хорошенько смотреть, чтобы не наступить на малазийского Тигра-Петуха в его бесславной отставке.

«Однажды летней ночью, – вспоминал Малый, – среди жуткой жары, я поднялся с кровати (не мог спать, как обычно) и вышел подышать, а мой Тесть лежал на каменных плитах веранды, без рубашки, очень тихий, с гримасой на широком крестьянском лице, с выражением таким странным, что я испугался и спросил, не заболел ли он, и он сказал, что нет, и сел, опершись спиной о стену. Он поговорил сначала о жаре («в такую жару никто не спит», – сказал он) и тут же – о последней игре в пелоту между «Индустриалес» и «Сантьяго», и о поездке в Пальма-Сорьяно, в которую хотел отправиться в августе, а потом стал рассказывать мне о своем детстве, об отчиме, любителе петушиных боев, и о петухах. Мы стали немного ближе после той ночи совместной бессонницы и разговаривали довольно часто, и между нами установилась более-менее крепкая связь, и я понял, что это

человек на редкость несчастный и что он, так же как и я, стал жертвой этого дома».

Сандокан был первым чистокровным петухом, увиденным Марком Аврелием вживую, напрямую и в полном цвете, и он (это естественно) разворошил его воспоминания о подростковых чтениях Сальгари и вызвал в нем вышеупомянутые размышления о преходящести (эфемерности) мирской славы. Однако как образ петуха-тигра на пенсии, так и разговоры с Тестем о разведении чистокровных петухов и те истории, в которых Сандокан в огненной схватке в течение полуминуты наносит фатальный удар шпорой, и его противник делает три шатающихся шага, «хотя и мертвый уже», и остается распростертым на песке, все это вместе, включая страсть, которую Тесть не мог скрыть, когда говорил на эту тему, произвели впечатление на Разумную Душу Малого – да какое! – и натолкнули его на разработку некоторых теорий, чтобы проводить годами позднее эти лекции перед избранной публикой (включая семейную, добавляла Красавица), которую составляли Чупачупс, Амарилис и сама Красавица, бывшая «словно из семьи», и я, который никогда таковым не был и никогда не смог бы им стать.

«Думаю, что в бое быков, – сказал он, – есть элементы, которых кубинец из-за своего нрава не приемлет: хотя тореро и демонстрирует личную отвагу перед рогами быка, а кубинец не может не воздать почесть храбрости, коррида, в сущности, это западня для быка, который в бесчестном «прологе» должен быть окровавлен, поднят на смех и изранен пикадорами и бандерильеро, а потом, возбужденный криками публики, которой нравится представлять его опасным, в конце концов будет убит матадором с большей или меньшей ловкостью или умением. Это не чистая борьба, не на равных, где бык и тореро могли бы рас-

считывать на один и тот же шанс выиграть или потерпеть поражение: убийца и убитый уже несут каждый свое наименование, а кубинец ненавидит такое несправедливое предопределение. Наверное, кубинец согласился бы с тем, что бык имеет право на быструю смерть, но он никогда не одобрит процесс столь долгий и болезненный, такой ожесточенный и немилосердный по отношению к животному, как коррида.

Есть также в испанском быке, – продолжает Малый, – что-то тяжелое, нагружающее, темное, не умещающееся в кубинских мерках. Он похож на локомотив, который слепо несется, как гора железа и огня. Он синоним насилия – без таланта, без выучки, без изобретательности, это грубая сила, и она, будучи таковой, не может, по определению, соответствовать тому идеалу, который царит на Острове.

Петушиные бои укоренились на Кубе, и житель острова принял их еще до того, как осознал себя кубинцем, еще до того, как он воспринял себя отличающимся от своих предков; так что у быка уже не было ни малейшего шанса, ни у быка, ни у тореро, потому что петушиная схватка – это противостояние на равных, а кубинец всегда предпочитает то, что уравнивает или делает одинаковым, где может выиграть любой, где сражающиеся – существа окрыленные и хрупкие, не весящие более четырех фунтов, – танцуют в воздухе для того, чтобы ранить, чтобы убить и не убегать от этого.

Легкость, хрупкость, храбрость, подвижность, равные возможности и оружие, и даже одинаковая расцветка, а почему бы и нет, – в сумме этих составляющих нужно искать для нас причину триумфа петуха над быком.

Надо бы прибавить к этому ставки, которые в нашем случае не делаются наудачу: надо видеть дальше, чем другие, и определить победителя и побежден-

ного при абсолютной симметрии возможностей сражающихся. Прибавьте сюда малые размеры площадки, более семейные (как сказала бы Лурдес), чем пространства, избранные корридой, и отношения (личные, теплые, ни с чем не сравнимые), устанавливающиеся между петушатником и его петухами, короткую длительность схватки и ее напряженность».

Малый резко оборвал свои объяснения и провел хорошим глазом по собравшимся, в то время как его неудачный глаз опускался и брал «тайм-аут», передых. Он был немного смущен, словно жалел, что излишне разговорился. Тогда Фредди поднял руку и щелкнул пальцами. «Тише, один вопрос», – сказал он, и Марк Аврелий улыбнулся и дал ему слово.

«А что мне лично дает жизнь Сандокана, можно узнать?» Так он спросил, и Марк Аврелий глубоко вздохнул, прежде чем ответить, и крылья его носа дрогнули, и ресницы захлопали – как над хорошим, так и над дурным глазом. «Сандокан проснулся мертвым в один прекрасный день, – сказал он, – и мой Тесть положил его в коробку из-под ботинок, вырыл ямку во дворе и предал его земле». Вот что он сказал, и все пятеро (три члена разбредшейся Команды, Амарилис, а также Красавица) постояли минуту молчания в память о малайзийском тигре-петухе.

20 БЕССОННИЦА И ВИНА

Как тебе спится? О, как тебе спится ночами?

Джон Леннон.
Как тебе спится?

В Колледже Марианао хватало всего, как в Уделах Господних, как везде: были люди благородные, достойные и люди злоречивые, подонки, способные распространять ядовитые выдумки без малейшего основания, только из удовольствия облить другого грязью, особенно если этот другой скромен и приличен. Так родилась гнусная сплетня о Марке Аврелии Малом, что он-де онанист из Высшей Лиги, – говорили, – и в качестве доказательства показывали на его внушительные уши и на обвиняющие круги под глазами, не только под правым, рыщущим туда-сюда, но и под левым, нормальным, который своей прямотой и уверенностью должен был свидетельствовать о недостижимости для порока.

Мастурбация, конечно, не грех, а в те поры (когда среди девочек было столько непреклонности и столько предрассудков) в еще меньшей степени, чем сейчас. Но между тем, чтобы подрочиться как-то вечером, легонько, без спешки и исступленности, и тем, чтобы на тебя напялили колпак профессионального мастурбатора, представив на суд общественности как извращенца, есть существенная разница.

Эти слушки появились и погасли после очень краткого периода существования в географическом и временном пространстве Колледжа Марианао, они не имеют никакого отношения к травле, развязанной против Марка Аврелия на Гуманитарном Факультете, когда он выступил на Ассамблее по радикализации и произнес доклад, безжалостно высмеянный и названный «докладом Стоического Рукоблудия». В данном случае это название вызвано (метафорически, но унизительно) умозрительными построениями, сентенциозной трепней тех, кто наслаждается, слушая самих себя. Худшим в происшедшем было то, что Малый совсем немного коснулся собственно онанизма, а только поупражнялся в своих ораторских способностях с очевидными педагогическими и образовательными целями, в особых обстоятельствах и (что было очевидно) для крайне узкого круга: в глубинах души и собственных убеждений он ненавидел любое проявление словесного онанизма. Уши? Да, он носил их в отрочестве, да и сейчас они при нем: они не продукт рукоблудия, тайных оргий или запретных радостей. Бессонница (несокрушимая, жестокая бессонница) нарисовала круги на его бледном лице, и они присутствовали там давно, с тех пор как Марк Аврелий почти ребенком присоединился к сообществу лишенных сна, к тем, кто никогда не отдыхает.

«Бессонницу вызывает Кубинская Вина?» – спрашивал я себя и спрашивал об этом у нашего стоика. Прорастают ли ночью колючки из земли, и прорывают ли ваши ботинки, и добираются ли в форме ежика или дикобраза до Разумной Души и там терзают вас и колют, а Летучая Мышь смеется и радуется? «Теоретически, – ответил он, – этого не должно быть». И его левый глаз, нормальный, остался неподвижным, словно всматриваясь в ледяную маску Теории, а не-

удачный, правый глаз своими движениями обозначил превратности Практики.

Годы спустя после выступления перед нами со вступительной речью, той, что касалась Кубинской Вины, он признается мне в своей «органической неспособности», так он сказал, достигнуть, с одной стороны, уравновешенности тех, кто живет в согласии с самими собой и с внешним миром, а с другой стороны, полностью предаться удовольствиям и радостям. Как я думаю, избыток самокритики закрывал перед ним первую возможность, а его психическое и моральное строение, его пренебрежение Ложной Жизнью и даже его хрупкая (и немного разъеденная) сущность не позволяли ему «отключиться» и насладиться хотя бы так называемыми «преходящими радостями». Таким образом, он не мог пристать ни к одному из двух берегов: праздника (городского или сельского) и стоического мира, и Вертикальная, холодная, самая ужасная Вина преследовала его в закоулках его Разумной Души.

Сколькие на протяжении Человеческой Истории пытались достичь Озера, *атараксии*, совершенного душевного равновесия! На Востоке и на Западе, на родине манго и на родине авокадо, древние и современные, миллионы людей боролись с внутренними и внешними бурями, они плыли, плывут и будут плыть к подлинному продвижению, к тихому и счастливому островку, к непреходящему счастью. Меньшинство, очень немногие из них достигнут цели.

От Марка Аврелия, нашего, Малого, не ускользнуло, что его тезка, Великий, Император-Философ, остановился на половине пути. В его «Размышлениях» бросаются в глаза бесчисленные упреки и вопросы: там овод Вины, там сомнение с глазами без век, там бульканье тоски. Завершил ли этот путь Поляк? А Серафин Эскобедо? Малый не был уверен.

Возможно, в последние свои дни, потеряв много плоти, много пустой породы, его отец утвердился в абсолютном покое и «образовал троицу с Небом и Землей», настоящий тройственный союз, сплав Создания и Вселенной, в котором уже ничто не ранит человека, не искушает его, не возмущает его духа, и человек пребывает на высоте 10 000 метров над уровнем моря, и к нему не тянутся пухленькие ручки сладострастия или когти гнева. Не придумано еще соблазна, способного подняться туда, туда, согласно утверждениям Чжон Йонг или Конфуцианской доктрины Полного Равновесия, где нет ни Вины, ни грехов, способных нанести царапину на бриллиант этой Троицы.

Малому были известны (и его заботили) результаты, производимые непреодолимым желанием самокритики во всех трех субстанциях, составляющих Человеческое Существо: Разумная Душа теряет много времени на то, чтобы истолковывать грехи и грешки, и застревает на месте, и не продвигается в достаточной мере; чрезмерная зажатость заключает в капсулы флюиды Животной Души и образует узелки; инстинкты разрушаются и перемещаются в телесную сущность, и в Теле повышается артериальное давление, порождаются нарывы, желудочно-кишечные язвы, камни в желчном пузыре и прочие недуги.

В то же время он видел нечистую и заурядную сторону в таком занятии, как обвинять-самого-себя, которое неосознанно склоняется к выслушиванию независимых судей, к мнению других. Его Разумная Душа таким образом скользила в сторону топи Ложной Жизни, настолько зависимой от того, что о тебе скажут, что Вина сама по себе рождала Вину.

В своих приступах самоанализа он неустанно возвращался к единственному подвигу, совершенному им в студенческой дружине Колледжа в Марианао:

захвату (в одиночку, без чьей-либо помощи) вуайериста.

Жаркой ночью Марк Аврелий стоял на посту №2 в спортивном Городе Свободы и заметил силуэт извращенца: на стене сидел, притаившись, вуайерист, который, прерывисто дыша, подсматривал за спортсменками и тренершами, приехавшими со всей страны для участия в Школьных играх. В течение всего изматывающего дня они бегали, прыгали и занимались волейболом, баскетболом на площадках и на траве, а сейчас (за окнами, распахнутыми из-за жары) предавались чистому и жилистому сну амазонок. Они не переносили простыней и сбрасывали их со своих Тел, луна освещала охапки мускулистых ног и небольшие, но многообещающие попки и их начинающиеся грудки, а также раздутые Кормы и Форштевни тренерш, которые уже всего навидались, но ни одна из них даже не могла представить себе, что в общежитие вместе с лунным светом и дуновением ветерка проникал взгляд исследователя их обнаженности.

Жалкий вид этого юнца, ненамного моложе его самого, с поднятыми руками (как в кино) под угрозой маузера, который сжимал Марк Аврелий, проход до дежурки, этот бесконечный проход, молча, спотыкаясь, с пленником впереди, все еще с поднятыми руками, а он позади, как и должно быть, оружие приставлено к узкой спине, согнутой стыдом и страхом, а потом признания вуайериста в присутствии дежурного офицера, убивавшего словами, и неожиданно плач, поток всхлипываний (Малый что угодно бы дал, чтобы не слышать этого), и то, как он глотал бесполезные слезы, как ему давали стакан воды и кофе, как ни дежурный офицер, ни сам вуайерист (несмотря на его искренние попытки), никто в дежурной части, ни в Городе Свободы, ни в Округе Марианао не мог остановить его икания и его слез.

Малый узнает потом некоторые детали: тот, кто был его пленником в течение примерно получаса, во время этого прохода от второго поста до дежурки, был из города Ольгин и учился в Педагогическом (получал стипендию) на преподавателя испанского языка. Теперь, по причине своей извращенности и полицейских способностей Марка Аврелия, он был отчислен дисциплинарной комиссией и возвращен на родную землю, где вынужден будет днем работать в каком-нибудь гнусном заведении, а ночами бесцельно бродить, упражняясь в своем провинциальном и горьком вуайеризме. В этом эпизоде присутствовала Вина: он, Марк Аврелий, сделал все правильно, но его законное деяние дало начало такому процессу, в котором стали менее различимы границы между справедливостью и несправедливостью.

Он вспоминал также свои последние годы на Гуманитарном Факультете, когда Идеологический Авангард добился создания вокруг всех нас ядовитой атмосферы, требуя поднять накал Собраний по Радикализации, заставить длинноволосых склонить головы, чтобы отдать их цирюльнику, и выставить на улицу педерастов с Филологического и Журналистики, и запретить Моду на Леннона, и запретить само Послание Леннона, и всё последующее за этим. Была предпринята попытка поголовно кубанизировать любителей иностранщины, унизить самодостаточных, пролетаризировать интеллектуалов, отвердить мягкотелых или выгнать их к черту из Чистого и Революционного Университета, из Университета Будущего, который предполагалось построить в Настоящем. Вот оттуда Малый извлек свои собственные умозаключения: что это не был подлинный Идеологический Авангард, что собрания не должны были называться «радикализацией», что они не докапывались до корней, а на самом деле оставались висящи-

ми на ветках и устремляли внимание только на внешнее. Ассамблеи по истинной радикализации должны были бы содержать в себе углубленный анализ грязи, из нутра человека мешающей его росту; где нашлось бы место совместным размышлениям, исходящим из личных раздумий, в которых каждый спрашивал бы себя, как истребить бесчисленные отметины Ложного, как пойти по прямому и стоическому пути Бескорыстия, пути к этическому, идеологическому и духовному Продвижению; нужны были самокритичные и возвышающие размышления, в которых совместно участвовали бы ученики и преподаватели, и (почему бы и нет!) даже технический персонал, административные работники, секретарши и университетские сторожа; нужен был целый цикл частных мини-собраний, где каждый в глубине своей Разумной Души продвигался бы самостоятельно до момента созыва Общего Собрания, которое мы провели бы в Коллективной Душе Новой Университетской Общности, вызволенной из котла, в котором варятся мода, суета и лозунги. Таковы были его мысли на эту тему, и он попытался выразить их в Школе Права на собрании Федерации Университетских Студентов. Вот так и родилось то, что было названо «докладом Стоического Рукоблудия», над которым не только насмеялись, но и в довершение обвинили автора в «мягкотелости в самый решительный момент». Хотя он и сохранил членский билет «Повстанческой Молодежи», ему пришлось остаться за бортом, в то время как идеологический бульдозер ровнял с землей траншеи проклятых сект.

Он был отлучен от борьбы своими же товарищами по учебе и не был признан членом партии декадентов: он не был экстравагантным, не был ни педерастом, ни иностранщиком, не ходил с книгами Маркузе и Фрейда под мышкой, не делал «ошибочных постановок

проблем», это да, но его не считали интеллектуалом, а (скорее) онанистом. Со своей стороны, он не идентифицировал себя с делом мягкотелых: оно казалось ему подозрительным и шитым белыми нитками Ложного. Мой собственный тезис в защиту Длинных Волос (восстановить для юных кубинцев символ повстанцев Сьерра-Маэстра) казался ему вычурным и безосновательным. «Ты никогда не отдашь себя делу защиты крайностей», – сказал он мне и вернулся на предназначенное ему облако. Но то, что пришло потом, потрясло нас всех – триумфаторов, побежденных и тех, кто собирался остаться нейтральными. «Мы все виноваты», – так повторял Алеша, и Марк Аврелий молча согласился, как будто услышал самого чистого и невинного из братьев Карамазовых.

Наиболее жгучей концентрацией Вины продолжал быть Ребенок, его дитя, его единственный сын, то жизненное дуновение, которое он выпустил во время одной из своих первых встреч с Тамарой. Он зачал его тупо и безответственно, чтобы позднее оставить в руках у пустых людей, людей без Света, которые станут воспитывать его в почитании Вещей и закончат овладением его Разумной Душой, убив в ней малейшее стремление (каким бы ничтожным оно ни было) в сторону Подлинного Продвижения. В своих раздумьях он спрашивал себя, что должен делать стоик, когда его самые любимые существа, самые близкие, те, кто находятся в известной степени под его ответственностью, отдают себя Лживой Жизни и с удовольствием бултыхаются в ней. И отвечал: да, конечно же, он должен бороться за них – своим примером, убежденностью, идеями, «Размышлениями» Великого и другими текстами Основателей.

Ну ладно, а если все это ни к чему не приведет? А если силы Ложного возобладают и кто-то поймет, что больше ему уже нечего делать? Должен ли стоик

оставаться *там* неопределенно долго? Или должен бежать, собрать все четыре или пять своих Вещей и удалиться на велосипеде «Феникс» или на чем угодно еще. Малый повторил брачную схему (и ошибку) своего отца и Императора-Философа, соединившись с Тамарой, женщиной, воплощавшей само отрицание стоических доктрин, так же как ее мать и как императрица Фаустина.

Серафин Эскобедо отличился в Пятидесятилетней войне как выдающийся воин, он находился в сражениях до последнего момента, в то время, как другой Марк Аврелий, Великий, закрыл глаза на прегрешения Фаустины и на чудовищность своего сына Коммодо, и упрямо продолжал верить им каждую минуту, и пошел дальше: когда умерла Фаустина, он возвел храм, чтобы увековечить ее память, и забрался дальше некуда – он возвел своего ненормального и извращенного сына в достоинство наследника. Поступили ли правильно стоик из Матансас и другой стоик – римский? После смерти Серафина Эскобедо в Буэн-Ретиро вовсю царила Ложная Жизнь, и Римская Империя тоже погрузилась в самое унизительное болото при правлении Коммодо. Разве служит победа указанием того, когда и где потрудился стоик, следуя своему долгу?

У Серафина Эскобедо было самое плохое мнение о жене и теще, которые исковеркали жизнь его сыну, хотя он и согласился с восстановлением отношений, предпринятым Малым после первого разрыва. Серафин воодушевлял его бороться за Ребенка, взметнув ввысь стяги Подлинной Жизни. Разве не было сигналом к такой атаке его всегдашнее «что-ж-это-такое-сынок»? Разве Малый трусливо сдался? Оставался ли он на высоте законного наследника Серафина Эскобедо или тоже пришел к тому, чтобы стать в худшем смысле слова чем-то вроде Летающего Кота? Если его

мать была лаской, привязанной к вещам, а отец – стоическим и независимым котом, то не было ли в «полете» сына мелочного желания расположиться на каком-то другом уровне и избежать конфронтаций? Не вел ли он себя подобным образом во время идеологической войны на Гуманитарном Факультете? Вина (одна, но разная) и ее нескончаемые вопросы были с ним рядом ночи напролет, роились вокруг его бледного лица, и если левый глаз намечал какой-то ответ, то правый уже терялся за взлетной полосой нового вопрошания, иного сомнения, другой причины Вины, и Бессонница приходила к нему в гости, и садилась на краешек постели, и сидела там до самого рассвета.

Марк Аврелий был бессонником – скороспелым, ранним, – и, хотя и родился в 1950 году, как я, Анхелито и Фредди, он прожил большее время, чем все мы: ночь за ночью он копил годы бодрствования, в то время как остальная Команда спала. «Да, накапливаешь больше жизни, это правда, – сказал он мне однажды, – но жизни оглупленной, морочной, худшего качества».

Нынче и у меня есть круги под глазами и я могу распознавать их под косыми глазами Анхелито Китайчонка и у Чупачупса на его круглом лице. Малый был первым обращенным, а со временем все мы впали в Бессонницу, один за другим, все члены Команды, уже, конечно, распавшейся, но мы до сих пор несем свои круги под глазами как нестираемый знак Бессонницы, как метки, которые имеют на своем горле те, кого поцеловал Мрачный Граф.

Анхелито встретился с бессонницей в Новосибирске в 1972 или 1973 году, только что женившись на русской, – вот докуда дошла в своих поисках эта ночная зверюга в славянском варианте, эта бледная бессонница, резкая, пахнущая водкой, с фигурой здоро-

венного русого дьявола, такого, как тот, что не давал покоя Ивану Карамазову. Чупачупса она коснулась перепончатым крылом здесь, в Гаване, когда ему начала являться Сгоревшая Женщина, когда он порвал с Норкой и ему стал мал Отдел связей с общественностью и распределением, когда ему было необходимо вырасти как молодому и амбициозному кадру. Меня она посетила позже, она припахивала не водкой, а дешевым ромом, являющимся, если верить брошюрам Общества Анонимных Алкоголиков, естественным союзником этого Врага, и я сражался с ней с помощью хлоргидрата, нитразепама, зопиклона, лопразобама, гемитартрата, золпидема, флюразепама и фенобарбитала по отдельности, в чистом виде, или составляя коктейль из валерьянки и фенитоина и даже вдыхая запах цветков липы и других ароматических трав, так что иногда получал несколько часов сна – беспокойного, тревожного, и летучая мышь смеялась, как черт Ивана Карамазова, хотя и не заостренной славянской улыбкой, а более объемной и развязной. Марк Аврелий поругивал меня за химическое решение проблемы, утверждая, что каждый должен сам открыть и вырвать с корнем «глубинную причину бессонницы» или научиться жить в согласии с ней. Фредди тоже критиковал меня и советовал перестать жевать говно (по его словам), потому что все эти таблетки могут «сломать свисток».

Вина пыталась застать Чупачупса врасплох, во время сна, потому что Дневной Чупачупс, бодрствующий, очень умело отражал ее атаки, уклонялся от ударов, мотая головой, передвигаясь с места на место, пряча тело и не давая себе подставляться, словно очень быстрый боксер. Он употреблял все средства, чтобы вытряхнуть ботинки и избавиться от раздражающих колючек. Он редко предавался размышлениям, а когда делал это, то, если его посещали непри-

ятные мысли, он легко менял тему. Это было искусство, которому наш Марк Аврелий очень хотел бы научиться. Умение Чупачупса по своему желанию переходить от одной мысли к другой, его строго избирательная память очень сильно помогали ему. Он, не моргнув глазом, стирал воспоминания о том, что в свое время называлось «дурными поступками»: он выжигал их с помощью серной кислоты, и, наоборот, сохранял так называемые высокие воспоминания, и наносил им макияж, и украшал их, и даже готовил их по вкусу потребителя. Он проскальзывал у Вины сквозь пальцы, извиваясь как угорь. Когда та самая преподавательница физики вновь срезала его на экзамене и он потерял год и получил телеграмму из военкомата, Чупачупс хвастался, что заказал кое-какую чистую работенку одному специалисту из их района. Ворожба вышла на славу: немного спустя злокачественная опухоль приволокла Гестапо к завершению ее издевательств, к концу длинного списка срезанных ею учеников, а также к финалу ее собственного существования на белом свете. Фелито или Ринго Нежный или кто-то другой из Колледжа, не помню кто, увидел Чупачупса в одной из его увольнительных в качестве примерного солдата и вернулся к этому случаю. «Ну ты дал, Фредди, ты же покончил с Гестапо, – что-то вроде этого было сказано Фелито, Ринго или кем-то другим. – Врачи не обещают ей и трех месяцев». Что-то такое ему сказали, но Фредди не понял. И не потому, что хитрил: он просто забыл об организованном им колдовстве, он отказывался представить себе Гестапо в агонии, так что Вина не могла до него добраться.

Старого Корралеса он научился вспоминать подобающим образом. То был один из «закаленных» (так говорили), Кадр, упавший под собственным весом в связи с полным расстройством его крепкой нервной

системы, а тот туманный «несчастный случай» (чью причину или ключ к которому знали очень немногие) был похоронен, мертв и более чем мертв: он стал просто выдумкой, фикцией, чем-то, чего не произошло.

Вина также избегала его в отношении Норки, Ампаро, Прекрасной Зрелой Женщины, которая столько и так благородно ему отдавала, что он возвышался как бы «по ходу дела» и мог смотреть на себя как на прекрасного героя. То, что касалось Норки, закончилось естественным образом, а также потому, что он, Чупачупс, «не хотел быть эгоистом», как он говорил. Если бы он продолжал быть с ней (из удобства или удовольствия), он ограничил бы ее возможности найти одного из этих зрелых и честных мужчин, которые сопровождают на склоне жизни Падающих Звезд, – доброго, нежного человека, который защищал бы Норку, и помогал ей, и старился бы вместе с ней, в ее ритме. Он не чувствовал Вины по отношению к Норке, по отношению к Ампаро, но он признался мне, что до сих пор скучает о ней в постели перед тем, как упасть в объятия сна, и ворочает в Памяти ее Попу, ее обширный залив, вспоминает с ностальгией и парочкой эрекций.

Чупачупс избегал упоминать Тере, ту, что подожгла себя в Утехах Юга, и только однажды, дождливым и тоскливым вечером, когда в него было залито достаточно виски или старого рома между грудью и спиной, он рассказал о ней нам, Марку Аврелию и мне, и мы узнали, как Тере сопротивлялась Оттуда и не соглашалась быть всего лишь *колючкой*: она иногда увеличивалась и не умещалась в ботинке, так что это был здоровый мешок колючек, как рыба-еж, раздувшаяся до шара, или как дикобраз или еще какое-нибудь хорошо вооруженное животное.

Если Фредди вспоминал свое времечко в Пинар-дель-Рио, он представлял себе очень симпатичный

образ, многоцветный, пасторального звучания, с зарослями, стрекозами, лесочком и речкой и длинноволосыми малышками, показывающимися из хрусталя воды, тогда он пытался запечатлеть эту картинку как на курортном фотоснимке, на открытке: Солдат и его Невеста-Крестьянка едва различаются вдали, еле видимые в зарослях со множеством птичек и цветов, похожие на веселую парочку селян, на фольклорный мазок. Но снимок не твердел, не переставал плавиться, и вскоре пейзаж начинал дрожать, темнело, словно перед грозой, и Фредди Чупачупс внезапно обрывал свое общение с прошлым и концентрировался на какой-нибудь Вещи из настоящего, более спокойной и близкой.

Такое ощущение Вины невольно усиливалось с помощью Чаро. Ее дар медиума, провидца, сильно укрепился из-за тех страданий и одиночества, которые она испытывала после переезда Нико Лаферте к Другой. Она стала видеть чаще и лучше, чем раньше, силуэты, проплывавшие как дуновение ветерка, и маски эктоплазмы – улыбчивые, или грустные, или с суровым выражением.

Но было одно явление очень настойчивое, очень отчетливое, представавшее перед ней по два, три и даже четыре раза в неделю, когда Чаро, без сна, после полуночи располагалась в кресле и занималась вязанием или какой-нибудь книжкой Кардека, а Национальный Гимн объявлял о завершении передач телевидения. Это была пылающая фигура какой-то женщины, которая медленным плавным движением пересекала весь дом, от кухни до дальнего угла залы. Она видела это, рассказывала своему сыну и тем самым взращивала его вину, и покрытое иглами животное (рыба-еж или дикобраз) увеличивалось в объеме и весе, твердело и напирало как огромная скала на Чупачупса, так что почти замораживало его переменчивую структуру. «Какая настойчивость у

этой бедняжки, – комментировала Чаро, – что за бедная Душа».

Это было удивительно: мать рассказывала ему об этих явлениях, а Фредди даже не пытался сбежать или поменять тему. Он оставался неподвижен, как крыса, загипнотизированная колдуном, он задавал вопросы и требовал деталей о вспышке миража, о причудливой траектории движения этого привидения: каким был путь пылающей женщины, как она выходила из кухни и плавно скользила сквозь стол в гостиной и через другие предметы, как она останавливалась в углу залы и претворялась сначала в розоватое облачко, потом в газовые нити, а потом в ничто.

«А не может ли быть, старушка моя, что в этой комнате прежде жила какая-то женщина, которая подожгла себя, а теперь не знает покоя и просит отслужить мессу или исполнить какое-то ее невыполненное обещание?» – так спрашивал Чупачупс, кусая губы своими остренькими зубками.

Чаро была растеряна: она, профессор Мариньо и другие кардесисты Поголотти, авангард и «массы» не могли понять, кем был при жизни этот дух. Его вызывали на нескольких заседаниях кружка, просили его проявиться, чтобы узнать его горести, выслушать просьбы и желания (если они были), но он никогда не давал сигналов о своем присутствии. Пытались использовать как посредника Духа-проводника, но Сгоревшая Женщина не соглашалась предстать и перед ним. «Дело в том, что от нас ушла эта гадина Нена, – все жаловалась и жаловалась Чаро. – Мы могли бы все выяснить через Страдальца, – говорила она, – он никогда не оставлял нас без ответа, без своего совета. А может, Сгоревшая проводит сейчас веселые денечки с Неной, которая, правду сказать, была самой лучшей, я не знаю никого с такими медиумическими способностями, как у Нены».

Восьмидесятилетняя старуха из «бывших», присутствовавшая при самой закладке района и видевшая, как он рос и заполнялся людьми, помнила в деталях все поколения, жившие в этом здании, в этом квартале и даже на нескольких соседних улицах. В квартире 3-В на первом этаже в 1941 или 1942 году повесился один железнодорожник, а несколькими годами позже на заднем дворе дома напротив ревнивый муж нанес двадцать пять ударов ножом своей жене. Была также одна девушка, почти ребенок, жившая в двух кварталах отсюда, она пошла на пляж и утонула. А еще одна выпила целый флакон сальфумана, а одну старушку задушили галстуком и украли видеоплеер, а несколько месяцев назад сын Качиты в стычке в баре на углу («хороший мальчик, он ни во что не совался») получил случайный удар металлическим штырем, слепой как судьба, который отправил его напрямую в интенсивную терапию, а оттуда из состояния комы он, не задерживаясь, перешел во Мрак.

На памяти района было мало Огня: Чаро не находила сведений о Сгоревшей Женщине, ей в голову не приходило, кого еще можно расспросить. Ее беспокоило чрезмерное любопытство сына в отношении одного из этих духов, не имеющих отдохновения. Боже мой, Фредди... конечно же, он вызывал зависть у плохих людей, которые могли подсунуть ему вот такого темного мертвеца. «Почему тебя, сыночек, так занимает эта Сгоревшая Женщина?» – спрашивала она, гладя его по головке с Ровными Волосами. «Да вообще-то, ни почему», – отвечал Чупачупс, дрожа и потея и не понимая, всеми святыми, как же это Тере (если речь шла о Тере) удалось добраться до Поголотти, до самой-самой квартиры его матери, чтобы представать ей в этих видениях. Она должна была бы делать это на своей земле – на холме, или на берегу реки, или на кладбище в Утехах Юга. Существует

только одно объяснение: ей хотелось достать его, омрачить его счастье, нарушить сон и Продвижение, давая простор Вине. Была ли Тере, Самоубийца, той, что прерывала и два, и три раза за ночь покой Чупачупса? Амарилис тоже просыпалась и зажигала свет, когда ее муж подскакивал на кровати и произносил что-то жалобное и садился, задыхаясь. «Фредди, Фредди, – говорила Амарилис, – это тебе всего лишь приснилось», – говорила она успокаивающим материнским тоном, таким же, какой был бы у Чаро или у самой Норки-Ампаро, и гасила свет, и тут же невероятно быстро засыпала, как бы выключаясь вместе с лампочкой. А он продолжал сидеть в темноте на кровати, и как раз в эту минуту по нему проходила двойная волна злобы – по отношению к Тере, которую он винил в своем испуге и агонии, и по отношению к женщине, лежавшей рядом, к Амарилис, оставившей его одного в такой ужасный момент. Чаро и Норка-Ампаро забыли бы про сон и говорили бы ему что-то ласковое, пока у него не успокоились бы Тело и Обе Души и к нему сладким дуновением не возвратился бы сон. Может быть, Норка-Ампаро спела бы ему на ушко песенку или распахнула перед ним свой восхитительный пляж, где развеивались все Страхи и Вины.

Ночные бури, от которых страдал Чупачупс, можно рассматривать как проявление Бессонницы второго типа, с присущими ей частыми пробуждениями и тревожными подскакиваниями на кровати. Бессонницей более классической, первого типа, страдали я и Марк Аврелий. Она заключается в обостренной трудности достичь сна. Третий тип (так называемая предрассветная или сельская бессонница) заключается в слишком раннем пробуждении. А четвертую бессонницу можно назвать Тотальной, Обобщающей, в силу сочетания в ней всех вышеуказанных расстройств сна. Славянская бессонница, мучившая

Анхелито и Ивана Карамазова, может воплотиться в любом из четырех описанных выше типов. Когда, например, она поразила Анхелито в Новосибирске, она явилась Предрассветной или Сельской (дьявол, переодетый мужиком), а потом, после возвращения своей жертвы на Кубу, она стала более часто использовать проявления первого типа.

Для Марка Аврелия было сюрпризом открыть семейные связи, объединившие нашу Команду по прошествии стольких лет: бессонница роднила нас, она была нам общей матерью по ночам. А может, это Летучая Мышь использовала нас, чтобы взращивать другую команду, свою собственную Команду?

Красавица Лурдес по причине развода тоже присоединилась к Команде бессонных и, по ее признанию, была жертвой бессонницы Четвертого, тотального типа, «худшего из всех», говорила она не без гордости. «Худшая – это моя», – так она говорила, и не растрачивала впустую то самое время «сверх того», а использовала его на составление списка тех, чье местоположение уже выяснено, и тех, кого она вот-вот должна была «засечь», и частенько занималась этим на рассвете, приговаривая «на добрую память».

Амарилис, напротив, могла спать десять, двенадцать, пятнадцать часов кряду, «как грудничок», говорила она, не представляя себе грандиозность этого дара. Она не была дочерью ночи, как бессонные Марк Аврелий и Фредди, как Анхелито, как я, как Лурдес, а получала более снисходительное отношение со стороны Богини в Трауре: ночь ее укрывала, успокаивала ее сверчков, ее сов, всех ее букашек и зверьков, и поворачивалась к Амарилис своей лучшей стороной, лицом невинно спящих, и в этом она была вдвойне счастлива, получая самые приятные дары от Дня – сияние солнца, никогда ни в чем не виноватого, а от Ночи – ее восстанавливающее расслабление.

21 СБОР КОМАНДЫ В ДЕВЯНОСТЫЕ

– ...Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: «Како веруеши, али вовсе не веруеши?»

Ф.М. Достоевский.
Братья Карамазовы

Без стараний и энтузиазма Красавицы Лурдес, без ее страстного желания вернуть прошлое, без ее твердого отказа признавать закон распыления и забвения никогда бы не была организована встреча Команды в девяностые годы. Мы не объединились бы вновь через тридцать лет после ее основания, мы, четверо членов Команды (почему бы и не повторить этого?), самой известной в Колледже Марианао, не смогли бы вспоминать наши веселые вечеринки и лекции Малого, и эта книга не была бы написана. Наш Сбор не следует рассматривать как изолированный факт. Он был частью стратегии, плана, миссии или как угодно еще называйте, который Лурдес проводила в жизнь в девяностые. Она неустанно плела сеть, паутину, запускала свои нити во все жизненно важные объекты и достигала самых отдаленных мест. Она соединяла, связывала, стыковала ветеранов Колледжа («людей из Колледжа», говорила она) и не позволяла нам «терять контакты» между собой, между тем, кем каждый из нас стал, хотел или пытался стать в настоящем, и тем,

кем он был, хотел или пытался стать в старые добрые времена.

«Мы не можем терять связь», – неотступно настаивала Лурдес и поэтому очень обрадовалась, когда узнала, что Марк Аврелий обосновался в Комнате с Видео, что он, как и она, нашел себе прибежище у семейного очага Фредди и Амарилис, среди друзей по Колледжу, по юности. Она не ревновала его к ним, а наоборот, ощутила прилив радости, дрожь, восторг того, кто смутно различает на горизонте Утопию: Малый тоже становился «как член семьи», и кто знает, быть может, они четверо (Амарилис, Фредди, Лурдес, Марк Аврелий) смогут образовать, сами того не подозревая, высшую форму семьи будущего. «Мы создадим Конструкцию объединенного, возвышенного семейства, – воздыхала Красавица перед Амарилис, ее самой преданной слушательницей, – семьи, которая будет держаться на дружбе, а не на сексе и притворстве, не на ложных и мелочных основах». В такие минуты Словесный поток Красавицы стихал, она становилась мечтательной, ирреальной, она покоилась в тихой заводи, она позволяла себе расслабиться, устраивала передышку, и дракон ее кашля смягчался, засыпал, и воодушевленная Лурдес отдавала товарищам по Колледжу право на роль «зародыша», роль «фермента». Но вот она вновь начинала фантазировать, словесный понос усиливался, *ma non troppo* (но не слишком), и Дракон начинал приоткрывать веки, а Красавица говорила о новой ячейке общества, свободной от пережитков традиционной буржуазной семьи и далекой от грязного сожительства (так она говорила) общин хиппи, в которых даже не дознаешься, от кого чьи дети, говорила она. Семья духовно юная и здоровая, готовая побороть любые удары судьбы – как сверху, так и снизу, – преодолеть утраты и преобразования, поражения и распады и готовая

также к тому, чтобы с успехом отражать «вмешательства».

Лурдес относилась к нам, людям из Колледжа, со смешанным чувством причастности, гордости и мистицизма: она представляла нас в чем-то избранными, хранителями священного огня искренности и памяти. Хотя, по правде говоря, в девяностые годы все мы ощущали себя очень непросто, мы пребывали в напряжении, и думаю, только она одна занималась сохранением такого рода Вещей. Это была единственная паучиха, ткачиха, единственная жрица, посвятившая себя поискам тех, кто учился в Колледже Марианао между 1964 и 1967 годами: она искала их следы, вынюхивала и ходила по их тропам (зачастую очень извилистым), доставала их адреса и телефоны, сводила друг с другом, навещала, многих отлавливала и как мух запеленывала в кокон, организовывала вечеринки, праздники и встречи и даже спасла эпистолярный жанр: ее слово, ее послания неслись через весь город, через весь остров и пересекали океан. Лурдес захватывала врасплох тех, кто жил в настоящем как бессмысленные и слепые рыбы, она трясла и пробуждала их Разумные Души, она помещала перед их глазами недавнее прошлое, которое все люди на свете (кроме нее) оставили далеко позади.

Одинокая, разбитая, бесплодная, со своими скромными ресурсами, Лурдес не смогла бы полностью нести на себе столь высокую миссию, не имей она, к счастью, моральной и материальной поддержки Амарилис. С согласия Чупачупса она устроила в доме на углу 62-й и 19-й улиц свой оперативный центр, точку, откуда тянулись нити паучихи.

Очень часто Чупачупс возвращался домой «загруженный», да, «выжатый», говорил он, и Тело требовало от него двойного или тройного «Старого рома» или виски, чтобы «расслабиться», говорил он, и смер-

чем врывался на кухню в поисках льда, стакана, бутылки с драгоценной жидкостью, и находил там Лурдес и Амарилис, причем Лурдес выглядела *слишком* веселой. Они готовили, например, мусс из манго или паштет из авокадо по-мексикански, хотя он даже не был ни мексиканским рецептом, ни кубинским, ни из какого другого места конкретно, а единственно – способом унизить авокадо, низвести его до аморфного и бессмысленного состояния, так что улыбка Лурдес не обманывала Чупачупса. Он мог предвосхитить с точностью до буквы ту новость, которую Красавица готова была выдать ему немедленно, уже выдавала: «Мы обнаружили Кари, – радостно заявляла она ему, – ту мулаточку в очочках, которая была подружкой Фелито на втором курсе». И он требовал подробностей, и изображал интерес, и морщил лоб, демонстрируя умственное усилие.

Первый глоток он делал залпом. «Поглядим, прояснится ли в мозгах», – говорил он и спрашивал о какой-нибудь еще подробности, а через минуту хлопал себя по лбу и врал, утверждая, что точно, вспомнил сейчас эту Кари. А днями позже, как-то вечером, на посиделке, устроенной для Кари, напрямую врал какой-то незнакомой женщине: «Да, как же, я рад тебя видеть, Кари, как мне тебя не помнить!» И Красавица аплодировала в восторге, с детской улыбкой и дрожанием накладных ресниц. А Амарилис смотрела на Фредди и своим огромным и нежным взглядом благодарила его за снисходительное отношение к Красавице. «Вот как разошлась, зараза! – комментировал Фредди Марку Аврелию и понижал голос. – В прошлом месяце мне пришлось принимать троих таких вот «разысканных», – говорил он и шепотом заверял: – Лурдес с ума сошла, потому что Чудовище бросил ее – либо за увлечение лунной диетой и упражнениями, либо за чересчур длинные волосы, или за вылезший

горб, или за дурной запах, или потому, что на нее навели китайскую порчу, или еще за что, а вот Амарилис пожалела ее, Амарилис просто сплошное сердце, она ее подобрала, но меня задолбало это ее «разыскала», что за наглость: как будто в этих поисках участвовал наряд полиции или оперативников. А «разыскивает» именно она, с энергией экскаватора раскапывает мертвецов, вытаскивает их невесть откуда, из самой глубокой могилы, и усаживает у тебя в гостиной, и ты не знаешь, что им сказать, а они не знают, что сказать тебе. – Так говорил Фредди и завершал: – В дурдоме многие, очень многие ведут себя приличнее, чем она, видит бог, значительно лучше».

Малый не верил, что Красавица на самом деле могла быть дурой или сумасшедшей, но, безусловно, она была «неуравновешенной», однако ему было неинтересно полемизировать по этому поводу. Согласно его стоическому взгляду на жизнь, столь чувствительному к преувеличениям, он не принимал мистику прошлого и мистику Колледжа, которые так фанатично отстаивала Лурдес в качестве знамен ее миссии. Тем не менее он считал их более предпочтительными, чем грустная мистика настоящего, набравшая такую силу в девяностые годы, что ей поклонялись все рабы Ложного. Ему также не очень хотелось ассоциировать чувство (очевидное), которое Амарилис питала к Красавице, с идеей «жалости»: в жалости имеется неясный компонент, который приводит к деградации того, кого жалеют, а также – неизбежно – тех, кто жалеет. Он отмечал необыкновенную искренность в Амарилис, в каждом из ее поступков, жестов, в редких ее словах, вплоть до плавной манеры двигаться по дому. Она была так пряма и последовательна в своей поддержке подруги, что «жалость» необходимо было исключить. Она, Амарилис, думал Малый, чем больше делала счастливым кого-либо – Лурдес,

Фредди или любого другого, – тем большую приобретала притягательность и нужность. «Чистое сердце»? Да, безусловно, да, но было что-то еще, остававшееся скрытым от глаз. Как разгадать, спрашивал он себя, моральное устройство Амарилис? Какова его масса, его плотность? Как описать его форму, его содержание и его границы? Амарилис была так же далека от вериг стоиков, как и от пузырьков пены на губах (свойственных идиотичным детям), с которыми отстаивают свои интересы рабы Ложного. Так думал Марк Аврелий, наш, из Колледжа, и все больше давал себе отчет в том, какое место стала занимать Амарилис в его Разумной Душе.

Эта история с Разысканными и Красавицей также послужила ему, чтобы определить, насколько Фредди любил свою жену. «Я терплю весь этот говнистый поток только из-за Амарилис, – говорил Фредди. – Я все что угодно сделаю ради Амарилис». И Малый восхищался действием, производимым на мужчин любовью.

Так, когда Красавица предложила организовать Сбор команды в 90-х, она тут же получила поддержку Амарилис, а пять минут спустя – Чупачупса. Марк Аврелий был проконсультирован самой Красавицей, которая зашла к нему в Комнату с Видео, неся самое любезное и дипломатичное выражение на лице, а на подносе – весьма необычную закуску: апельсиновый сок, тосты с паштетом из авокадо по-мексикански и яйца, начиненные этой же пастой. Стоик, никогда не спускавшийся на субботние праздники и никогда не приветствовавший людей из Колледжа (разысканных), отшельник, пещерный человек, затворник, как говорил Фредди, согласился участвовать в Сборе. «Я с вами», – сказал он, и Лурдес едва не поцеловала его в тощие щеки, и скатилась по ступенькам вниз, чтобы сообщить Фредди и Амарилис о результатах своего

предприятия: «Он выпил два глотка сока и даже не попробовал бутербродов и яиц, но сказал «да», чтобы его имели в виду, сказал это очень мило, он сказал «Я с вами», так что я чуть его не поцеловала».

Фредди принялся хохотать и поздравил Красавицу и не слишком прилично пошутил о Возврате отшельника: какую бы замечательную службу сослужила Красавица, если бы помогла ему почаще выходить из затвора и из запора. Он зашелся смехом, поперхнулся, и Амарилис постучала его по спине своими крошечными кулачками.

Для Фредди Чупачупса домашний паштет из авокадо по-мексикански был вульгарной профанацией, но в то воскресенье он был способен съесть все что угодно. Он размазывал пасту по хлебу ножом и пальцами, он пожирал бутерброды и фаршированные яйца, он сопровождал свой перекус полубутылкой «Старого рома» – он не был пьян, но «доволен», говорил он, и заставил Красавицу и Амарилис тоже выпить глоточек за Команду, и объявил, что готов поддерживать Воссозданную Команду всеми имеющимися средствами и что он предоставит помещение, музыкальную аппаратуру и все нужное для обеспечения праздника, так чтобы Команда стала частью Настоящего и получила уголок в Будущем.

Сбор назначили на следующую неделю, в пятницу, в девять вечера, и Красавица взялась за то, чтобы официально пригласить Анхелито Китайчонка и меня. Помню, она позвонила мне на работу, назвалась полным именем и фамилией, и добавила, что в Колледже она была «девушкой Эриберто», Лурдес-которая-с-Эриберто, сказала она, и я вновь увидел этот двуглавый вызывающий образ, где все уродливое и низкое Чудовища прилеплялось, приставало к самой совершенной Красоте. «Анхелито и Марк Аврелий уже дали согласие, – уверила она, и ее голос по телефону

звучал взволнованно и молодо. – А Фредди – это наш гостеприимный хозяин, так что мне оставался только ты», – сказала она с восторгом, словно подросток, получивший от очень строгих родителей разрешение собрать свою первую вечеринку.

Естественно, это не могло принести плодов – по крайней мере таких, каких хотела Лурдес: тридцать лет не проходят даром, и мы уже не были четырьмя парнишками из Колледжа Марианао, объединенными застенчивым любопытством перед загадками мира и инстинктивным желанием взаимной защиты, сплоченными музыкой и тем долгим временем, которое имелось у нас для того, чтобы его можно было терять. Сейчас все мы (кроме Марка Аврелия, только что разведшегося) были женаты, все (кроме Фредди) волновались о детях, все (без исключения) были чем-то озабочены; мы сражались в братстве Бессонников и были отмечены полагающимися нам кругами под глазами.

Я прибыл на встречу с женой, Анхелито привел свою (русскую, из Новосибирска, которая с огромными трудностями адаптировалась к Кубе вот уже три или четыре года), а также захватил дочку (родившуюся в Новосибирске и пересаженную потом на Шоссе имени 10 октября), принес он и нейлоновую сумку, набитую кассетами.

В то время мы с женой представляли собой довольно пристойный образец Семейной гармонии и старались хорошо играть на публике свои роли. Святое семейство, состоявшее из Анхелито, Русской и Руситы, казалось, наоборот, было перенасыщено токами, искрами, зарядами, проносившимися без устали между девочкой и родителями и поражавшими все вокруг.

Красавица вместе с Чупачупсом и Амарилис входила в комитет по приему: согласно протоколу Сбора,

Лурдес должна была сопровождать гостей в зал и устраивать их в плетеных никарагуанских креслах или на диване и предлагать им первый глоток. «А потом, господа, сами знаете, каждый наливает себе все что угодно», – говорила она и была очень довольна собой, была горбата и стара и представала в полном блеске своих метаморфоз.

Чувствовал ли Анхелито то же самое, что и я, по отношению к спектаклю (невероятному), устроенному Красавицей в девяностые? Полагаю, что да, хотя на этом вечере внимание всех было устремлено на Руситу, девочку из Новосибирска. Светлые волосы, по-негритянски курчавые, вызывающе вздернутый нос, чуть зеленоватая кожа мулатки, покрытая веснушками, миндалевидные навыкате глаза светло-голубого цвета, и голос, боже мой, голос как у лягушки. Она не была в полном смысле полукровка – из тех, что выгуливают по миру свою глубоко скрытую красоту, нет, это не была полукровка: это было нечто иное, какой-то новый вид, неизвестный доселе. Я понял, что Китайчонок долго боролся с самим собой перед нравственным выбором: спрятать от нас этот плод своего брака (он не мог не замечать реакцию, вызываемую девочкой) или поместить ее в эпицентре нашего Сбора. Я понял, что только неприятие им скрытых позиций, приверженность правде как лозунг и мужественное противостояние как стиль поведения склонили его выбрать второй путь.

Всех нас потрясла Русита, все мы разглядывали ее в течение вечера и быстро выработали к ней стойкое отвращение, а в Разумной Душе Чупачупса (как кажется) она оставила самый заметный след. Русита принесла ему из Новосибирска некое послание: ведь есть же неведомые законы, неожиданно заводящие тебя в закоулки Прошлого (так называемый «прыжок назад») именно тогда, когда ты чувствуешь себя на

противоположном пути, то есть на пути Продвижения; или ты можешь незримо двигаться вперед, хотя своими внешними признаками тебя отмечает движение назад, и наоборот (продвигаться во внешнем плане, в то время как в существе своем ты переживаешь Регресс), а может быть, различия между Продвижением и Возвратом уже стираются, поскольку становятся ненужными для суждения о подлинном росте людей и Вещей.

Фредди служил живым примером многих разновидностей Летающего Кота, хотя, думаю, он был менее всех нас подготовлен для ясного понимания его сюрпризов. Его разум шнырял туда и сюда с огромной скоростью, он извивался и кипел и натыкался (к несчастью) на стеклянные границы квадратного аквариума – всего лишь линейное, механистичное представление о Продвижении; а сутью была догма, которую Чаро посеяла в нем.

У Анхелито дедом со стороны отца был молодой кантонец (из Гуанчжоу), голодный, призрачный крестьянский ребенок, который соединился на Кубе с красивой негритянкой, с круглой и гордой Попой, эта женщина происходила, по ее словам, от царя йорубов, покинутого своими богами и проданного в рабство. Отец Анхелито (гибкий китаец-метис, стройный, с тонкими чертами) зачал своих детей с одной белой женщиной, происходившей с Канарских островов, не слишком красивой, но сильной и плодовитой, с широкими костями, которая твердо ступала по земле. Таким образом, у его первенца (Анхелито) африканская кровь прошла поверху, как легкий ветерок, смягчая китайские и островные шипы, и это смешение не пустило в завитки его Длинные Жесткие Волосы и не повредило его фигуре азиатского рокера. Теперь, когда Анхелито соединил свою весьма размытую кровь с далекой кровью славян, белокурых людей,

вышедших из лесов и снегов европейского востока, все притоки перемешались, и проросла, как по волшебству, самая страшная из метисок. Реально, единственная решительно некрасивая метиска из всех, кого видел Чупачупс. В Русите не просматривалось ни элегантной чувственности йорубов, ни размеренного и остраненного стиля прадедушки из Кантона, не было и твердости канарской бабушки. Возможно, славянское варварство охотников на медведей спровоцировало бурную химическую реакцию, и дикая сторона Черной Африки предстала незыблемо и неумолимо, как Мефистофель, а с ней всплыла на поверхность дряблая порочность курильщиков опиума и злобность ведьм, пришедших с Канарских островов, и все грехи и пороки предков Анхелито кипели и воплощались в этом невероятном существе. Русита была результатом не простого «прыжка назад», а целой хаотичной последовательности прыжков, искажений и рикошетов. Отступление достигло в ней высшего совершенства, абсолютной «несравненности».

«Ты посмотри, какая гнусная фатальность, – философствовал Чупачупс через несколько дней. – Уехать, чтобы встретить женщину там, в такой дали, в чертовой трущобе, в России, в Новоси-не-знаю-как, и чтобы эта женщина родила тебе *Этакое*, да еще и вернуться с подобным сюда. И вправду, этим могла распорядиться только судьба», – говорил он.

Фатальность, судьба или случай, но Русита превратилась в ось, в Ось всего Сбора, вокруг которой вращались узлы беспокойства (казалось, их можно было потрогать), и нам стало трудно воспринимать Красавицу, и ее словесный понос с кашлем, и ее Доклад о старых учащихся Колледжа, которых она сумела разыскать. Знаменитый Пепе Колирио в девяностых стал толстым и лысым мужчиной, томившим-

ся без внимания поклонниц в каком-то подразделении Таможни. Мариса, чемпионка округа по пинг-понгу, также очень красивая и очень известная, а как иначе, соединилась с шофером, работавшим на 195-м маршруте, завела с ним двух детей и воспитывала их (счастливая) недалеко от остановки Гуанабакоа. Ринго Нежный много ездил в Испанию от компании, экспортировавшей какие-то Вещи, и в одной из этих поездок решил экспортировать самого себя и попросил политического убежища, а потом переехал в Майами. Тони, так здорово шутивший, и Эленита, одна из тех, кто ходил с Фредди в «Амбассадор», также расположились в Майами. Сестра Ринго – Марилу – закончила медицинский и теперь работала в Ортопедии на Ковадонге. Фелито переехал в Камагуэй, на ранчо, к дедушке и бабушке жены, и все еще устраивал любопытные представления в сельском казино и таким образом соединял (не предполагая того) праздник городской с деревенским. Бетти, бывшая девушка Анхелито, никуда не сдвинулась и сейчас держала весьма процветающую закусочную в том же доме, который так часто посещала Команда в былые времена. Кари разводилась три раза и жила теперь (с матерью) в Санта-Фе, а по работе «находилась» в Сучеле. Толстая Луиса была в руководстве Профсоюзов провинции, Хосе Рауль из Коммунистической Молодежи, материалист и диалектик, получил Зов Свыше и подался в семинаристы, а потом был рукоположен в священники. А Арментерос, чистенький лизоблюд, руководитель милиции в Колледже, дошел до потрясающего поста в Министерстве Туризма, но услышал Зов Снизу и «стал нечист на руку», как тогда говорили, и сейчас находился за решеткой. А Татьяне, самой тупой, которая не понимала даже порядковых числительных и вообще ничего, ей пришел Призыв от Минервы, и она сделалась умной и

получила в Болгарии звание Доктора Наук. А Бенхамин, который с раннего детства был феминизированным, продолжал быть им, и никто его ниоткуда не призвал, а работал он частным парикмахером. Завершали список Андрес, Андресито, тот блондин, мускулистый, подвижный, известный своею меткостью и резким ударом носка ботинка, который он направил ректору на выпускном вечере, и Ремихио Дурачок, известный также как Ремихио Зубастик, который был официальным ударником «Лос Чикос дель Коней» – оба они «находились» под каменной плитой, уже навеки, в Репарто-Бокарриба (в списке тех, кто кверху брюхом): Ремихио в Пантеоне Героев (он погиб в Анголе), а Андрес, Андресито, в скромной могиле инфарктников.

Красавица не упомянула Эриберто, Чудовища, хотя ни на одну минуту не теряла его «местоположения». Позже Чупачупс нам расскажет, Марку Аврелию и мне, что Чудовище ждал второго ребенка от своей страшненькой, и сейчас хотел девочку, чтобы составить пару, и зарабатывал на хлеб в районе Серро, в Отделе Культуры, и продолжал быть примерным мужем и отцом семейства, из тех, что поднимаются по утрам с желанием жить, и ведут ребенка в кружок, и являются примерными трудящимися, и с радостью принимают обязанности ответственного за профсоюзную стенгазету и всякие другие поручения – административные, партийные, профсоюзные или какие угодно. «Если человек счастлив в кругу своей семьи, – теоретизировал Малый в отношении Чудовища, – он выигрывает и в социальном плане: он более полезный член общества». Так он говорил, и никто не осмеливался оспаривать это.

Лурдес не хотела говорить ни о Чудовище, ни о себе самой и только позволила себе небольшую реплику в отношении возможных детей нашего поко-

ления, которых мы не имели, которые бродят в сумерках Потенциального. Она пережила и болезненный развод, и разрушения, и метаморфозы, но она не была побежденной женщиной. Она вкладывала много горячности и веры в выставление себя напоказ, правда, не имела большого успеха: присутствующие не понимали моральной, философской и духовной ценности происходящего. Поскольку она не была кокеткой, ей не хватало жестких, пикантных, вкусненьких деталей, подпитывающих романистику и тупой интерес аудитории.

Она хотела, чтобы Команда слышала, чтоб услышали мы все дыхание прошлого, которое вырастало и жило рядом с нами, чтобы Команда вновь ожила, чтобы мы вместе снова открыли область наших сообщающихся Разумных Душ, которые были погружены в бесконечный летаргический сон. Мы не были готовы к урокам такого толка, и у нас сквозь пальцы слишком быстро протекал этот поток видений, созываемых Красавицей, и мы отказывались признавать его реальность. Поэтому, по прошествии времени вспоминая ту встречу и называя ее «неудавшейся», мы преувеличивали вредное влияние Руситы: как она нас постоянно отвлекала, как мешала нам смотреть в былое, а вернее, по сторонам, как по ее Вине вновь незаметно убегало от нас наше прошлое, которое Красавица представила нам вживе.

Амарилис вперялась в Лурдес своими невероятными глазами и внимала: ее глаза совершали чудо и могли не обращать внимания даже на Руситу. Уверен, что она слышала этот доклад в четвертый или пятый раз, и не думаю, что он был ей интересен. Она слушала Красавицу «из жалости», как полагал Фредди, или из вежливости, или потому, что никто больше ее не слушал.

Закончился доклад, и мы прибегли к средству,

часто употребляемому и, как говорят старики, очень помогающему, когда собрания или вечеринки истощаются и идут на спад: к тому, что определяется как Пора Неожиданных Связей. С деланым удивлением, мы открыли, что наши матери – моя и Лурдес – были из Санта-Клары и что очень возможно, наши семьи были знакомы и даже могли быть связаны по какой-то генеалогической ветви. Нам открылось также, что директор Исследовательского Центра, в котором работал Анхелито Китайчонок, был не кем иным, как симпатичным и деятельным отцом Джамилет, невесты Ребенка Марка Аврелия, и что Чаро, мать Чупачупса, ходила в Социальный Центр «Хесус Менендес» на курсы кройки и шитья, где преподавателем была тетка моей жены (носившая звание Заслуженной Портнихи), и мы узнали, что в далеком и холодном Новосибирске теща Анхелито, бабушка Руситы, ушла в Небытие по причине так называемой Смерти из-за распада тканей в декабре восьмидесятого, в тот роковой месяц, когда в те же самые дни умирал Серафин Эскобедо, причем от той же самой болезни, и вот здесь, в тропическом Марианао, она унесла из жизни отца Малого.

Среди стольких «превратностей жизни», как нравилось говорить Норке де ла Торре, была одна, привлекавшая меня особенно: это относилось к знаменитой пластинке Саймона и Гарфанкеля 70-го года, если не ошибаюсь, последнему диску дуэта перед Разделением. Мне пришла на память одна девушка из полурока, «мягкая рокерша», некая разновидность «попутчицы» в той самой компании хиппи из Кармело, бывшая, кроме того, типичной Папиной Дочкой: она хвасталась своей коллекцией записей, и особенно первым пришедшим на Кубу экземпляром (отец привез его Оттуда) песни «Мост над кипящими волнами», представленной Саймоном и Гарфанкелем для

благоговейного прослушивания любителями «сладкозвучного» и отвержения «жесткими», такими, как Анхелито, и эта девушка гуляла по Кармело с пластинкой под мышкой и заставляла долго упрашивать себя, перед тем как показать, и еще дольше – прежде чем она могла бы очень осторожно передать ее из рук в руки, как некий трофей. К моему удивлению (теперь подлинному), этот экземпляр пластинки, именно этот, находился в доме у Чупачупса. Не было сомнений: на ее захватанном конверте читалось имя Папиной Дочки, написанное синими чернилами с подростковым эгоцентризмом. Я не справился с искушением задать один вопрос, потом другой, и Дочкин Папа оказался не кем иным, как крестным отцом Чупачупса, влиятельным человеком из Министерства Торговли. Как получилось, что эта пластинка попала в руки Фредди? Может, была мимолетная любовь между наследницей покровителя и самим Чупачупсом? Этих вопросов я не задал (они были не к месту) и не вернулся к ним позднее, наедине с Чупачупсом, так что я оставил это чудо в неприкосновенности. В тот вечер я ограничился тем, что изучил потертую и мятую обложку, на которой маленький Саймон и гигант Гарфанкель составляли редкостную пару. Это была пластинка-реликвия, первая пришедшая по *Мосту* на Остров, да, «трофей», говоривший о прошлом более красноречиво, чем сказал бы любой из нас. Но мои манипуляции ни к чему не привели: один я заинтересовался этой находкой. Остальные оставались каждый сам по себе, и я заметил какой-то спазм у Лурдес, у Красавицы-Чудовища девяностых, которая так страстно желала, чтобы все получилось хорошо.

Был еще, что можно было предугадать, некий политико-социальный момент, также не способствовавший течению диалога. Анхелито Китайчонок заго-

ворил о Стене, о ее разрушении или падении, о распаде «того», сказал он, и его жена, конечно же, подумала о «том» и позволила себе вздох по-достоевскому, и Русита толкнула стол (случайно?), и бутылка виски повалилась, покатилась, сорвалась, и Фредди смог спасти ее элегантным броском руки, чтобы падение не привело к разрушению. Он не разозлился, а рассмеялся и показал на пол, на лужицу драгоценной жидкости, и сказал, что духи испытывали жажду, вот и потребовали этого.

Лурдес и Марк Аврелий Малый пережили распад своих браков, Чупачупс – брака своих родителей, Команда в полном составе присутствовала при падении Тамакуна, а Малый и я – при падении Ларсена в «Гавана Либре», а Малый (один) – при падении вуайериста, подглядывавшего в Городе Свободы, а Чупачупс – Корралеса в Минторге и Чаро, когда ее оставил Нико, а потом Наны, низвергнутой Чаро, и все мы видели, как распадались «Битлз» и «Лос Чикос дель Коней», и дуэт Саймон и Гарфанкель, и сама Команда, и видели падение Леннона, Дженис Джоплин, Гестапо, Серафина Эскобедо и стольких других, оказавшихся в руках Той, Что Не Прощает, и видели, как пускалась во все тяжкие публика, выглядевшая непорочной, и как опадали Попы и Груди стольких хорошо сложенных девушек нашего поколения, и мы наблюдали и переживали многие другие поражения, распады и падения, но Анхелито был исключительным свидетелем главного поражения, главного распада: он наблюдал за катастрофой своими собственными глазами и трогал своими руками развалины Стены и всего «того», и сейчас он привез *обломки* и выложил их перед нами, и мы знали, что эти останки прибыли «оттуда», но ощущали их немного своими, и нам было больно, и Анхелито заговорил тогда о «здесь» и об «этом», и упомянул о «Вещи», он сказал: «Самое

трудное, что есть эта Вещь», и это не относилось к Вещи вожделенной, которую можно купить за доллары в шопинге или за Границей, к одной из тех Вещей, которые несут на себе как знамя, с гордостью или унижением, фабричную марку («Тойота», «Феникс», «Адидас», «Орбита-5»), он имел в виду Вещь, ситуацию, нынешний день Острова и всех нас, нашу судьбу и судьбу Острова.

«Не пудри мозги, Китайчонок, – сказал Чупачупс раздраженно, – поставь музыку, и нечего портить нам вечер», – сказал он и налил себе полстакана виски, и я плеснул себе и (хотя и знал, что вечер уже испорчен) поддержал линию Чупачупса; но Марк Аврелий, Малый, наш, после глотка своего разбавленного рома принялся говорить о «здесь» и «теперь» и о Вещи, попутно критикуя «уклончивую позицию» (то есть Чупачупса и мою), и мы различили как в его хорошем, так и в плохом глазу вопрос, который нашел Иван во взгляде Алеши («имеешь ли веру или не имеешь?»), он попытался заставить нас смотреть на Вещи по-иному, более глубоко, чтобы мы не затерялись в поверхностной и фрагментарной зоне, и таким образом приблизить нас к «глубинным признакам» Вещей, так говорил он, к их будущности. «Тогда давайте выпьем за Вещь», – прервал его Фредди и поднял свой стакан «Чивас Ригл», подлинного, блистательного, коим тут же чокнулся со стаканом белого рома, который держал Малый: рома анемичного, бесцветного, разбавленного водой, уже без названия и марки.

Потом потерпела поражение даже музыка, музыка Анхелито, бывшая самой долгой и надежной опорой Команды. Как дьяволенок или как лягушонок, Русита прыгала вокруг устройства, откуда доносились с невероятной четкостью голоса Дилана, Дженис Джоплин, Леннона, Моррисона, Мика Джаггера, и иногда

говорила какую-то тарабарщину своей матери, или опрокидывала афрокубинскую пепельницу, или цеплялась, как гимнастка-лилипутка, за макраме, которые так любил Фредди.

Тем не менее музыка подтолкнула нас к началу единственно достойного разговора этого вечера, опиравшегося, кроме всего (к радости Красавицы), на некую историю из прошлого: Марк Аврелий и я рассказали о «Речи тростниковой браги» и о славном вечере в Кармело-де-Калсада, который был и останется во веки веков «ночью Анхелито Китайчонка». Русита на минуту стала незаметной (собственный отец забыл о ней, и это были лучшие минуты нашего собрания), и мы шумно и заразительно смеялись, и были уже на грани Кубинского Смеха, вспомнив размазанного по полу хиппи и всех «людей Пола»: как они встретили без боя эту Ниагару доводов, как были опрокинуты Анхелито, испуганно наблюдая за словесной бурей, разносившей на куски их идола.

Тогда я вспомнил одну мысль, которая утвердилась в моей Разумной Душе после «ночи Анхелито Китайчонка»: Фредди, если бы он присутствовал там, попал бы в число сторонников Маккартни. Не в открытую, конечно (в лоне Команды расхождения такого уровня, уровня Принципиального, предполагали бы немедленное изгнание), но в глубине сердца, в самых тайниках, его голос оставался всегда на стороне «слащавого» и «красивого», а тогда это был Маккартни. Когда однажды я рассказал об этом Малому (мы были еще на Факультете), он удивил меня неожиданным признанием. «Битл, которого я считаю наиболее близким себе, – сказал он, и было видно, что он говорит о чем-то хорошо продуманном, – который сегодня кажется мне наиболее далеким от Ложного, наиболее настойчивым в своих духовных поисках, – сказал он, – хотя он и не слишком талантлив, – это Харрисон».

Так он сказал, и я подумал, что Леннон выиграл бы голосование в узких рамках Команды (двумя голосами – Анхелито и моим), чтобы отправить другого Великого, Маккартни (голосом Чупачупса), на второе место, нечестно поделенное с Харрисоном – туманным, хмурым, вопреки всем прогнозам поднятым на пьедестал стоическим голосом нашего Марка Аврелия. А если бы голосование происходило в царствование Норки, кто знает, что сделал бы Чупачупс: возможно, он предпочел бы воздержаться, в порыве крайнего национализма, и таким образом сохранить свой голос для какой-то кубинской версии линии Маккартни.

Такое голосование, как и множество других, осталось подвешенным в облаке гипотетического: ведь мы собрались совсем не для того, чтобы разделяться на голоса в ребяческих спорах. Красавица (истинная мать и руководительница Сбора) созвала нас, чтобы сблизить, причем, в двух смыслах: (1) восстановить Команду в Настоящем, связав разорванные нити, чтобы мы продолжали наши регулярные встречи, попивая чай, кофе, ром белый, ром «Золотая Карта» и «Старый ром», а также виски, если его выставит Чупачупс, поедая бутерброды и яйца, фаршированные «авокадо», вместе слушая музыку, и вместе играя в шахматы и домино по-кубински, чтобы однажды прийти к взаимной потребности друг в друге, и снова стать тем, что называется «неразлучные», и (2) «состыковать» Команду настоящего с Прошлой, чтобы дух нашей Команды (Команды скрытной и скромной, но пользовавшейся большим уважением в Колледже) смог возродиться в каждом из нас и даже помочь нам противостоять Этим Вещам.

Однако много воды утекло от тех дней в Колледже до Сбора в девяностые. Красавице стало как-то нехорошо, и она захотела, мне кажется, чтобы кто-то из

нас посмотрел на часы и встал с притворным жестом сожаления и спровоцировал этим уход остальных, но в то же время она боялась расставания, и смотрела на Амарилис в поиске поддержки, и настаивала, чтобы мы посидели еще чуть-чуть, как будто чудо последней минуты могло представить нам Возрожденную Команду.

Всем нам, в большей или меньшей степени, было больно от впечатления безнадежности и потери, очевидно оставшегося от этого Сбора, но более всех страдал Анхелито, так защищавший в былые времена идею «поддержания» Команды. Уверен, что он винил себя за то, что привел дочку, и винил ее тоже, и это было так же несправедливо и непродуманно, как у тех, кто осуждал Йоко за распад «Битлз». В чем-то недобрые образы Руситы и Йоко должны были бы служить нам только в символическом смысле, чтобы стать олицетворением перемен, всего нового, болезненного, разрывающего, но в то же время неизбежного.

Когда появилась Йоко, Битлы уже не существовали как ансамблевое единство, как естественное объединение: трещины, изначально существовавшие в нем с самого рождения, стали необратимыми, – вот так и восстановление Команды в девяностые проиграло в первом же раунде, потому что представляло собой, в самой своей концепции, некий анахронизм, антиисторический бред, и Русита была так же ни в чем не виновата, как и Йоко или как Линда Истман. Все археологические усилия, направленные на восстановление прошлого, были обречены заранее, как и все остальные «контакты», установленные Лурдес с «найденными» людьми из Колледжа. «Мертвых, – комментировал позже Чупачупс, – надо оставить в покое», и он был до определенной степени прав (только до определенной степени). Сбор в девяно-

стые, на мой взгляд, не был провалом: конечно, Команда не обрела второго дыхания, которого жаждала Лурдес, и не основалась высшая форма семьи, и ничего хорошего не произошло, а вечер оказался натурально обгаженным. Однако наш Марк Аврелий, Малый, наш затворник, благодаря этому Сбору вышел в свет, и его доклады заржавели бы в сумраке Комнаты с Видео и в ее скверном воздухе (едва продуваемом «Орбитой-5»), если бы в тот вечер наш стоик не «отвязался бы», как говорил Фредди. Он никогда не рассказал бы нам о Кубинской Вине, ни о Бессоннице, ни о быках и петухах, ни о Сандокане. Не расцвели бы вечеринки девяностых, и эта книга была бы другой возможной книгой, другой книгой-призраком. Как написать ее без «контактов», которые я восстановил на Сборе с Марком Аврелием и Фредди? И вопрос не только в докладах, вечеринках, книгах и «контактах», Сбор привел нас к передышке, «остановке», паузе (не к *time,* а именно паузе) в лихорадочном беге девяностых, нам надо было на несколько секунд вынырнуть из «бушующих вод» и глотнуть воздуха, и остановить дилижанс и его загнанных лошадей, и посвятить минутку тому, чтобы подумать о жизни, а ведь это один из основных советов Эпиктета, Теофраста, Поляка и Конфуция, Лао-Цзы и самого Марка Аврелия Великого, и стольких иных философов, которые с большим или меньшим успехом, на Востоке и на Западе продумывали и проживали Истинную Жизнь.

22 ПРАВДА

Фредди Чупачупс поехал в Канаду, и в доме на углу 62-й и 19-й наступил период покоя: субботние встречи были отменены до нового приглашения, наступила пауза в потоке визитов и в «розыске» ветеранов Колледжа, Красавица Лурдес стала менее заметна, и замолчали телефоны (сотовый и обычный, проведенный по кабелю), уменьшилась громкость музыкального центра и телевизора, и весь дом погрузился сам в себя. А потом произошло то, что было записано Судьбой в ее мраморной книге: Амарилис проникла в Комнату с Видео, сломала последние сомнения Марка Аврелия и добилась своего.

Хотя Малый, понятно, не был девственником, в ту ночь он понял, что какая-то его часть пребывала до сих пор в полной невинности, несмотря на Тамару, на супружество и еще на четверых или пятерых женщин. Ничто из прежнего опыта не могло сравниться с тем, что подарила ему Амарилис. Его бедное Тело, тощее и неумелое, расцвело от ее ласк, объятий и поцелуев, его Животная Душа, настолько приниженная, что он считал ее уже потерянной, пустой и безразличной, возродилась от впечатлений и трепета, исходящего от чего-то доселе неведомого, а его Разумная Душа из этого первого урока сделала вывод, что желание и секс могут облагораживать человека, обогащать и помогать его духовному совершенствованию.

Амарилис, безусловно, была жертвой самого ужас-

ного проклятия, которое только может пасть на женщин Острова, – войти в жизнь без Форштевня и Кормы, без авангарда и тыла, не преувеличивая, «отглаженной спереди и сзади». Однако ее крохотное, худенькое, бедное Тельце было на удивление манящим, и оно привлекло нашего Марка Аврелия так жарко, так уверенно и бесповоротно, что Малый почувствовал себя как никогда маленьким и обласканным, пребывая в том, что могло называться ее «лоном» или «подолом».

Марк Аврелий, наш, из Колледжа, неожиданно вспомнил тезис, выдвинутый его тезкой, Великим, по поводу «радостей любви», и понял, что умозаключение было ошибочным и содержало печальное упущение: по крайней мере, по отношению к Амарилис было бы нелепо говорить о простом «соприкосновении Тел» или о «неком возбуждении, приводящем к выделению сперматической жидкости». Возможно, Марку Аврелию Великому, Императору, Философу, никогда не везло и он испытывал такие банальные «возбуждения», поскольку ни разу не соприкоснулся с такой женщиной, которая разделяла сейчас постель с Малым.

Позже, несколько часов спустя после того, как он потерял (на этот раз уж точно) последние остатки девственности, навалилось что-то ужасное: Марк Аврелий, наш, из Команды, был атакован тем, что грешники зовут «угрызениями совести»: он подло предал своего друга с его же женой, в их собственном доме, где он был принят с такой любовью и гостеприимством. «Я дерьмо, – сказал он вслух, и Амарилис принялась целовать его тонкогубый рот. – Я дерьмо, именно это я и есть, – повторил он с большим напором и драматизмом и сел (напряженно) на кровати. – Как только приедет Фредди, – заявил Марк Аврелий, – мы должны будем рассказать ему Правду». «Он уже

знает», – сказала Амарилис. «Что знает?» – спросил он, все еще в напряжении.

Амарилис обволокла своим нежным взглядом глаза возлюбленного – неудачный глаз, растерянный, убегающий и прыгающий, и хороший глаз, уверенно смотревший в правильном направлении, – и увлекла их оба в глубины своего прозрачного взора, и взяла в свои ладошки стоическую, напряженную, сжавшуюся голову Малого. «Так что же знает Фредди?» – снова спросил он. «Правду», – шепотом ответила ему на ушко Амарилис.

23 МЕРТВЕЦЫ

Спиритическое учение полностью изменяет наш взгляд на будущее. Завеса поднята, и невидимый мир предстает перед нами во всей своей подлинности.

Алан Кардек.
Завеса поднята
(Спиритический журнал,
1865 г., ноябрь – декабрь)

Во сне мы населяли все те же пажити.

Хосе Лесама Лима.
Боги

Тогда, «ночью Дженис Джоплин», Чупачупс был с Норкой в Гуанабо, Анхелито с Русской в Новосибирске, Марк Аврелий в Буэн-Ретиро со своей бессонницей и книгой Уголовного Процессуального Права, а я, единственный представитель Команды, был именно там, в Кармело-де-Калсада.

Это была та ночь, когда в Кармело пришло известие и все узнали, что Дженис Джоплин умерла, и вот все хиппи пустились в путь, пришли в движение и, не зная еще почему, направились в сторону набережной, к морю, и я с ними, и мы пересекли, не останавливаясь, кладбищенский парк и увидели, как покрытое облаками небо сливалось с почерневшей водой и как

гасли огни небосвода, луна, звезды и все фонари, лампочки и светлячки, и одни из хиппи уселись на стене набережной, и я с ними, другие бесцельно слонялись и «ворошили свои длинные волосы», и нельзя было отличить, кто из них принадлежал к сторонникам Леннона, а кто – Маккартни: была одна компания, раздавленная, растерянная, «уделанная», потому что Лысую, Безволосую вдруг кто-то забрал, не кого-нибудь еще, а именно Ее, с ее неповторимым голосом, с тем надрывом, который она вкладывала в каждую песню, в каждую минуту того мизерного времени, которое ей выделили боги.

То, что произошло, если это произошло, случилось очень быстро, а я сидел спиной к морю, и когда повернул голову, было уже поздно, и видение (если оно было) растворилось, и оставалась только глухая и плоская темнота без всякого чуда.

Огромный хиппи, покрытый шерстью, известный как Энди Панда, упал на колени на тротуар, а у другого (Билли Готта) случилось что-то вроде припадка, а Баттер Пипо (или Пипо Масляный) вскочил на парапет с воздетыми руками, и еще двое или трое заголосили, как приговоренные к казни, и клялись, что да, что они ее видели, что Дженис вынырнула из воды на несколько секунд, с каплями воды, стекавшими по лицу, и по-свойски подмигнула, словно хотела утешить нас и передать нам некое послание и сказать, что смерть не так уж и страшна.

«Возможно, это был гипноз или коллективный бред», – предположил Малый, или «коллективный кайф», – добавил Фредди, а может быть, «боль, которую они чувствовали, – сказала Красавица, – была настолько велика, что требовала выхода и проявления».

Фредди издал звенящий хохоток. «Этот Готт, – сказал он, – и Энди Панда, и все они были настолько пьяны или обкурены, что в такой час могли увидеть

на набережной все что угодно: Дженис Джоплин, или белого кита, или Колумба с тремя его каравеллами». – Так он сказал и засмеялся, и язык его был виден в круглом ротике, и его вибрация передавалась подбородку, плечам, и колыхалась в животе, и так, от души смеясь, Фредди высказал свою вторую гипотезу, или Гипотезу Джемайи. – Возможно, – сказал он, – хиппи увидели Джемайю и он действительно дал им знак, а эти дебилы не распознали его, потому что не знали, кто это такой».

Марк Аврелий послал ему легкую, едва заметную улыбку стоика, Амарилис тоже улыбнулась, но отсутствующей улыбкой, а Лурдес и я посмотрели друг на друга (инстинктивно), спрашивая себя примерно об одном: а что потом случилось с Энди Пандой, и Билли Готтом, и с Пипо Масляным, и со всеми остальными пилигримами, пришедшими к морю той «ночью Дженис Джоплин»? Состоялось ли такое же паломничество десять лет спустя, когда убили Джона Леннона? Думаю, нет: в ту пору мы были уже слишком старыми и слишком сдержанными, и, когда мы пили, нам было не до видений, и ни один хиппи из тех, кого я знал, не видел ничего поднимающегося из воды или земли и не получал свидетельств Великого Убийства ни от Джемайи, ни от кого другого.

Леннон умер насильственной смертью в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года, а Серафин Эскобедо ушел четыре дня спустя, двенадцатого, в Марианао, смертью от Потери мышечной массы, а пятнадцатого в Новосибирске точно такой же смертью, «долгой и мучительной», скончалась теща Анхелито Китайчонка, и Дядя Маноло последовал за ними всеми из Майами семнадцатого, в День Святого Лазаря, но из-за Смерти более Счастливой, той, которая убивает во сне по причине переедания или других излишеств.

Марк Аврелий не стал говорить об этих неожиданных совпадениях, о «случайностях жизни», вернее, смерти, он не сказал ничего о Ленноне, о своем отце, ни о дяде из Майами, ни о теще Китайчонка: он просто сильно побледнел, стал еще более серьезным и косоглазым, чем обычно, и громко спросил, правда ли, что все мы равны перед Той, Что Не Прощает, и никто из нас ему не ответил, и мы поняли, что Малый уходил в самые глубины своей Разумной Души.

Сейчас я знаю, что он опять думал о своем дяде, о Дяде Маноло, скончавшемся в Майами, о том, кто эмигрировал вдвойне. Этому кругленькому и сластолюбивому патриарху выпала смерть, случавшаяся не раз в поколениях мужчин семьи: он обильно пообедал, лег поспать и прямо из сиесты перешел в Области без Возврата по причине кровоизлияния в мозг. Мать Малого утверждала, что таким же образом, «точь-в-точь», ушли дедушка – член Палаты, прадедушка-землевладелец, один или два прапрадедушки-астурийца и множество ее двоюродных и троюродных братьев. «Они ложились спать и так уходили, не мучась», – говорила мать с гордостью.

С самой юности в Матансас дядя Маноло занимался накоплением средств, размещая их в землях, Вещах, движимом и недвижимом имуществе и в собственном жире, да, все больше и больше в жире, в подкожных тканях, в брюшной полости, вокруг сердца и даже в артериях. Он за много лет до положенного срока готовил себе Смерть от излишеств, которая нежно взяла бы его на ручки (как тех пухленьких деток, что засыпают на диване), чтобы отнести в Темные Луга.

Дядя Маноло насладился своим последним обедом в возвышенном и уверенном стиле, который украшал каждое из его дел. Если рот Чупачупса был спроектирован для сосания, то рот Дяди Маноло был типично

жевательным, с длинными зубами, малочувствительными и высокопроизводительными, как у станка; в тот день, посвященный далекому Острову, рот Дяди энергично продвигался вдоль стола, как газонокосилка, срезая, раскалывая, измельчая и поглощая все встречавшееся на его пути. Он пожирал куски жареной свинины вместе с их украшениями (кокетливыми кружочками лука), и патриотичные жареные бананы, и аборигенскую юкку (залитую таким количеством соуса, какого простодушные индейцы даже представить себе не могли), и смесь из белого, рассыпчатого, девственного риса с разваренными черными бобами, толстыми, «томлеными», пища богов, и целиковое авокадо, и огурцы, редечку, чуть недозрелые помидоры, латук в изобилии, и скользкое, будоражащее кимбомбо, и тот верх совершенства, который зовется вареной свининой в листьях и кукурузные колбаски с покрошенными шкварками. Дядя протолкнул вниз твердую часть обеда двумя или тремя стаканами пива и в завершение, чтобы замкнуть золотой пряжкой то, что станет его последним обедом, попросил не трехцветный кекс-мороженое, не двусмысленное желе, ничего из этого американского дерьмеца, политого шоколадом или посыпанного миндалем: на десерт, черт возьми, ему дали настоящий, демократичный тыквенный флан – желтый сливочный холм, способный нежненько, славненько проскользнуть в набитый желудок и найти тихий уголок и упокоение в его шторме.

Говорят, что он улыбался, встав из-за стола довольный и раздутый. Легонько рыгнул, без вульгарности, и отказался от чашечки кофе, и это отречение было единственной странностью в его поведении. Он повернулся и направился в прохладную комнату, к кровати с чистыми простынями и взбитой периной, к свеженькой постели, приятной, влекущей: не было никакого прощания и заветов грядущим поколениям.

Прежде чем дверь за ним закрылась, послышался удар газов и зевок.

Марк Аврелий хотел бы знать больше о смертоносном обеде: узнать, например, приходят ли к спящему ужасные видения, кошмары, или бессвязные сны, какая-то дрожь вроде лошадиной рыси или тумана на море. «Дядя Маноло не страдал» – это повторяли по телефону и в письмах родственники из Майами, и мать Малого твердила это, словно научно подтвержденную истину: «Одно утешение остается, что Маноло не мучился».

Во время смертоносной сиесты сердце, «насос» (так его называют), работает в самых плохих условиях. Хрипя, кашляя, плавая в жире, заполняющем перикард, поставленное перед двояким и противоречивым выбором между сном и пищеварением, оно мечется (дрожа), как механик на корабле с пробитым бортом, который тонет, который вот-вот будет проглочен Мальстрёмом. Артериальное давление подскакивает, и жизненные токи ежеминутно натыкаются на жир, набившийся в кровеносные сосуды, желудок дергается, бьется, требует все больше жидкости, чтобы сопротивляться такому количеству твердого вещества и жира, и «насос» теряет сознание, одурманенный избытком накопленного, «балдежом», и наконец что-то взрывается (какая-нибудь артерия в мозгу или в самом сердце), и спящий идет ко дну, «без мучений», как настаивала Мать Малого, «уснувший как ангелочек».

Мы не знаем, записана ли где-нибудь смерть, назначенная каждому из нас. Фактом остается то, что Серафину Эскобедо были суждены невыносимые страдания, помимо тех, что относятся к физической боли; его переход в мир иной обозначается термином «дематериализация», в связи с потерей Тканей, хотя некоторые теоретики предпочитают, не без основания, говорить о «замещении» вместо «потери», то

есть о прогрессирующей замене «хорошей» материи на «плохую».

Если Дядя Маноло обильно кушал в молодые годы, и полнел, и готовил свою развязку, Серафин Эскобедо был в те же годы изголодавшимся учеником в шорной лавке у Поляка, он покупал на мелочь бесформенные сигареты и жадно курил их: вместо материи он поглощал дым, и именно в ту пору он запроектировал свою форму смерти.

Ни Эпиктет, ни его ученик Флавио Арриано, ни Теофраст, ни Марк Аврелий Великий не знали табака: когда Император-Философ записал свои «Размышления», оставалось более тысячи трехсот лет до того, как европейцы высадятся на Кубе и обнаружат здесь, среди множества прочих чудес, дым магического растения, который индейцы вдыхали полузакрыв глаза. Конечно же, любой порок, любое «удовольствие, не исходящее от духа», всякая зависимость «от внешнего» должны быть сурово наказаны, согласно стоическому кодексу, но Серафин Эскобедо нарушал сей кодекс только в этом пункте, и его сын не осмеливался осуждать его.

Малый никогда не курил, но интуитивно чувствовал, что есть разные виды курильщиков и что не все одинаково подлежат осуждению. Как мерить одной меркой, скажем, курильщика из сладострастия и курильщика от тоски? Марочная гаванская сигара, ароматная, нежная, венчающая банкет как символ чувственности, очень мало общего имеет с грубыми и сморщенными сигаретами, которые ученик шорника курил в Матансас, чтобы выжить, чтобы забить чувство голода, чтобы сделать передышку. С другой стороны, теперь уже в порядке этико-идеологическом, предпочитать неосязаемый дым Вещам, веществу, жиру – разве это не значит отрицать саму идею буржуазного накопления?

Над моральным и психологическим происхождением рака, Канцера, много размышляли, и было сказано, что, скорее всего, он произрастает из семени гнева или отчаяния, из непрощенной обиды, из злобы, которая наслаивается в Разумной Душе, и сначала это легкий пузырек, а потом гнойная капсула, а затем психологический кремень, перерастающий в физический («плохое» вещество), и вот уже перерожденная клетка, черная овца, уходит из стада и становится волком и режет белых овец. Наш Марк Аврелий спрашивал себя, не таил ли его отец некую обиду, не воспалилась ли в нем какая-то рана, полученная еще во время Пятидесятилетней войны? Ему изменила способность прощать, завещанная Великим в его «Размышлениях»? Малый отказывался признавать это. Его отец, как Хосе Марти, умел вести войну без гнева. Рак, настигший его, по крайней мере этот Рак, вышел из дыма, как средневековые демоны. Так думал Марк Аврелий, когда сопровождал Серафина Эскобедо на леденящую душу консультацию в Онкологии. Но правый, неудачный глаз, погибший глаз делал круги и порхал над остальными больными, ожидавшими своей очереди, и приносил сомнение – а можно ли сражаться в течение стольких лет без того, чтобы ненависть не укоренилась в нас?

По этой или иной причине, из-за дыма или из-за гнева, безжалостное ракообразное поселилось в этом хилом Теле и выело то малое количество жира, которое в нем смогло накопиться, и Серафин Эскобедо очень скоро сделался, как говорили тогда, «кожа да кости». Он худел, горбился и шаркал (как карлик, как виляющая всем телом ящерица) в своей колоссальной пижаме, и ему не хватало воздуха, и ему вставили трубку в нос.

Наш Марк Аврелий продолжал быть закоренелым атеистом и не верил в какие-либо мистические про-

явления, но он не мог с удивлением не заметить, и это он мне рассказывал с полной искренностью, что Разумная Душа его отца становилась все более тонкой, и расширяющейся, и светящейся, по мере того как она сбрасывала балласт, по мере того как Тело освобождалось от влаги и жира, от соединительных тканей. Если когда-либо он и испытывал гнев, если не мог простить обиду или унижение, то сейчас это была Душа свободная и исцеленная. Малый чувствовал что-то наподобие утешения, хотя и знал, что это свечение не могло длиться долго, что «дурная» ткань очень быстро разрушит то единственное вещество, которое в полном смысле является собственностью человека.

Животная Душа угасает со смертью, и тело начинает разлагаться, а Разумная Душа некоторое время продолжает жить, а потом вспыхивает, горит и соединяется со Всеобщим, «чтобы войти в Высший Разум, управляющий Вселенной». Так убедительно говорит нам Великий в своих «Размышлениях», а потом останавливается и начинает сомневаться («а вдруг нет ничего, кроме элементарных атомов?» – спрашивает он), но потом возвращается к своей излюбленной теории и отдается ей: в конце мы войдем во Всеобщее, в лоно Судьбы – Мудрого Учителя.

«Если Великий был прав, – размышлял Малый, – мой отец и мой дядя должны будут *объединиться* на Той Стороне» – так он думал, и значит, духовная искра, оставленная Серафином Эскобедо, должна будет смешаться с такою же, но оставленной Дядей Маноло, и обе души станут жить вместе вечно, среди той безликой, но в то же время разумной массы, обустроенной Высшей Волей, где ничего не значат ни жир, ни дым, ни идейные противоречия, ни классовая борьба. Будет ли ждать их там, в этом незакатном Существе, в этом Всеобщем, тотальное согласие?

Но нашему Марку Аврелию, который никогда не

станет ни императором, ни философом, ему, похоже, вырвали железу веры в чудо, и он считал верной лишь теорию, которую преподавательница Диалектического Материализма настойчиво внедряла ему в Средней школе с помощью диапозитивов и плакатов, – Теорию Навоза или Разложения в Гумусе. Согласно ей, Маноло, толстяк, гедонист, накопитель, тот, у кого всегда хватало всего, и Серафин Эскобедо, тощий стоик, который не умел и не хотел копить, который никогда ничего не имел, если оба они умерли бы физически и духовно, то вещество их Тел (не «хорошее» и не «дурное», которое не создается, не разрушается, а только преобразуется) должно было стать удобрением для травы, для растений, для манго и авокадо и включиться в неостановимый цикл, в котором жизнь и смерть взаимно питают друг друга.

Чупачупса шокировало все это, связанное с навозом и удобрениями, ему казалась жуткой мысль, что его чистое и полиморфное тело сгниет под землей, чтобы превратиться в безликое вещество, в определенный сорт органического удобрения: он тоже был на уроках, которые так впечатлили Малого в Средней школе, и видел те же плакаты и диапозитивы, что и Малый, и я, и Анхелито Китайчонок, но (в отличие от остальной Команды) он не принимал такой позорной судьбы. «Что-то должно быть с Другой Стороны», – говорил он, хотя и не мог бы определить этого *что-то*, ни описать его, ни выдвинуть альтернативную теорию.

Если уж его отвращала тема («грязная») Удобрений, тем более его не устраивало сосуществование мертвых и живых, а также кардесистская мания заставлять мертвых доверчиво переходить на Эту Сторону, не говоря уже о болезненном пристрастии ворошить прошлое с противоестественной целью перенести его в настоящее. Он чувствовал себя лучше в «сегодня» и в «сейчас», чем в любом другом временном измерении, хотя,

по счастью, не превратился в одно из этих плоских, бродячих, лишенных объема, корней и привязанностей существ, просто он находил в минувшем питательные вещества, которые оказывались полезными и даже необходимыми, если умело их отобрать и организовать. Он был на высоте, естественно, но не впитал до конца нормы и преимущества этого положения.

Основатели теории *быть на высоте* не допускают, чтобы их мысли и желания отошли в прошлое или в будущее, выражаемое в пятилетних планах, в средне- или долгосрочных мечтах; уж если что, они используют лишь самое ближнее прошлое и ищут в нем опыт, пригодный для исполнения задач, которые настоящее ставит перед ними, идут туда и тут же возвращаются, не теряя времени на бесполезную щепетильность; они смотрят в будущее в его самой начальной версии, быстрыми взглядами, вспышками, только для того, чтобы упредить удар соперника.

Во Фредди Чупачупсе умение *быть на высоте* принимало гибридные формы (здесь снова мелькает крылатая тень Кота Лесамы) и включало в себя культ матери и семьи, и привязанность к друзьям и к товарищам детства, и определенную фетишизацию корней. Сама Амарилис, любовь всей его жизни, которая поддерживала все здание настоящего как надежная центральная колонна, и Марк Аврелий, искренний друг, который принес в обитель настоящего привкус неведомого, упорного, стоического сопротивления, не пришли ли они оба из прошлого? Не привнесли ли в «сегодня» и в «сейчас» дуновение того, что было? Точно: прошлое – как функция выбора, как жаркий, самый подходящий фундамент, но никогда не как источник Вины.

Чупачупса бросало в дрожь, это правда, когда он представлял себе жадные розыски Чаро и других членов Кардесистского Кружка, шедших значительно

дальше Красавицы в стремлении ворошить Вещи и людей, которых уже нет, и в том, чтобы «не оставлять в покое мертвецов». На своих очередных и внеочередных собраниях они трудились над тем, чтобы приоткрывать завесу и «находить» духов, недавно покинувших свою телесную оболочку. Они на ощупь двигались во Тьме и трогали ее шелковистое бесформенное тело с трепетом того, кто в снах ждет прихода очень желанной женщины и не может ни увидеть ее отчетливо, ни обнять, хотя и знает, что это именно она, а невидимая женщина ускользает от него, и уносится, и теряется, и лишь иногда оставляет ему ощущение мимолетной ласки.

Чупачупс размышлял о часах и днях добровольной работы, о времени и усилиях, которые Чаро и кардесисты Поголотти посвящали своим исследованиям, и боялся, что в момент слабости Тьма отдаст им Тере и что его мать, и профессор Мариньо, и все остальные узнают историю с Огнем и покинутой крестьяночкой – жестокую, страшную сказку, уже не украшенную цветами и птицами.

Сесилия Вальдес Гойенечеа и все приверженцы религий Отсталости также без всякого уважения относились к заслуженному покою покойников и созывали их на свои ритуалы; и были другие мужчины и женщины, которые наблюдали через зеркала (с горящими глазами) обратную сторону жизни, чтобы повернуть время вспять и поговорить со своими предками; и были люди, прибегавшие к помощи всякого рода посредников, чтобы связаться с персонажами из прошлых веков, с неясными родственниками, навеки заброшенными в Темные Луга, чтобы воскресить их и привести в Сюда хотя бы на несколько минут, и люди, страстно желавшие иных восстановлений и дававшие деньги на то, чтобы вновь соединить «Битлз», или на второе пришествие Бобби Фишера. В конечном счете это была публика, отказывавшаяся

признать необратимое: что «Битлз», Фишер, дуэт Саймона и Гарфанкеля, что покойники, все покойники – Леннон, Моррисон, Дядя Маноло, Джимми Хендрикс, теща Китайчонка, Дженис Джоплин, Сандокан, Ремихио Зубастик, Андресито, Страдалец Сибоней, Марк Аврелий Великий, Серафин Эскобедо и Поляк, – все без исключения, принадлежат прошлому так же окончательно и бесповоротно, как и самая знаменитая Команда Колледжа Марианао.

«В прошлом деньги обретают свои пределы», – убеждал Малый очень серьезно, имея в виду того богача, фанатика шахмат, который уговаривал Фишера вернуться после его резкого ухода, и выложил на стол целое состояние, и ожидал в нетерпении, как тиранящий родителей ребенок, что благодаря этой горе банкнот его идол тут же вернется на сцену; и того импресарио, который в 1975 или 1976 году предложил бывшим «Битлз» за пятьдесят миллионов долларов провести вместе еще один концерт. Малый имел в виду этого и других беспринципных торговцев, которые жаждали оживить курицу, несущую золотые яйца, с помощью реанимированных «Битлз» в семидесятые и в восьмидесятые (уже после смерти Леннона), а потом в девяностые годы, и всех ностальгирующих богачей, также не имеющих устоев, но обладающих достаточным количеством так называемых «сентиментальных отложений», и не желавших помирать, не увидев снова объединенный, музицирующий, блистательный квартет, воссозданный в приступе исключительной благожелательности Юпитером, Олофом или Иеговой, – квартет или хотя бы трио, пережившее нанесенное ему увечье.

«Они не представляют себе, – комментировал Марк Аврелий, – сущностной бесполезности этих предложений». Если бы негоцианты и закапризничавшие миллионеры смогли образовать группу из

выживших «Битлз» или вернуть Фишера, они получили бы лишь грубое подражание прошлому (таким примерно был тезис Малого): хромоногий квартет, без радости и очарования, в котором три пятидесятилетних мужика в фальшивой и слезливой манере имитируют сами себя; или короля шахмат, возвратившегося из изгнания, еще более маниакального, чем раньше, тупого и дряблого. Король без королевства, бродящий от клуба к клубу с показательными встречами и сеансами одновременной игры, окруженный поклонниками, желающими сфотографироваться с ним после быстрого проигрыша.

Тогда Малый описывал для Чупачупса и Амарилис, для Красавицы и меня это воображаемое фото: Фишер, тот, что был Величайшим из Великих, в роли долговязого победителя, хмуро спускающегося со своих высот и нагибающегося, чтобы получить поздравления от кругленького, низенького, счастливого побежденного. Я прибавил бы к этому фотографию состарившихся Битлов в девяностые (на заднем плане, едва заметным наброском, тень Леннона, Великого, Величайшего) и еще одну, снятую в «ночь Дженис Джоплин» (хиппи, преклонившие колени перед морем, перед видением и мистическим свечением на ночном небе), а также фото со Сбора Команды в девяностые в доме у Чупачупса (морщинистые лица Анхелито и Лурдес, и лица остальных, зрелые и крепкие, и где-то резвящаяся Русита, и Фредди, поднимающий тост стаканом «Чивас Ригл»), и несколько фотографий людей, «разысканных» Лурдес, и «психические фотографии», а как без них, с эктоплазматическим следом, оставленным кем-то из мертвецов, обнаруженных Чаро (мутные наброски, наподобие Леннона и краснокожих), и много, множество фотоснимков – тех бесчисленных усилий, которые направлены на победу над ужасным Кроносом и над Смертью.

24 ОТСТАЛОСТЬ И ПРОДВИНУТОСТЬ

Гибридная сила определяется как главная сила, которую обыкновенно демонстрируют гибриды, происходящие от скрещивания между породами или семействами, в сравнении с их прародителями. Противоположный феномен – это упадок по причине кровного родства: сумма нарушений, которые обычно демонстрируют индивидуумы, происходящие от межродственного скрещивания.

Агустин Пупо Доменеч.
Чистопородный кубинский
петух

Пост продвинутого был наследственным титулом, предоставляемым кастильскими королями в Средние века, который приносил его владельцу особые военные полномочия и права на управление пограничной провинцией.

Джон Эллиот.
Имперская Испания

«Прометей похитил огонь для людей, – напомнил нам Марк Аврелий Малый на одной из наших вечеринок, – и это помогло им *продвинуться,* –сказал он, – и готовить еду, и согреваться зимой, и *продвигаться* дальше, плавить металлы и изготовлять новые

инструменты для работы и новые Вещи вообще, которые без Огня даже нельзя было бы представить себе».

«Но пламя приносит вред и убивает», – сказал Фредди хмуро, а в то время мы и не подозревали, о ком он думал и почему настаивал на дьявольском происхождении того, что он называл «пламенем», с его способностью сжигать дома, людей и все, что ему попадется на пути.

«То, что принес Прометей смертным, не было истребляющим, неуправляемым пламенем, – сказал я, – а пламенем Цивилизующим. Любопытно, но наш герой кончил тем, что за это деяние его приковали к скале, словно в Продвижении была какая-то греховность».

Фредди достал «Мальборо», и на спичке вырос прирученный, не опасный огонек, который плавно перешел на сигарету, как тихая почесть, отданная Прометею. Курил он интенсивно, короткими и жадными затяжками, и мочил своими круглыми губами фильтр сигареты. Позднее мы узнали, что тогда он проходил через «один из этих гребаных дней», как он сам выражался, когда ему не удавалось выбросить из головы Сожженную Женщину, и узнали также, что для него, для Фредди Чупачупса, останутся, покуда живы сознание и память, связанными навсегда Вина и Огонь, Вина и пламя, или как бы там его ни называли, и в эти минуты теория колючек становилась лишь мрачной шуткой.

У меня, наоборот, был хороший день, и я чувствовал себя полным вдохновения, с ясной головой, философическим и попытался поразглагольствовать об этой двусмысленности, которую мы заметили в Прогрессе и в пламени как таковом.

«Отсталость, – сказал я, – равносильна движению назад, но, может быть, найдется некто, который расценит ее как возврат к первородному единству, к кор-

ням, кто найдет в Отсталости отражение стабильности, нечто наполовину материнское, некоторое воссоединение, определенную надежность, в ней – теплое гнездо традиций и познанного, а Продвижение – это разрыв, разведка, неуравновешенность, риск. Конечно, с помощью Огня люди придумали *лучшие* плуги и приспособления, и это все замечательно, но в то же время они *улучшили* свои орудия войны, свои щиты и копья, и ковали мечи с каждым разом все более совершенные и эффективные, чтобы одним элегантным, артистичным ударом распотрошить соперника, в буквальном смысле слова содрать с него шкуру, вырвать руки и ноги и кастрировать его и обезглавить, и они произвели массу железа, мушкетов и пушек, и таким образом, по этому пути *продвигаясь,* они дошли до атомной бомбы». Так я говорил в стиле очень похожем на Леннона, на Джона и Йоко, весьма пацифистском, а Малый согласился и прибавил, что «Продвижение и Прогресс никому не нужны без этического фундамента».

«Возможно, в этом причина наказания Прометея, – сказал я, – что он отдал людям огонь безответственно, дал им власть, к которой они не были морально готовы, упустил из виду этический вопрос и не указал им на ограничения». Я сказал это с легкостью и блеском, но Марк Аврелий выступил в защиту Прикованного Героя и заявил, что «в этом мире с этическим вопросом дела были плохи и до вмешательства Прометея», – сказал он, – и что самозваный *homo sapiens* уже давно, очень давно прекрасно разбирался в вопросах убийства себе подобных, и ненависть царила среди людей, которые разносили друг друга на куски и «дробили черепа каменными топорами, – сказал он, – и ослиными челюстями, и дубинами, и всем, что ни попадало под руку; Прометея низвергли, как ты говоришь, потому что он не подчинился Закону, потому

что в его честном и благородном деле присутствовали и Продвижение и Отступление, вот он и заплатил за это».

Чупачупс закурил последний «Мальборо» из пачки и пытал его, подвергая увлажняющему сосанию. У него было ужасное лицо, и может быть (на обвиняющей волне), он вспоминал старого Корралеса, так же низвергнутого, как Прометей, хотя он и уважал законы, нормы и методички Минторга, а его отношения с огнем были (насколько мы осведомлены) лишь метафорическими: «Кадр, который погорел или расплавился», и ничего более.

Мне захотелось (и я это сделал) подойти к Огню в аллегорическом измерении, так что я использовал Лурдес Красавицу (в той роли, в которой она выступала в девяностых) и Священный Огонь (который мы, по ее убеждению, должны были сохранять) и рассказал о Щите Энея и об истинном страже всех известных видов Пламени и Огня – об огнемогущем, о Вулкане, о хромом с Олимпа, об оборванце, о никогда не отдыхающем кузнеце.

«Эней, – сказал я, – также выполнял некую миссию: он должен был основать царство Прогресса, царство будущего». Так я сказал и объяснил, что богиня Венера, мать Энея, захотела помочь ему (*мать бывает только одна,* напомнит Чупачупс) и пошла к Вулкану с тем, чтобы ее сыну, Основателю, в решающей битве досталось *самое продвинутое* оружие. Тогда Огнемогущий изготовил необычный щит, который, конечно же, служил военным целям, но был также и художественным произведением, поучительным и даже в чем-то пророческим. Там, на поверхности щита, он весьма назидательно представил знаменитое морское сражение, в котором столкнулись сторонники Продвинутости и Отсталости, где рядом с Октавианом Августом бились боги римского пантео-

на, а против них – Антоний, Клеопатра, войска Египта и Востока и «варварские» боги. На стороне Прогресса, то есть Рима, стояли Нептун, Минерва и, естественно, Венера, и «гневный Марс», и Аполлон-лучник, с его меткостью и его стрелами, с его низкими приемами шакала, снайпера без чувств и нервов. На стороне Отсталости, как рассказывается в «Энеиде», – «чудовищные божества Нила и лающий Анубис».

Чаро, подумал я, любила своего сына так же, как Венера своего, или больше, значительно больше; но у нее не было связей в определенных кругах, не было доступа к Вулкану, ни в какую иную олимпийскую инстанцию, и ее возможности *достать* щит были минимальными, так что Фредди был вынужден продвигаться к своим целям и задачам без какого-либо оружия, с открытой грудью вступать в решающие сражения, да и в обычные тоже, и вот так, храбро (без доспехов, вооружения и щитов), он разгромил Тамакуна в Колледже, и Трех Крестьян на Центральном шоссе, и многих врагов больших и малых, с которыми ему пришлось сталкиваться на военной службе, в Минторге, в его карьере, во всей его жизни, а жизнь, как говорил классик, «это работа и борьба».

Мне захотелось представить себе щит, который Чаро могла бы заказать Вулкану, и то, как там были бы представлены сторонники Продвинутости и Отсталости. В первом войске сражались бы воинствующие члены Кардесистского Кружка Поголотти, возглавляемые Аланом Кардеком, Мариньо, Страдальцем Сибонеем и духами Великого Света, во втором – ведьмы, колдуньи, оборотни и улитки, собаки Бабалу Айе и Сесилии Вальдес Гойенечеа («лающий Анубис», Немой Пес и остальные), спиритисты чистопородные и «скрещенные». Не знаю, каким образом были бы отражены на этом щите «этнические аспекты» Продвинутости и Отсталости, как Вулкан смог

бы художественно разрешить (не впадая в вульгарность) деликатный пункт Африканской Попы или двойственность Гладких и Курчавых Волос, так много значивших для Чаро и самого Чупачупса.

В тишине я воображал возможный щит, сопровождая мои фантазии двойным «Старым ромом» со льдом, а Чупачупс пил его же, но сухой, очень быстро, а Марк Аврелий вяло держал в руке стакан белого и водянистого рома, и вот тогда на площадку выдвинулась Лурдес: она оживила разговор (надо признать) и обратилась к теме Отсталости и Продвинутости в браке, и сделала это, атаковав очень распространенную в те годы теорию, рассматривавшую ухлестывание за молоденькими как Прогресс.

«Есть мужчины, очень недалекие, – сказала она, – которые стремятся *продвигаться и развиваться*, покидая своих жен, определенных им на всю жизнь, женщин верных и жертвенных, для того, чтобы жениться на девушках, а те впоследствии устают от стариков, уже после того, как повытаскивают из них все, что могут вытащить, и предают, и унижают их, им становится противно заботиться о них, и они оставляют их одних, старых, больных и более *отсталых*, чем уличные собаки».

Обновление пары может считаться Продвижением, безусловно, если новая семья моложе прежней, – хотя при этом во многих случаях накладываются разнообразные условности, и схема «молодость-старость» смешивается с «бедностью-богатством», с вопросом презренного металла, влиятельного господина, с Прогрессом, воспринимаемым как накопление или как Подъем по социальной лестнице.

«Сколько романов написано, – сказал я, – в которых папы и мамы отдают своих очень красивых и нежных девочек в руки дряхлых богатеев, а типчики голубых кровей, оставшиеся без гроша, плетутся за

некрасивой простолюдинкой, наследницей богатого торговца. Не знаю, что бы делала литература, – сказал я, – без этих матримониальных сделок, гарантирующих Продвижение в одном смысле в обмен на Отсталость в другом». Так я сказал, и заговорил о «вероятных романах», которые можно было бы написать о кубинских девушках – скульптурных, блистательных, – которые в девяностые годы отпраздновали свои свадьбы с пузатыми испанцами или итальянцами, лысыми, в годах, которых можно было определить как нечто среднее между зрелыми и подгнившими, или о двадцатилетних аполлонических кубинцах, соединившихся с мумифицированными и покрытыми старческими пятнышками иностранками, с их длинными и тощими сиськами и северными Попами, опущенными и опускающими.

Но Лурдес не интересовал никакой другой роман, написанный или задуманный, кроме того, который был бы о ней, поэтому она агрессивно прервала меня: «Есть кто-нибудь, – спросила она, – кто думает, что Эриберто в какой-то степени продвинулся с помощью этой мерзавки?» Вопрос повис в воздухе, как грозовая туча, а она смотрела на нас своими (неузнаваемыми) глазами, которые когда-то были «самыми прекрасными» в Колледже Марианао, а поскольку никто ей не отвечал, она решила ответить сама себе и со слезами заверила, что Чудовище совершил невероятный Прыжок Назад, когда разбил такую прекрасную, «такую совершенную» пару, как у них (у Красавицы и Чудовища), чтобы уйти с этим «нечто, без сердца и души», сказала она. «Сменил корову на козу, и еще пожалеет» – так она сказала, но не смогла обойти слабого места или (скорее) сильного места Другой. Напротив, она его бесстрашно выпятила: «Эта женщина, – заявила она, – может быть самой плодовитой на Земле, может быть морской свинкой и рожать ему

по ребенку каждый год, но никогда, никогда в жизни она не сможет дать ему то, что дала я, и, кроме того, помяните мое слово, я уверена, дело кончится тем, что она наставит ему рога».

Предсказание Красавицы произвело фурор в коллективе: посреди нашей беседы об Отсталости и Продвинутости вдруг поднялся образ Чудовища с рогами. Фредди заворочался в плетеном никарагуанском кресле (оно заскрипело) и прервал свое молчание крепким словечком: он представил себе (как и Марк Аврелий, как и я) Квазимодо Колледжа, Наипаршивейшего, слоника Джумбо с украшением в виде рогов. Если бы сбылось предсказание Красавицы и Эриберто скрестился с семейством оленьих или бычьих или с кем-то еще из рогатого рода, то появилось бы новое Чудовище, еще более необычное и гротесковое, чем прежнее.

Чаро придерживалась позиций, схожих с идеями Красавицы: Нико Лаферте перешел в *отсталые,* когда поменял корову на козу. Ее речь так же шла о Другой, «ведьме», «дешевой девке», «черной колдунье», в том же тоне (очень концентрированной смеси ревности и презрения), которым пользовалась Красавица, упоминая «морскую свинку» или «других тварей», но, в отличие от Лурдес, Чаро не верила, что в мире может быть женщина, какой бы «развязной» или «падшей» она ни была, способная обмануть Нико. Рога были придуманы не для него, Чаро это признавала перед Чупачупсом, перед соседками и дочерьми и перед своими товарищами по кардесизму, перед общественным мнением По Ту и По Эту Сторону.

Лурдес, в свою очередь, очень «ясно видела», по ее утверждению, как развивалось соотношение Отсталости и Продвинутости в ее жениховстве с Эриберто. Если и была в Колледже Марианао фаворитка Вене-

ры, то это была Лурдес, которая получила от богини не щит (как Эней), но Тотальную Красоту и, таким образом, не без основания считала, что, соединившись с самым некрасивым и отталкивающим из «мальчиков», она, Лурдес, красавица из красавиц, невольно *отставала* и предоставляла ему, некрасивейшему из некрасивых, возможность сделать Большой Прыжок в Продвинутость.

Чаро не осмеливалась делать столь определенных выводов по отношению к своей истории с Нико, но пыталась делать это честно, путаясь в своих собственных установках и самостоятельно открывая опасности линейной концепции Продвижения.

В области «религиозно-духовной», «этнической» и «общественной» Нико, «гаитянский птенчик», черный из черных, каменщик без постоянной работы, с его высоко поднятой, гордой головой, ощетинившейся Курчавыми Волосами, носитель стольких диких верований, принесенных на Кубу его предками, должен был *продвигаться* рядом с ней, с Чаро, белейшей из белых, служащей, причем не в какой-нибудь лавочке, не в ларьке «три вещи за песо», куда там, Служащей в магазине «*Sears*» Марианао, и (если вам и этого мало) посвященной в Кардесистскую Школу, единственную правильную дорогу к *продвижению* через одно воплощение к другому, верный компас для того, чтобы ориентироваться посреди стольких *отсталых* верований и стольких предрассудков. Тем не менее она чувствовала, что *продвинулась* вместе с Нико в некое измерение, не изученное ни Кардеком, ни Денисом, ни Чико Хавьером, ни Мариньо, ни одним из теоретиков, и она неоднократно признавалась в этом Чупачупсу. «До того как полюбить твоего отца, – рассказывала она, – я ничего не знала о жизни, была тупым телом, шедшим из «*Sears*» на спиритические сеансы, а оттуда домой, как бы по течению, а Нико

сделал меня женщиной, и никакой другой мужчина не сделал бы этого так хорошо, с таким уважением, такой тонкостью и такой силой, что я увидела все по-иному, и «*Sears*» был уже другим, и даже кардесизм стал другим, и я лучше поняла его. Никто не представляет себе, – говорила она, – сколько Прогресса в переходе от тупого тела к женщине».

Когда Фредди передал нам эти слова Чаро, Марк Аврелий твердо заявил, что точно так же никто не представляет и не может себе представить «величие Духовного Прогресса, – так он сказал, – которого достигает настоящий Хозяин Самого Себя».

Мать Малого презирала говорильню о «Духовном Прогрессе», о Самом Себе и все такое и не останавливалась на оттенках, когда приходило время обсуждать проблемы брака: Серафин Эскобедо хватанул куш в лотерее Продвинутости, когда она ответила «да» и позволила этому неудачнику, помирающему с голоду, соединиться с одним из самых уважаемых семейств в Матансас, а она, наоборот («из чувства противоречия или от любви?» – спрашивал и продолжал себя спрашивать ее сын), не стала слушать советов и увещеваний и покатилась по склону Отсталости, позже открыто сожалея об этом, а во время Пятидесятилетней войны так просто вопя благим матом.

Марк Аврелий полагал, что как его мать, так и императрица Фаустина, и Тамара имели возможность приблизиться к Подлинной Жизни и к Доктрине Отказа и им открылся видимый путь к этическому и духовному Продвижению в единстве и согласии с соответствующими мужьями: Серафином Эскобедо, Марком Аврелием Великим и нашим, Малым. Похоже, делал вывод Малый, они не только не воспользовались такой возможностью, но жарко отстаивали знамена Ложной Жизни и толкали *назад*, в болото Ложного, в то, что называется «ячейкой общества», и

отрицали влияние и воспитывающее воздействие отцов на своих преемников, и даже усмотрели несомненные успехи в Коммодо, в братьях нашего Марка Аврелия и в Ребенке.

Правда, на вечеринке не говорилось о незавидной доле, которая сопровождает стоиков во время поисков спутника жизни, во время свадьбы и размножения, мы рассматривали иные, менее проблематичные браки, Фредди привел в связи с этим брак своей сестры с Тоти и уверил, что он формирует «свое собственное мнение» по этому вопросу: этот субъект был «поистине копченым, копченым в свое удовольствие», сказал он, «телефонного цвета», так он сказал, но такое чудо много разъезжало, и у него была «Лада-2107» и дом в Новом Ведадо, и он «вытащил мою сестру из Поголотти, и она стала жить как царица», сказал он, и таким образом этническая Отсталость была с лихвой компенсирована Продвижением в области Вещей и в том, что называется «условиями проживания».

А Анхелито? Продвинулся ли он или Отстал, женившись на Русской из Новосибирска? *Продвинулся* ли Леннон со своей Йоко, как казалось ему, или *Отстал*?

В поездке Китайчонка в Новосибирск можно увидеть движение в сторону варварского Востока, в сторону Отсталости; хотя и, по мнению Марка Аврелия, необходимо было рассматривать это как «обстоятельство, замыкающееся само на себя», имея в виду кантонское происхождение дедушки Анхелито.

«Великий, – сказал Малый, – всегда смотрел на Восток, на его научные и культурные запасы, и призвал к себе великих философов Востока, которые были величайшими в то время, а с ними понаехали в Рим величайшие шарлатаны своего времени и лавина восточного обскурантизма». Так он говорил, подчер-

кивая парадоксальный факт того, что западный человек нашел в Востоке «варварство», с одной стороны, и Прогресс и «знание» – с другой, и именно второе – «знание» действительное, глубинное, которое *продвигает* вовнутрь и изнутри – было тем, что Леннон смог увидеть в Йоко. «По моему мнению, – сказал Малый, – Йоко принесла Леннону три главных дара: любовь, это понятно, что-то из культуры своих предков, что-то от старого Чипанго, и немного покоя (эту поблажку) для демонов Леннона, так что алгебраическая сумма этих подношений не дает другого результата, кроме Чистого Продвижения».

Он не захотел размышлять над тем, что нашел Анхелито в Русской из холодного и далекого Новосибирска, по этому поводу не сказали ничего, ни я, ни Лурдес, ни Амарилис. Могу поклясться, что ко всем без исключения (одновременно) пришел на память плод этого китайско-русско-кубинского брака: девочка-лягушка, злобная Русита.

Чупачупс со всех сторон рассматривал данный вопрос и уже не сомневался: путешествие Анхелито «в чертову глушь», говорил он, в Новосибирск, было поездкой *в обратном направлении,* было отступлением. Вещи, которые люди привозят из поездок, имели для Чупачупса двойственную стоимость: ценность использования, пользу от Вещи-в-себе, и символическую цену, как свидетельство Продвинутости или Отсталости. А что привез Китайчонок из Новосибирска? Наверняка, полагал Чупачупс, целый грузовик Вещей на потребу, а вот вещью самой выдающейся, активной, неподдельной, которую он демонстрировал по возвращении, была Русита: «не что иное, как *это*», говорил он.

Путешествие семьи Марка Аврелия (в 1959-м или 1960-м) с целью осесть в Гаване, знаменитое Переселение, было типичным перемещением в сторону

Запада, в сторону Продвижения, то есть это был прогресс, достигнутый географическим путем. Тамара, которая позднее выйдет замуж за Марка Аврелия, ее родители и множество других родственников точно так же *продвинулись* с Востока на Запад, то же самое попытались сделать Дядя Маноло и все остальные дяди и кузены Малого, когда переселились еще далее на Запад и на Север (главные направления Продвижения) и основались в Майами, где, как уже было сказано, *всего хватает.*

«В этих переездах, – настаивал Малый, – приходится *отставать* в каком-то отношении и платить определенную цену: я был счастлив в моем детстве в Матансас, и потерял это, потерял друзей и незабываемые места, а мой тесть потерял своих петухов, а мои дядья и кузены потеряли больше и поэтому продолжают ездить в Диснейворлд».

Есть теоретики Отсталости и Продвинутости, которые рассматривают путешествие с точки зрения его направления (Восток – Запад, Юг – Север и наоборот) и его целей. Чупачупс, например, в свои солдатские денечки *продвинулся*, когда перебрался в часть поближе к Гаване, хотя это и был переезд в сторону Востока (классическое направление Отсталости), и в Сказке о трех крестьянах он также двигался на Восток, по Центральному шоссе, но в данном случае его целями были столица и городской праздник, а его соперники шли с Востока на Запад (явное направление Продвижения), но их целью была *отсталая* сельская вечеринка.

Для Фелито, из Колледжа, несомненно, его Передвижение от рулеток казино (городских) на сельские праздники, было вариантом путешествия на Восток, переселения *назад* – из Гаваны в хижину на равнинах Камагуэя. Однако Красавица, которой удалось «обнаружить» его там, вдали от цивилизации, утвер-

ждала, что Фелито счастлив, «любит и любим, – говорила она, – а там, где есть взаимная любовь и счастье, есть и Продвижение».

Когда Нико Лаферте переехал к Другой, из Поголотти в Калабасар, и разместился в деревянном домике, окруженном деревьями и собаками, Чупачупс подумал, что (выходя за рамки оценок Чаро) его отец *отстал* «с точки зрения жилищных условий», то есть он *терял* в основных показателях: в самом качестве недвижимости и его расположении, которое приближалось к «сельскому». Здесь вновь появлялась тема потери, упомянутая ранее Малым и часто используемая любителями обмена и вообще людьми для обозначения Отставания в сфере недвижимости. Позднее, как известно, все усложнилось, «прокормиться стало сложно», как говорили в ту пору, и Чупачупс должен был признать, что Калабасарский треугольник, кроме бесплатных манго и авокадо, преподносимых Матерью-Природой, позволял значительно легче получать и другие более дешевые, чем в городских условиях, продукты питания, а «там, где кому-то удается *решать* Проблемы, и происходит *Продвижение*», заключал он.

На нашей встрече Марк Аврелий проанализировал путешествие под другим углом зрения: он отверг, как фактор для сколько-нибудь серьезной оценки, Вещи, которые можно купить или *достать*, он отодвинул в сторону «подозрительные» теории о цели и направлении движения, а отстаивал тезис миссии, «являющийся ключевым», сказал он, и использовал пример Энея, «Основателя, Того, кто движется с целью именно основывать, с миссией прогресса»: «есть минута, – сказал он, – когда Эней путается, влюбляется в Дидону и начинает трудиться над основанием Карфагена, над задачей, свойственной Продвижению, но теряет время и *отстает* в той миссии, которая ему назначена».

«Есть множество других примеров, бесконечное множество примеров, – продолжил Малый, – того, как человек выбирает неверную дорогу или неправильную миссию и по ошибке основывает Карфаген, хотя должен был строить в Лации царство будущего, и кажется муравьем, снующим туда-сюда, вперед-назад, полагая, что он шествует к Прогрессу по прямому и чистому пути, что он герой всей цивилизации, что он титулованный *продвинутый* и все такое, а на самом деле совершая поступки некрасивые и вызывающие лишь сожаление, он идет на преступления во имя Прогресса, и *отстает* в этическом отношении, и с ним случается все больше событий, которые могли бы казаться комичными, если бы не были так печальны». Так сказал Малый и рассказал нам об «абсурдных идеях», которые придумали конкистадоры и испанские колонизаторы в отношении наших индейцев, и ужасных последствиях, которые имели эти идеи: они посчитали аборигенов «примитивными» и очень «отсталыми», потому что те не ценили золота, не придавали ему никакого значения, а они, испанцы, считали себя паладинами Продвижения, потому что *знали цену золоту,* и лихорадочно желали его, и подвергали риску свое Тело и Обе Души в поисках драгоценного металла, и по этой причине в мгновение ока могли лишить головы того, кто зовется Ближним.

Фредди все больше воодушевлялся «Старым ромом» и теоретической плотностью разговора, а еще больше воодушевился замечаниями Марка Аврелия по поводу индейцев и заговорил о Страдальце Сибонее и о том, «как его задолбали», сказал он, мамочка, профессор Мариньо и кардесисты Поголотти этим столь *продвинутым* духом, не знавшим цену золоту, не знавшим манго и авокадо и излучавшим «больше Света, чем стосвечовая лампочка, – сказал он, – больше Света, чем прожектор, чем маяк Моро», так он

сказал, и засмеялся в первый раз за вечер, и вернулся к истории о мулате, который выдает себя за выходца из индейцев, или за мулата-индейца, вместо того, чтобы признать свое африканское происхождение, Фредди стал настаивать, чтобы мы говорили о Прыжке Назад в этническом смысле и на уровне личности.

Он рассказал, что его сестра, жена Тоти, беременна и что Чаро (будущая Бабушка) и он, Чупачупс (будущий Дядя), вопрошали себя, в какую строну «прыгнет» дитя. «Мама просто одержима этим, – сказал он, – потому что, если оно *шарахнется* в сторону Тоти, у нее получится Внук Телефон, а у меня Племянник Телефон и появится телефонная зона семьи», – сказал он, хотя признал, что это создание могло *принять* цвет отца, но ослабить этот признак, к примеру, Почти-Ровными-Волосами матери; или, возможно, позаимствовать красивый коричный цвет от Фредди или его сестры, но сохранить Ужасные Волосы Тоти; или сделать Великий Прыжок Вперед, кто знает, или очень большой прыжок назад, в сторону джунглей, в сторону Гаити или туманной Дагомеи, где бодрствовали вокруг огня (тоже жертвы бессонницы) праправрадеды Нико Лаферте и Тоти.

Каждое утро Чупачупс изучал, когда брился, следы и изменения (иногда очень слабые) Продвинутости и Отсталости в образе, который возвращало ему зеркало: он нежно причесывал свои Гладкие Волосы и ощущал гордость за «крышу», так он говорил, которую ему подарили боги, и чистил свои острые зубки, и иногда, открывая свои толстые и чувственные губы, столь умелые во всех видах сосания, спрашивал себя, был бы он более счастлив с меньшей губастостью, так он говорил, и всегда отвечал себе, что нет, никоим образом, и освобождал свои носовые полости и оставлял их чистыми от соплей и других нечистот и состригал ножничками выросшие волоски, и вот

тогда он начинал проклинать свой приплюснутый и *отсталый* нос.

В зрелом возрасте он согласился со своей губастостью, сыгравшей такую роль на протяжении (и во всем пространстве) его жизни, с сосательной способностью, которая была ему так полезна с юношества, со знаменитых встреч в «Амбассадоре», «шлюшкам нравилось, и они находили это очень сексуальным», так он говорил, улыбаясь, и был очень горд своим влажным ртом. Но он никогда не прощал себе носа.

Носовая Отсталость – вот что более всего он ненавидел в своей физиономии, и он дергал себя, чертыхаясь, за этот плоский нарост, и злился, и проклинал этот пенек, и оскорблял его, как если бы в ответ на его действия тот мог вытянуться и *продвинуться* по желанию. В тот вечер, во время разговора об Отсталости и Продвинутости, он еще раз предпринял атаку на свой нос, и я с лучшими намерениями повторил кубинскую пословицу: «Не беда, что нос курнос, – сказал я, – было бы чем дышать», так я сказал, а Фредди обиделся: «Иди к черту, – сказал он, – я ставлю что угодно, любые деньги на то, что эту дурацкую присказку выдумал не курносый человек».

Марк Аврелий проголосовал в пользу «дурацкой присказки» и заявил, что ее надо приветствовать как «шаг вперед» в отношении «определенных расовых концепций», сказал он, но что «шаг этот маловат», прибавил он, «и делается в защиту *функционального* в сравнении с *эстетическим*, и заявил, что «поговорка высшего уровня, поговорка подлинно эмансипирующая должна восставать против кодексов белых колонизаторов с целью утверждения права курносых на дыхание и на красоту». Так он сказал и заговорил о выдающемся носе евреев, о том, как нацисты осуждали его и преследовали и считали его несомненным знаком Расовой Отсталости.

«Эстетические принципы будущего, – сказал он, – вместят в себя все носы, все цвета, все волосы, и возникнет универсальная раса, результат самого полного и окончательного смешения, первая высшая раса в истории, – говорил он, и правый, неверный глаз, озирал нашу вечеринку и с надеждой смотрел в это возможное будущее. – Не надо забывать, – добавил он, – что скрещивание пород находится в основе самых значительных Прыжков Вперед в истории Человечества».

«Тогда я позову мою старушку и успокою ее, – сказал Чупачупс, – скажу ей, чтобы она больше не мучилась и что ее внучок, сын Тоти, в любом случае станет прародителем этой высшей расы, посмотришь, как довольна она будет», – сказал он и налил себе еще «Старого рома», и съел яйцо, фаршированное «авокадо», и в связи с этим вспомнил те яйца, что дарила ему Тере в дни Утех Юга, и на этот раз увильнул от чувства Вины, переведя воспоминания в философский план, и рассказал нам о крестьянских яйцах и об их превосходстве над фабричными. «Фабричная курица, – объяснил он, – выращивается с использованием всех достижений цивилизации, на основе специальных разработок, привезенных Оттуда, в чистеньких клетках, под крышей, людьми, которые за ней ухаживают, а другая курица живет в говне, и жрет говно все время, и ест всяких букашек, сверчков, гусениц, и вот именно она дает лучшее яйцо, уверяю, именно из Отсталости получается яйцо что надо».

«И говоря о яйцах, – прибавил он, – мы должны поговорить об Отсталости самой гнусной, – сказал он, – и обратился к Сексуальной Отсталости, которую он, Чупачупс, испытал на себе, правда, в течение очень короткого периода своей жизни в этом мире. – Вот в этой области заключается настоящая Отсталость, – сказал он, – там ничего не стоят эти ваши

кодексы, ни эта тема *функционального* и *эстетического*, это то, что злит тебя, выводит из терпения, это худшее, что может произойти с человеком, – сказал он, хотя тут же вспомнил об изнасилованной козе, а также о мадам Блаватской. – Проблема не в том, чтобы искоренить в себе эту Отсталость любой ценой, – сказал он категорично, – отставай себе с козой или кошкой, или обращайся в онаниста, или проковыривай дырку в банановом дереве», – сказал он и похвастался тем, как «с достоинством вышел», так он сказал, из своих вынужденных Отсталостей.

Стоики краснеют только в исключительных случаях, но замечания Фредди о Сексуальной Отсталости и о законных или незаконных формах справиться с ней произвели этот нежелательный эффект в Малом, и кисть румянца прошла по его бледному лицу и остановилась на ушах. Амарилис определила, что именно он чувствует, и накрыла его завесой своего взгляда, отчего уши нашего стоика покраснели еще больше и неудачный глаз поднялся в полет и крутился в вышине, как ночная бабочка, а хороший глаз моргал (холодный, зажатый) без возможности удрать.

Позднее я обо всем узнал, или почти обо всем, или о самом главном: Амарилис, с ее огромными, прозрачными глазами и ее крохотным тельцем, спасла Малого от Сексуальной Отсталости, чтобы погрузить его (думал он тогда) в самую необратимую Этическую Отсталость, в бездонный колодец Вины.

Пройдут многие годы с той вечеринки, где мы обсуждали Отсталость и Продвинутость, поработает Кронос (без выходных и праздничных дней) со своим серпом и неостановимой прялкой, когда Марк Аврелий и я, постаревшие и разбитые, вернемся к этим вечным темам. Тогда, после долгих экивоков, он «признается» мне и расскажет об Амарилис. К тому времени Малый уже был уверен, что его встреча с

«этой выдающейся женщиной», так он сказал мне, стала Безусловным Продвижением для него *во всех возможных смыслах*, тем, чем была Йоко для Леннона.

Марк Аврелий, наш, из Команды, когда познакомился с ней, воплощал в себе характерную, неустранимую худобу, угловатость и не был, не мог быть тупой массой, хотя в известной мере «плыл по течению», сказал он мне, «как Чаро».

«Если любовь Нико, – сказал он, – помогла Чаро с ее кардесизмом, любовь Амарилис открыла мне путь к более высокому и полному пониманию Доктрины Отказа, заветов моего отца, «Размышлений» Великого. Она – заключил он в слезах, как не должны завершать свои речи стоики, – была самым главным, что произошло в моей жизни». Так он сказал, и слезинка выкатилась из его хорошего глаза, а в неудачном появилась маленькая капелька, которая могла бы стать второй слезой, но неудачный глаз все время двигался (и двигался бы безостановочно до самого Судного Дня), так что не давал ей ни сформироваться, ни выйти, ни выразиться.

25 ПУТЕШЕСТВИЕ В РИМ

Вскоре после поездки в Канаду Чупачупс объявил, что должен пересечь Атлантику и совершить «стратегическую поездку» по разным городам Европы – Мадрид, Барселона, Париж, Рим, Милан, – он произносил своим круглым ртом и пробовал на вкус каждое из этих названий, как если бы эти святыни Прогресса были сочными плодами манго, которые можно обсасывать и кусать.

Каждый раз перед выездом за рубеж Чупачупс делал все возможное, чтобы скрыть дрожь, овладевавшую его Телом и обеими Душами, и изображал естественность миллионера, имеющего в ангаре собственный самолет с желтым знаком на крыльях, но ему было непросто избежать самодовольных поз и прочих признаков причастности к Вещам.

Амарилис он пообещал привезти то, что в те времена называлось *walkman*, чтобы она носила музыку с собой по всему дому, хлопоча по хозяйству, и таким образом Паблито, Серрат и Сильвио, особенно Сильвио, могли бы сопровождать ее, пока она мела, мыла и готовила. Так он сказал, и запечатлел мягкий и влажный поцелуй на губах жены, и добавил, что их гостиная просто криком кричит о покупке настоящих штор для ряда окон справа, хороших штор, может быть, интенсивно-синего цвета, чтобы это был мощный, заметный мазок, из ткани, которая тяжело спадала бы до самого пола, стильно, а не как та «уродливая тюлевая занавесочка», которую они вынуждены были терпеть.

Фредди Чупачупс в роли Чупачупса-Декоратора расставлял свои длинные руки посреди зала, как настоящий стилист, умелый, профессиональный, с минимумом «этих штучек», и высчитывал метры ткани, которую надо купить, и во что ему обойдется качественная материя, богатая, но строгая, именно такая, какая нужна для завершения образа дружеских встреч и высоких визитов, хотя нет, может быть, нет, стоит продумать все получше, и это будут совсем не торжественные и плотные занавеси (более подходящие для вилл из фильмов, где вот-вот кого-то убьют, и где еще есть старуха на каталке или привидение), возможно, ключ кроется в том, чтобы скомбинировать элегантность с молодежным стилем, что-то подходящее к привлекательному настрою его дома, с макраме и разными фигурками, с плетеными креслами, кто знает, может, то, что впишется в общую атмосферу его дома, такого свежего, милого, гостеприимного, это будет какая-то легонькая штора из гибких лент, по желанию сворачивающихся и разворачивающихся, что-то наподобие шторы-жалюзи, способной мягко и легко противостоять палящим лучам, но так, чтобы обстановка не сделалась сумрачной. Так он размышлял, вдохновенный, и попросил у Амарилис рулетку, чтобы точно определить ширину окон по правую сторону, и в эту минуту, когда Амарилис рылась в ящиках в поисках проклятой рулетки, которая исчезала всякий раз, когда нужно было что-то мерить, глазки Чупачупса-Декоратора обнаружили Марка Аврелия.

Малый спускался по лестнице, которая вела из Комнаты с Видео, направляясь к двери, тихонько, стараясь пройти незамеченным, он намеревался проскользнуть на улицу, не прерывая нового проекта декора дома, он хотел справиться с этой Вещью стоически, выйти и встретиться лицом к лицу с повсе-

дневной жизнью и всем остальным, вместе со своим потертым бесформенным портфелем юридического консультанта бедной конторы, в своих обтрепанных джинсах, в одной из этих застиранных рубашечек, таких старых и немодных, что им впору бы в музей, и таких уродливых, боже, более уродливых, чем портфель и тюлевые занавески, чем все то уродливое, что только было вокруг.

«Черт возьми, дружище, – воскликнул Фредди патетически, словно впервые увидел, как выглядит его друг, – тебе просто необходимы приличные рубашки, – сказал он, – и новые штаны, и достойный дипломат для твоих бумаг, черт, дипломат адвоката, а не это дерьмо, с каким ходят собирать плату за свет, и туфли, конечно же, хорошая пара туфель». Так он сказал, и оглядел еще и еще раз донкихотский образ друга, и почти с отвращением остановился на кедах – мятых, разбитых, рваных, испещренных бесчисленными швами, с загнутыми кверху резиновыми носками, настолько замызганных, что никто не смог бы определить их изначальный цвет, – кедах, готовых рассыпаться в прах, хотя и продолжавших жить, как бы это сказать, в болезненном напряжении, и было действительно чудом, что они еще сохраняли видимость чего-то цельного на костлявых ногах Марка Аврелия.

«Ты и вправду едешь в Рим?» – спросил вдруг хозяин этих тапочек, и произнес это самым приглушенным тоном из своего репертуара, словно ему было стыдно за вопрос, словно в нем могло открыться подспудное желание или остренькое рыльце зависти – страсти, которую, как известно, любой стоик должен вырвать из себя.

«Я еду в Рим и в Милан, – сказал Чупачупс слишком громко и гордо, так у него вдруг получилось. – И надо тебе сказать, что итальянские туфли – одни из

лучших в мире, это просто перчатки, это чудо, кожа шелковая, и ты выбросишь эти нищенские кеды».

Хороший глаз Марка Аврелия опустился к ногам и стал изучать свою обувь, но недолго, а неудачный глаз без отдыха летал вокруг Чупачупса, и вместе с ним летали кое-какие его мечты и чаяния, завещанные Серафином Эскобедо. «Я могу тебя о чем-то попросить?» – сказал он тем же приглушенным и стыдливым голосом. «Конечно, парень, – ответил Чупачупс, и подошел, и похлопал его по плечу, чтобы помочь ему выразить просьбу. – Если это не слишком дорого стоит и не слишком много весит и если это уместится в самолете, – сказал он и заулыбался, толстый и простецкий, как Санта-Клаус, выслушивающий самые тайные желания людей. – Требуй все, что пожелаешь, не выделывайся, – сказал он, – ведь мы с тобой друзья на всю жизнь».

Наступила одна из таких пауз, во время которых, как говорят, ангелы проходят меж людей, и наконец заговорил наш Марк Аврелий, Малый, твердо и четко. «Я хочу, чтобы ты нашел в Риме два памятника, два – ничего больше, и сфотографировал их», – сказал он, и Чупачупс принялся хохотать, и обнял друга всей своей жизни, такого романтичного бедняжку, и занес в расписание поездки со всей серьезностью – рядом с перечнем Вещей, которые он должен был купить, рядом с занавесками и их размерами – обещание посетить (с «фотоаппаратом») Колонну Марка Аврелия Великого на Пьяцца Колонна и конную статую того же самого Великого напротив Капитолия.

На следующий день Чупачупс уехал, и Амарилис запрыгнула (это точное слово) на Малого, и они оба нырнули в лихорадочную близость и постепенно двигались от ослепительного соударения, от «влюбленности», от страсти в сторону более спокойного потока, почти волшебного, который тащил их, и окутывал,

и связывал, который впитывал их так, как это может делать только любовь. Они прожили два месяца в эротике, в наслаждении, в нежности и счастье (необычное слово, которого Марк Аврелий предпочитал избегать); два месяца, за которые они оба обменялись Телами, Душами, всеми тремя своими главными субстанциями, и своими меньшими субстанциями, флюидами и выделениями; два месяца, в которых не было места Вине, мучительному беспокойству и внезапному испугу, когда оба они нарушили границы, и перепутались, и смешались. Так Малый понял, что он принадлежит Амарилис бесповоротно и что уже не сумеет (и не сможет) жить без нее.

Триумфальное возвращение Чупачупса – лучащегося, блестящего и нагруженного подарками – было особенно тяжело для Марка Аврелия по трем причинам: во-первых, и это очевидно, из-за резкого закрытия Рая, который он покинул более изгнанным и прибитым, чем библейский Адам; во-вторых, потому что он должен был вернуться к моральной пытке притворства; и в-третьих, поскольку он убедился, что она любила точно так же и Чупачупса, и целовала его и обнимала, и говорила «добро пожаловать» с подлинной радостью, с настоящей нежностью, да, в этом не было сомнения, и наслаждалась рассказами о событиях и напастях (таких смешных и глупых) Путешественника Чупачупса.

Амарилис радовалась приключениям своего мужа (ее законного мужа) и не стесняясь заливалась безудержным детским смехом, которого Марк Аврелий от нее и не слыхивал, и смеялась до слез, когда Чупачупс рассказывал о трудностях с пониманием языка, как он обращался на итальянском, французском и вышедшем из моды эсперанто к таксистам, официантам и служащим гостиниц и отелей: «силь-ву-пле, бамбино», говорил он, «волере ун лагер, уни пикколо лагер», так он

рассказывал, и хохот Амарилис поднимался как на воздушных шариках и тут же опускался, но уже твердый, заостренный, и это были острые камни, дротики, вонзавшиеся в Малого. Так он познал еще, что к осознанию Вины подталкивает также другой недуг, в свою очередь требующий места внутри тебя, недуг, начинающийся с ощущения свежего ожога, с муки, которую стоики с презрением отвергают, а именно: вместе с любовью ревность поселилась в его Разумной Душе, и обе они намеревались там остаться.

Было и еще что-то, вводившее его в печаль: Чупачупс не сдержал обещания и не посетил конную статую Великого, а также колонну, воздвигнутую в память о его победах над варварами, и, разумеется, не мог показать сделанных им фотографий. Программа была очень «плотной», оправдывался Чупачупс-Путешественник, постоянное «бегом-бегом», говорил он огорченно, «встречи с Таким-то и Сяким-то, с очень важными типами, с типами очень богатыми, – говорил он, – и обеды и ужины эдакие, деловые, где ты должен быть во всеоружии, быть очень внимательным, и пользоваться той вилкой, которой нужно, и жевать медленно, так что ты и не радуешься еде, и не можешь напиться, это мучение, просто беда, видит мама, что это так, – говорил он, и Малый слушал его хмуро, и его тонкогубый рот еле заметно кривился. – Но я помнил, не думай, я не забыл о твоем заказе, – настаивал Фредди, пытаясь открыть один из своих набитых чемоданов. – Ты увидишь, гнусный тип, что он был со мной, он все время был со мной...» И чемодан поддался и раскрыл свои недра, и оттуда начинали сыпаться Вещи как неостановимое кровотечение.

Там были: мыло в блестящих упаковках, которые вертелись в руках, искрясь, словно рыбки; монументальные флаконы шампуня для сухих и жирных волос, яичные, витаминизированные; дезодоранты, которые

выстраивались, как солдатики, повзводно и поротно; чулки и колготки, разноцветные трусики и маечки, украшенные цветочками, губками и сердечками; расчески для Гладких и Курчавых Волос; один *walkman* и к нему батарейки, много батареек; поясные ремни с Эйфелевой башней на пряжке; пластиковые босоножки для Нико Лаферте; фен для волос, заказанный Чаро и похожий на бластер из «Войны миров»; французские духи «Пако Рабанн» для жены Шефа; тюбики с гидратантным и омолаживающим кремом; там была жвачка против кашля для Лурдес Красавицы; набор шариковых ручек и перьевой «Монблан» для Шефа; трусики (типа танга), которые так ждала Ласарита; одежда – облегающая для Амарилис и просторная (болтающаяся) для Чупачупса; пуловеры, бесконечные пуловеры с изображениями Эйфелевой башни, Венеции, Эроса Рамазотти, для приятелей и закадычных дружков, для тех, кто из нынешнего района, и для тех, кто из Поголотти, для друзей на всю жизнь, и для Анхелито Китайчонка, для Русской, для Руситы и для Ребенка Марка Аврелия, для моей жены и для меня; очень элегантные солнечные очки и портмоне с инициалами Влиятельного Лица; малюсенькие лифчики для Амарилис и необъятные для Чаро; шелковые юбки с индийскими мотивами для сестер Чупачупса; кусачки для ногтей для Тоти; бритвенные лезвия для профессора Мариньо; одноразовые ручки и брелки (с Эйфелевой башней и логотипом Зимней Олимпиады) для «масс» – для членов Кардесистского кружка и для соседей, для самых далеких приятелей, для Обслуживающего Персонала и остальных сотрудников Фирмы; три ошейника против блох и галеты в форме кости для передовиков года в своре Сесилии Вальдес Гойенечеа; клеенчатый передник (с нанесенным силуэтом Эйфелевой башни) для самой Сесилии; виниловый портфель и кеды на толстой подошве для Марка Аврелия

Малого («ты представить себе не можешь, что стоят сейчас кожаные туфли»), и тоже для Малого, исключительно для Малого, пачка открыток о римском искусстве, на которых можно было увидеть лучше, чем на каком-нибудь фото непрофессионала, Императора-Философа на бронзовом коне, с величественно поднятой правой рукой (благословляя войско? или воодушевляя, в столь свойственной ему сдержанной манере?), и на колонне, посвященной его памяти, на общих планах и на каждом из рельефов, что ее покрывают.

«Фредди не понял, что я у него просил, – сказал мне потом Марк Аврелий Малый. – Может, это была глупость, сентиментальность, – сказал он, – но я хотел, чтобы кто-то из нас, кто-то близкий, один из Команды, совершил паломничество, которого не смог сделать мой отец и я не смогу, и пришел бы туда, и побыл бы десять или пятнадцать минут в символическом общении с Великим. Фредди сделал для меня жест, за который я ему очень благодарен, за то, что он помнил и купил эти открытки, но я просил у него несколько фоток, так, чтобы он был там, а над ним Великий, на своем коне или на колонне: Чупачупс, посещающий Великого за меня, за нас, за моего старика».

Я смотрел на эти изображения, безразличные, без изюминки, без жизни – какими и должны быть туристические открытки, и время от времени бросал взгляд на Малого: ясно, что, когда тебе за сорок, можно стать сентиментальным и даже начать возбуждать себя «символическими актами». Какой должна быть причина, по которой Чупачупс прервал бы хоть на минуту свои покупки и стал бы фотографироваться рядом с куском бронзы или мрамора? Уж если кто не имеет ничего, абсолютно ничего общего с Великим, так это Чупачупс: даже если он вскарабкается на лошадь к Великому, даже если влезет на колонну, как

по ярмарочному столбу, и ему сделают целую пленку фоток, он вечно останется Фредди Чупачупсом – и на вершине колонны, и гарцуя с Великим в обнимку, он все равно будет занят одним вопросом: в каком пригороде Рима продают самую дешевую мелочовку.

В конце концов открытки оказались полезными, несмотря на меланхолические протесты Малого: он сам более тщательно изучил их и выбрал три для того, чтобы прокомментировать их на одной из наших встреч. Они образовывали, как он сказал Чупачупсу и мне, некую триаду, значение которой начинаешь понимать очень и очень постепенно. Сначала ты различаешь лишь три разобщенных элемента или объединенных чем-то очень примитивным; немного спустя ты замечаешь, начинаешь замечать тонкий прерывистый лучик Света, словно траекторию светлячка в горной ночи; «и наконец, когда ты уже почти и не надеешься, – объяснил нам Малый не без торжественности, – формируется треугольник, еще один треугольник, и вот тогда-то для тебя проявляется четвертая открытка, которой не было в комплекте», – сказал он, и я подумал, что, оставаясь сентиментальным символистом, он становится еще и мистиком.

Первая открытка воспроизводит бюст Коммодо «с атрибутами Геркулеса», о чем нас информирует надпись на обороте; вторая – скульптуру змеи Гликон; третья – один из рельефов Колонны Марка Аврелия: «Император на поле битвы».

Коммодо – Гомункул, последний из династии Антонинов, сын и наследник Великого – переодет в Геркулеса, излюбленный костюм, который он надевал, чтобы подчеркнуть свою необычность, и бесстыдно выставлял напоказ собственную распущенность и стремление стать ярмарочным шутом на турнирах и цирковых представлениях: на голове и спине – шкура льва, на плече – дубина Геркулеса, в руке – двусмы-

сленно выставленная гроздь винограда. Но именно его глаза, тщательнейшим образом вырезанные на белом мраморе, говорят нам из прошлого наиболее выразительно. В зрачках Коммодо виднеется какая-то зоологическая пропасть, ужасающая холодность, присущая ему неспособность к малейшему этическому проявлению, к милосердию, любви или Вине.

Говорящая Змея, «колдунья» или «зверушка», как ее назвал Чупачупс, обвилась вокруг самой себя в позе, типичной для этих пресмыкающихся, и так и была увековечена в мраморе: поднятая, напряженная, готовая к броску голова, похожая на перископ подводной лодки. Если глаза Коммодо на описанной скульптуре роднят его с животным, то что-то человеческое (худшее из человеческого, самое подлое и расчетливое) присутствует в глазах Гликон.

На третьей открытке Великий проходит с мечом в руке по рельефам, изображающим «похищение варварских женщин», «обезглавливание пленных» и прочие противоестественные чудеса, о которых мечтали его воины и офицеры. Он проходит как луч света через это варево страстей и дикости – с выражением отстраненности, внимая Вещам, которых мы не видим, не способны видеть, он не замечает этих сцен, покрывающих колонну, воздвигнутую на римской площади, той, что назовут Пьяцца Колонна, для увековечения в памяти поколений его триумфов на берегах Дуная.

Малый положил перед нами на стол первую и вторую открытку. «Вот здесь Коммодо и Гликон, зловещая парочка», – сказал он с необычным напором и отставил свой стакан с ромом (водянистым, изнасилованным), чтобы не повредить изображений этой пары, образованной, по его выражению, «животным, пришедшим Извне, и местным монстром», так он сказал, и я силился понять это и наливал себе еще драго-

ценной жидкости, этого виски, которое в соответствующих дозах склоняет к абстрактному мышлению и к пониманию вообще; а Чупачупс закусывал шкварками и хрустел ими с ироническим оттенком на жирных губах, и толкал меня локтем, как соучастник, словно говорил: «вот и еще один у нас влип», и требовал от Малого кончать с детскими сказками, то есть со Сказкой о Змее Гликон и о ее создателе, Александре из Абонотики, бесстыжем парне, ставшем знаменитым и богатым и превратившемся в важную персону только благодаря хищному зверю, соответствующим образом накрашенному и выдрессированному.

Наш Марк Аврелий, из Команды, презирал этого самого Александра из Абонотики, как, безусловно, отвергал его в свое время другой Марк Аврелий, Великий; но признавал его способности: он должен был быть очень хитроумным плутом, и первоклассным дрессировщиком, и, кроме того, экспертом в том, что сегодня называется в кино «спецэффектами». Фактом остается – как это отрицать? – что он добился впечатляющих результатов: натренировал Змею, и напялил на нее маску из ткани с нарисованными человеческими чертами, и использовал конский волос и клейстер, чтобы соорудить ей косматую гриву. Таким образом, Гликон стала немного похожа на Мика Джаггера или на египетского бога Куна, которого представляют в виде змеи с головой льва, но вскоре ее стали превозносить как воплощение Эскулапа, и даже в самом Риме ей полонялись люди всех классов и всех уровней.

Чупачупс поедал все больше и больше шкварок и яиц, фаршированных паштетом из авокадо, и попивал «Чивас Ригл» аппетитными глотками, и требовал все больше данных от Марка Аврелия: он то смеялся над кознями Пройдохи из Абонотики, то с очень серьезным видом рассматривал изображение Гликон и

пожимал плечами, как бы говоря «а кто его знает» или что-то в этом роде.

Вот тогда Малый достал третью открытку, и неуверенным жестом, дрожащей рукой начинающей гадалки положил ее на стол рядом с другими, и попытался сфокусировать свой взгляд, устремить свои глаза, и хороший и неудачный, на изображение «императора на поле боя», а затем приблизил эту третью открытку к первой, к Гомункулу с «атрибутами Геркулеса», и сказал, что между ними имеется «вполне очевидная» историческая связь, сказал он, и это потому, что Великий, уже очень больной, заставил Коммодо сопровождать его в экспедициях против варваров, которые он предпринял в конце жизни.

Великий был самым Великим, был владыкой мира, но не сподобился Счастливой Смерти Дяди Маноло. Он пребывал «на поле боя», но тем не менее его не убила Насильственная Смерть Леннона. Хотя он лучше всех прочих был подготовлен к страданию и к усыханию, его не постигла та Смерть, что восемнадцать веков спустя унесла с собой Серафина Эскобедо и русскую тещу Анхелито.

Та, Что Не Прощает пришла к нему вместе с тифом в степи, где разбили свой лагерь Великий и его войско, вошла без спросу в императорскую палатку, и развеяла в пух и прах Животную Душу Императора-Философа, и отпустила его Разумную Душу в полет к небесам, а может, ко Всеобъемлющему, или кто знает, куда еще, и бросила на земле горой мусора его гниющее Тело, то есть материю – еще не «плохую», не «хорошую», а перестраивающуюся со всей возможной скоростью.

В этот час «разыскать» Коммодо было довольно трудно: он гулял со своими дружками-приятелями по окрестностям лагеря, занимаясь своими обрядами, или своими выдумками, или какими-нибудь грешка-

ми похоти, и, как рассказывают, не стал утруждать себя притворной скорбью, а издал радостное ржание и побежал брать командование над войсками Империи и всем цивилизованным миром.

Ему тогда было менее двадцати лет (что поделаешь), и он был слишком молод и неопытен для такой власти и такой ответственности; но все обернулось хуже, значительно хуже, как нам объяснил Малый, когда он стал в физиологическом смысле «взрослым» и набрался «опыта». Он был последним из Антонинов – позорным плащом, покрывшим их блистательный период.

Как не испытать тот желудочный спазм, тот удар, подкатывание к горлу, ту неистовую тошноту, которую чувствуют исследователи этой династии великих правителей, и в особенности жизни и деятельности Великого, «Антонина Философа», когда они бывают вынуждены упомянуть Коммодо – фигляра, переодетого в Геркулеса, ненасытного накопителя Вещей, греховодника, тренировавшего свою похоть на детях, рабынях, гладиаторах, козах и медвежатах, который скулит (во сне), как щенок, а потом воет, призывая своих неправедных богов.

Малый, даже не будучи настоящим «исследователем», много раз чувствовал эту тошноту, она с полной силой подкатила к нему и сейчас, и он отпил немного своей «смеси», чтобы прочистить горло и смочь рассказать нам о различных гипотезах, пытающихся объяснить феномен Гомункула генетическим срывом, или результатом близкого родства его родителей (Великий и Фаустина были двоюродными братом и сестрой), или так называемым обменом флюидами между Коммодо и его рано умершим братом-близнецом, или зловредным влиянием планет Сатурн и Плутон в день его рождения. Но он поведал нам и о другой гипотезе, этого не утаишь, о Жалостливой Гипо-

тезе Рогов, которая считает Гомункула результатом греха Фаустины, и, хотя это вдвойне венчает Великого в масштабах Истории, такое предположение налагает на него невероятно тяжелую личную Вину. Если признать очевидное моральное смешение, добавил бы я, произошедшее в союзе Императора-стоика и легкомысленной Фаустины, то не становится ли Коммодо еще одним проявлением чуда Летающего Кота?

Марк Аврелий Малый потягивал, как комарик, ром из своего стакана, кривил тонкогубый рот и говорил, что самым тревожным здесь было «сальто-мортале в Отсталость», так что совсем не надо сильно заморачиваться проблемой генов, или капризным сочетанием планет, или авторским правом виновного сперматозоида. «Вопрос в другом», – сказал он.

Мог ли предвидеть Великий этот Прыжок Назад? Был ли он для него чем-то неизбежным или таинственным образом «необходимым»? Почему он подписался под ошибкой Природы или тезисом Рогов или капризом звезд? Почему он настолько серьезно воспринял шутку богов? Его ослепляла любовь к этому крупному, мускулистому, очевидно отсталому парню, удиравшему от греческих наставников и от книг, чтобы предаться скачкам, борьбе и примитивным играм? Как оправдывал он скотоложество Коммодо и все остальные его оригинальные эротические наклонности? А его жадность? А приверженность Гомункула восточным религиям? Пристрастие к переодеваниям и маскам? Верил ли Великий, что его сын способен «вырасти», «стать рассудительным и благоразумным» и «созреть» (на что так наивно надеялись отцы стольких и стольких монстров) до такой степени, чтобы самостоятельно отыскать стоический путь к Истине?

«Его ослепляла любовь?» – спросил, переспросил себя Малый, и Чупачупс сказал, что да, «конечно, да»,

сказал он, и напомнил, что родители (неизвестно с какой стати) считают своих деток умными и красивыми, и сюсюкают с ними, и стараются не видеть в них, в детках, ни недостатков, ни отметин Отсталости, и воскресил в нашей памяти «невоспитанность Руситы» и то, с каким терпением Анхелито и мама девочки терпели «все это», сказал он, и в этой ситуации вспомнил о Чаро, о ее нежности и бесконечном терпении, и принес еще виски, рома и еще льда, и налил Марку Аврелию, и налил мне, по-благородному, как всегда разливал спиртное Чупачупс, и все мы пили, и Малый рассказывал нам о своей бессоннице и признался нам, как он раздумывал из ночи в ночь, до самого утра, над «путем Антонинов», так он сказал, и как он вспоминал о «просвещенном абсолютизме» Траяна, и об изменениях, совершенных Адрианом в бюрократическом аппарате, и об эдиктах Папы Пия из Антонинов, облегчавших участь рабов, и признался, что читал и перечитывал «Размышления» Великого, охотясь, по его выражению, за «некоторыми ответами».

Сейчас я думаю, что Малый задумывал более тесное сближение с Великим и его текстами, особенно когда он почувствовал себя совсем одиноким, очень несчастным после распада своей семьи и всех остальных распадов и разрушений, и приступил к тому, что называется «подведение итогов», и ему уже не хватало кодексов Серафина Эскобедо и Поляка. Для меня ясно, что он прослеживал в Великом свои собственные неотвязные идеи, и входил в его книгу, и подчеркивал карандашом любую более или менее пригодную идею, и погружался глубже, и выискивал разные трещиники, «козявки», отблески, и купался в водах «Размышлений», и рылся в иле, и ощупывал склизких обитателей глубин. На этих страницах, дышащих благородством, он продолжал преследовать «проклятых зародышей», так он говорил, и думаю, что левый, нормальный глаз

шаг за шагом объективно исследовал каждую строку Священной Книги, а неудачный, в свою очередь, производил другое, еретическое чтение, выражавшееся в непрекращающемся шнырянии и поиске иных, не написанных строк, относящихся к опасностям, исходящим от Монстра и Змеи Гликон и от всего остального.

Император-Философ пытался постичь Разумную Душу людей и переделать ее так, чтобы наука и философия по венам насытили кислородом Тело Империи, и именно поэтому, – рассказывал нам Малый, – Рим наполнился великими мудрецами, пришедшими из Греции, Египта, Сирии. Он не добился успеха: семьи патрициев поместили науку и философию в своих дворцах как экзотическую утварь или как шутов новой породы, и плебеи смеялись над вшивыми космами, бородами и обтрепанными одеяниями мудрецов, и всем было наплевать на их прозрения, и Великий убедился в тупом высокомерии людей, их тяге к бездарным побрякушкам Ложного и ошибочным дорогам, в Сопротивлении (слепом, цепком, необъяснимом) тому, чтобы жить Подлинной Жизнью.

Он также не предусмотрел опасность массового проникновения в его страну среди подлинных философов множества лживых пророков, болтунов, шарлатанов и проходимцев. Наверное, он думал, что произойдет естественная чистка, и Свет наложит вето на множество «светов» эфемерных и обманчивых.

«Его больше беспокоили другие комедианты», – убеждал Малый: те, кто, под аплодисменты толпы наводнял Рим по собственной инициативе, принося с Востока нелепые культы, магические действия и предсказания, талисманы, реликвии Озириса и Распятого, Глаз Отгоняющий Зло, нарисованный на табличках, портреты «лающего Анубиса», клыки неведомых животных, Шепчущие Камни Нила, пауков, скорпионов и исцеляющие порошки.

Наш Марк Аврелий выпил еще глоток, возможно лишний, тот, что толкает на нарушение границ, которые стоики предпочитают не переходить, и начал описывать римских солдат, возвращавшихся с окраин Империи: измученных, чесоточных, больных. На их пожелтевших лицах был написан ужас, наложенный как маска, и они бродили с потерянным взглядом, а за взглядом толпились суеверия и варварство. С ними пришла чума, не делавшая различий, и безжалостно убивавшая бедных и богатых, рабов и преуспевающих купцов, Великих и Малых, философов и гладиаторов, плебеев и знать, хитрецов и стоиков, и в считаные часы превращавшая придворную красавицу в мешок гниющего мяса, то есть видоизмененной ткани, и таким образом чума налево и направо давала поучения о тщете мирской славы и вообще Посюстороннего и открывала ворота Рима, чтобы дать свободный доступ карнавалу восточного идолопоклонничества.

Эти верования, как сказал Малый, были приняты (в том числе) обществом, которое зовется «высшим», во время «двойного кризиса», кризиса этического и кризиса культурного, и «прилипали, где только могли», так он сказал, и Чупачупс приветствовал своей вакхической усмешкой победу «обскурантизма», и пролил несколько капель виски для духов и мертвецов, для богов Востока и Запада, и оживился, и поднял тост за здоровье всех невидимых сущностей, которые из глубины ночи, или с небес, или Оттуда наблюдают за нами, сопровождают и защищают, хотя какая-нибудь из них и «хотела бы нас поиметь», сказал он и выпил за них за всех, «без обид», сказал он, а я, на моей новой волне атеиста, *ma non troppo* (но не слишком), поспешил поддержать этот тост, а Марк Аврелий поднял свой стакан с неудовольствием, из чистого соглашательства, и тут же, как только Чупачупс дал ему шанс, вернулся к разговору о «роковой паре» Коммодо и Змеи, и кому-то

могло бы показаться, что оба они находились здесь, рядышком, у дверей, слушая разговор, и что они в любой момент могли ворваться через окно, как Бэтмен и Робин, и пройти сквозь новые занавеси Чупачупса, и устроиться в зале, и в очень скором времени почувствовать себя «членами семьи».

Как известно, Алкоголь всегда производит действие, как бы его ни разбавляли, так что левый глаз Марка Аврелия Малого плыл как в летаргическом сне, а правый летал очень низко, планируя, словно готовясь к посадке, и к этим симптомам прибавился приступ словесного поноса о «зверушках» и Гомункулах. Он пришел в разбавленное состояние, или в полусостояние, единственное (разумеется), в которое он мог впадать, и в этом было что-то полуспорное, и Чупачупс наслаждался, провоцируя его и требуя более глубокого анализа «дурной славы Коммодо». Чупачупс разделял, как он сказал, отвращение Малого и других исследователей к скотоложеству Гомункула («что за свинья», прокомментировал он), но это отвлекало от темы жадности, страсти к накопительству, владевшей наследником Великого, и в особенности он никак не мог понять, почему столько возни и страхов было поднято вокруг его колдовских занятий, «если там, – сказал он, – все вокруг были заняты тем же самым», так он сказал, и посчитал «очень справедливым», что Коммодо, после неудавшегося покушения на него разместился под покровом богини Сибелес, всемогущей Матери Фригийцев, а потом служил культу Митры и Нептуна-Сераписа, и Доличенусу, и египетской Исиде и что он принял на свое ложе в качестве возлюбленной христианскую рабыню, полную очарования, как рассказывают, но также нагруженную крестиками и молитвами.

«Да я его не осуждаю, – объявил Чупачупс, – отпираясь от Малого категоричным жестом и наливая себе

еще глоток – двойной или тройной, – этот тип искал защиты и метался туда-сюда на всякий случай, как бы чего не вышло, не выделывайся, парень, как его можно осуждать?» – сказал он, и Марк Аврелий разозлился и повысил свой сиплый голос: «Вопрос не в том, чтобы осуждать Коммодо, – сказал он, – а в том, чтобы воспринимать его как символ рывка в Отсталость, как образ чудовища в полном смысле слова, чудовища вероятного, – это он сказал, – в случае двойного кризиса, который может еще случиться, и из всего этого, – добавил он, – необходимо извлечь определенные уроки».

Но Фредди скоро надоела его игра: тот вечер не подходил для споров и выводов, ни для поиска символов, да и мне тоже, надо признаться, хотелось выпить еще виски (мы все это предпочитали) и подождать, пока Малый успокоится немного и разрешит себе *time*, передых, и расскажет нам наконец об открытке, рождающейся из треугольника или триады, о четвертой открытке.

Его разбавленное состояние, или полусостояние, к счастью, углублялось, он покидал полемическую и задиристую волну и двигался в сторону более мягкую, более творческую, и наконец Малый повторил, что четвертая открытка не имеет ничего общего с туристическими, «абсолютно ничего», сказал он, и нарисовал ее в воздухе для Чупачупса и меня.

Это была (согласно Марку Аврелию) подлинно историческая сцена: во время кампании в Паннонии со Змеей Гликон провели консультацию, и «зверушка», взбив себе волосы жестом кокетливым и злобным, заговорила из-под своей адской маски и приказала, чтобы два льва были брошены в Дунай, дабы умереть в бурных водах, и этой смертью от Утопления они якобы запечатают границы Империи. Марк Аврелий, Император, Философ, последовал велению

чудовища и лично возглавил ритуал и наблюдал со своего места, как шлепали по воде униженные звери – самые надменные, самые прекрасные и гордые в Творении, – и как они жались от холода и страха перед тем, как утонуть, и как в своей манере, как все кошачьи, издавали предсмертный хрип («дерганье повешенного», так это называется), и как радовались солдаты, восклицая, поднимаясь на цыпочки, чтобы не упустить ни одной детали, веря, что жертвоприношение, назначенное Змеей, сделает их более сильными и защитит от варварских стрел и от чумы.

Мне помог «вражий напиток», – как говорил Фредди, – с его стимулирующим эффектом, который он производит на воображение, и я увидел бескрайнюю реку, вызывавшую невольное уважение; она пересекала четвертую открытку, и пересекала европейскую ночь две тысячи лет назад, и это была река высшего уровня, первой категории, а не та недоразвитая речушка в Утехах Юга, и я увидел возбужденную толпу, призрачную в отблесках факелов, издающую крики, переходящие в рычание, и там, на той воображаемой открытке, стоят рядом, «рядышком и в обнимку», Марк Аврелий Великий, Коммодо и Гликон, окруженные народами, перед бурными водами темного и тягучего Дуная, без вальсов и мостов, без всего того, что могло бы показаться здесь уместным.

26 ПОСЛЕДНИЙ ФРИЗ

Ласкаю новое чудовище, потом привыкаю и уже вижу его идущим на запад по бездне сосновых рощ.

Хосе Лесама Лима.
Всеобщность контакта

Мы приближаемся к завершению этой истории, и нам необходим еще один фриз, последний, что-то наподобие фриза-резюме, причем не из гипса, алебастра или глины, а из мрамора, и его должна осенять, находясь в самом центре, фигура Амарилис.

Та, что вырезана в камне, это женщина изменившаяся и меняющаяся: она изображена лицом к нам и ее порождающий живот почти агрессивно нависает над зрителем, как самая выдающаяся точка рельефа, как абдоминальная гора, которая может рождать тройни или пятерни, кто знает, или слоненка, назначенного судьбой стать прародителем какой-то новой расы.

Направо мы сразу же различаем Фредди Чупачупса, придавленного этой массой минерала, этим порождающим животом, но мы знаем, что он старается, он прилагает усилия, чтобы его толстощекое и круглое лицо было лицом счастливого отца, и что ему хочется получить улыбку от Амарилис, и он вскидывает вверх свой мобильный телефон, как показывают фотографы классическую вылетающую птичку.

Марк Аврелий Малый, слева, нацеливает оба своих глаза на пузо беременной женщины (несовершенство косоглазия было любезно опущено скульптором): одной рукой он небрежно держит шахматного коня, а в другой руке, ничем не занятой, читается незавершенный жест, словно приглашающий Амарилис идти сюда, к Подлинной Жизни, зовущий ее, беременную женщину, и то Существо или тех Существ, которые пульсируют у нее внутри, гигантского ребенка и всю ту расу, которая в зародыше ожидает торжественный день ее основания.

Два существа-хранителя плывут, парят, бдят с мраморного облака, и помещаются они над Чупачупсом: толстая и белая Чаро, на миг оставившая своих привидений и направляющая все свои духовные силы в сторону беременности ее невестки, желая таким образом подействовать на процессы Продвижения, там же Влиятельный Человек, занимающий на облаке очень высокое кресло и продолжающий быть внимательным к своему подопечному, к человеческому муравейнику и к кадровой политике. Сопровождают Чупачупса друзья и приятели детства и всей его жизни: они порхают в воздухе как младшие ангелы и выглядят полными сил, начеку, на высоте, готовыми к борьбе.

Ниже, обнаженные, навечно преданы любви (между манго и авокадо) Сесилия Вальдес Гойенечеа и Нико Лаферте, далекие от Отсталости и Продвинутости, от возвышения и падения кадров, от Вещей и вечной битвы между Подлинным и Ложным.

Огонь (в силу своей природы) представляет немалые технические трудности для того, чтобы быть изваянным на этой холодной поверхности, он остается спокойным, несмотря на свою природу, представленный в виде острых, извивающихся язычков, окружающих фигурку Тере. Автор сделал попытку

представить нам путь самоубийцы и действие Огня или пламени на ее Тело, однако общий вид являет нам довольно странную неподвижность.

Горящая Тере бежит, не двигаясь ни на миллиметр, а Дядя Маноло готовится к завтраку перед мраморным столом, и Гестапо безжалостным карандашом выставляет оценки, и курит русская теща Анхелито, курят Страдалец Сибоней и приземистые духи, и на нашем последнем фризе есть еще мертвецы (курящие и некурящие) и множество других, и всех их преследуют сторонники ортодоксального кардесизма, и многие гетеродоксальные спириты, и вообще неопределимые, и те, кто исповедуют религии Отсталости.

Группа знаменитых мудрецов составляет так называемый Стоический Угол фриза: портреты несколько «идеализированы», да, и умеренно украшены растительными мотивами, в них собраны суровые черты (всегда в профиль) Эпиктета, Сенеки, Теофраста, Марка Аврелия Великого, Серафина Эскобедо и Поляка.

Лица других знаменитостей (живых и умерших) украшают фриз, будучи высокохудожественно вырезанными на медальонах романского стиля, таким образом воздаются почести Леннону, Кардеку, Золя, Дилану, Вагнеру, Капабланке, Ларсену и знаменитому О'Фарриллу, поднявшему домино до уровня науки.

Конечно, Дженис Джоплин – это выдающаяся покойница, но ее профиля нет ни на одном из медальонов. Она прямо смотрит на зрителей и поет, хотя ничего не слышно: она поет дуэтом с Норкой де ла Торре на фоне моря, а наверху бледная луна и тусклые звезды, и кажется, что они обе поют в каком-то оазисе, устроенном для них скульптором, и обе они выступают анфас, так что ваятелю не нужно было отделывать Попы, не подходящие к данному случаю. Дуэт вырезан на единственном синем мазке фриза, на

фоне волн, объединяющих и смешивающих воды у набережной и воды Гуанабо, – блестящее море в квадратиках, сделанное из продукции изразцовой фабрики, где работала до своей заслуженной пенсии Сесилия Вальдес Гойенечеа.

В стороне, противоположной Стоическому Углу, имеется другой Угол, значительно более населенный, на котором воспроизведен хохот Фаустины (Императрицы), и гримаса матери Малого, и высокомерная поступь Тамары, которая ведет за руку Ребенка и пытается вытряхнуть песчинки (безуспешно) из его каменных волос, там же собрались племянники Малого, его сестра, шурин и брат – самый глупый и никудышный, и вся семья Тамары, родители и кузены из Баямо и все остальные родственники, по шею погруженные в Ложную Жизнь, и многие «разысканные» из Колледжа, и другие, находящиеся еще в «розыске», и даже сам Тамакун, утративший всякую агрессивность, и возглавляющий сейчас Службу Обеспечения, и возлагающий к ногам Чупачупса роскошный набор яств, виски, пива и «Старого рома» из лучших.

По фризу прогуливаются там и сям хиппи из Кармело, их «массы» и интеллектуальный авангард, и виден также (более организованный) дутый идеологический авангард Гуманитарного Факультета, а также профессор Мариньо, подлинный идеологический и интеллектуальный авангард кардесистов Поголотти, и Лазарита, бывшая раньше Леди Мадонной, Переименованная, продолжающая на каменной поверхности бороться с именем, наложенным на нее, и Анхелито с пластинками рока под мышкой и расстроенным лицом, и Русская, и мерзкая Русита, и Подглядывающий из Города Свободы, и поверженный Корралес, и я, и Красавица, «разыскивающая» и безостановочно ткущая в центре своей паутины, и ее

противница, Морская Свинка, плодовитая и совращающая, и Тоти с женой и детьми, продвинутыми или отсталыми – неважно, и Чудовище Эриберто, также с детьми, со множеством детей и множеством рогов; и еще двое детей: один, который мог быть у Красавицы и Чудовища, возможный ребенок (едва намеченный на мраморе), и Папина Дочка, поднимающая над головой, как премию «Оскар», диск Саймона и Гарфанкеля.

В Мифологическом Углу фриза Хозяева не отличаются от Приживалов, и вместе живут в гармонии и смешиваются боги Отсталости и Продвинутости, и звучат неслышные барабаны, флейты и литургические хоры: Мадонна Каридад дель Кобре (белая-мулатка-с-гладкими-волосами) и Венера (белая-белая-с-гладкими-русыми-волосами), они обе очень красивы, они не стареют и не испытывают ненужных метаморфоз; воины Криминель и Оггун и китайский Сан-Фан-кон делают приседания и отжимания, и движутся с явной воинственностью; Владыки Вод (Джемайя, Тетис, Нептун и Священная Рыба племени Абакуа), и Владыка Огня (Вулкан), и Владыка Дорог (Элеггуа), и Владыки Молнии (Юпитер, Чанге, Семь Лучей и Эбиосо), и все другие Владыки – Тумана, Горы, Дня и Ночи – осуществляют свои задачи во благо или на горе людей; здесь продолжают жертвовать собой те, кто отдавал себя за людей, такие, как Христос и поверженный Прометей, здесь лечат людей и заживляют раны их бедных Тел Исида, Серапис и Бабалу Айе, и им предсказывают будущее Аполлон Гладковолосый и Орула Курчавый, и им несут смерть (Ту, Что Не Прощает, Лысую, Безволосую) Геката и Ику; здесь бдят неспящие, как тысячеглазый Аргус и как бог таинов Макетаурие Гуайаба, и Свет Яры освещает их и помогает им в их бесконечной страже, и все Химагуас, и все Ибейис привносят озорную нотку в

Мифологический Угол, и возят с места на место Ромула, Рема, Волчицу и Чашу Грааля, и смеются, приставучие, и смеется пьяный Дионис, и им вторят, смеясь, фавны, сатиры и нимфы с Хорошими Волосами и плохой репутацией.

Городской праздник начинается рядом с Мифологическим Углом, и мраморные танцоры хотят освободиться от холодного камня и «закружиться», как они «кружились» на празднике в Клубе «Патрисио Лумумба», у рулеток казино и вокруг Поп танцовщиц, если они были соответствующим образом подобраны, и играют свою музыку «Лос Чикос дель Коней», Пельо и «Румбавана», и ставят диски Пола Анки, «Битлз» и «Лос Бан-Бан», но не слышно ничего, и танцуют участники Музыкальной группы с вечеринок Чупачупса, жуют и выпивают участники остальных Групп (простенькая кайма выделяет, окружая, Группу предпринимателей), а по другую сторону бесшумно грохочет сельская вечеринка, и там пляшут Три Крестьянина, которые однажды обидели Чупачупса и раскаялись, что натворили это, а сейчас стоят, расслабившись, и пользуются случаем, чтобы прижаться к обильным Телам своих Селянок, и щупают их Груди и Попы, а Ром и кубинские ритмы подслащивают им жизнь и помогают забыть о поражении.

Река омывает сельский праздник своими мраморными волнами, речь идет, конечно, не о Дунае: это река, речка, речушка из Утех Юга, которая катится под перестук каблуков и освежает всех, и течет, и продолжает течь. А далее не течет, а пребывает недвижимо врезанный в камень Лагерь Кубинско-Монгольской Дружбы.

Наверху, на Севере фриза, на чем-то вроде островка, наблюдатель неожиданно обнаружит родственников из Майами: кто-то страдает от бессонницы и Вины, другие спят вовсю и толстеют, и *все много*

имеют, и запасаются жиром и новыми вожделенными Вещами. Они улыбаются, как для фотографии, «рядышком и обнявшись», с дядьями и двоюродными и троюродными братьями Марка Аврелия, Нениты Маникюрши, Плуто, папы Лазариты, Трибилином, мышонком Микки, Ринго Нежным и многочисленными персонажами Диснея, Колледжа Марианао, Колледжа Ведадо и Буэн-Ретиро и многих других районов.

На Юге мы видим еще один островок, который скульптор огородил (из соображений безопасности) и украсил (из эстетических соображений) убедительной мраморной растительностью, вырезанной с величайшей тщательностью, – это миниатюрный зоопарк, в котором животный мир представляет в крохотном масштабе свою борьбу за выживание.

Посреди островка кипит собачья свора Обета и восстает против белого покоя рельефа: собаки лают, рычат, чешутся, стреляют своими круглыми глазами на все четыре стороны света – и представляют собой одного множественного зверя, смесь шерсти и неврозов, откуда высовываются стоячие треугольные уши и бесчисленные лапы, бугристые, у кого подлиннее, у кого покороче, которые трудолюбиво поддерживают множественного зверя и бегают из стороны в сторону, чтобы сохранить равновесие и защитить все пространство колонии и отогнать этих чистопородных псов из Буэн-Ретиро, которые заметно сгрудились на каком-то изгибе островка; и видим Немого Пса, размышляющего где-то в кустарнике, безразличного, погруженного в нерушимое одиночество, и Змею Гликон, которая высовывает из травы свою личину развязного и заиностраненного хиппи.

Львы и другие хищники римского цирка занимают какую-то возвышенность и выглядят спокойными, может быть, они сыты, а детеныши занимаются тем, что грызут человеческие кости и играют пустым

черепом, который когда-то был хранилищем целомудренных или злоумышленных мечтаний и раздумий и, кто знает, может быть даже какой-то собственной идеи.

Долина львов резко обрывается с одной стороны тернистым спуском, ущельем, которое означает не только топографическое понижение, но и в то же время, этого нельзя отрицать, падение в Уровне, и это потому, что на дне ущелья мы видим очень бедный загон, где с большой реалистичностью вырезаны животные, которых выращивали родители Тере: упитанные молочные поросята, индюки с болтающимися соплями, задиристые петухи и толстые практичные куры, желтенькие нежные цыплята, как плюшевые игрушки, и цыплята побольше, спотыкающиеся и длинношеие, словно подростки, и цесарки – растерянные, склонные к бегству, которые в этом загоне только проездом, как если бы они заключили с фотографом-скульптором контракт, чтобы фриз не остался незавершенным, и есть другие птицы, рептилии и млекопитающие, назначенные умереть на алтарях Отсталости, и есть другие петухи, утонченные и элегантные, как персидский кинжал, потомки славного Сандокана, подходящие для любых боев: решающих, обычных и всех остальных.

Мы не обнаружим на этом острове Летающего Кота (ему соответствует место более высокого ранга из-за его символического значения), но увидим одну земную кошку, Нану, бело-пегую кошку Чаро, которая на рельефе продолжает быть весьма кокетливой и не потерявшей своего призвания к невероятным влюбленностям: она поднимает на холм мечтательный взгляд и устремляет его на льва с красноватой гривой, очень мощного, почти растолстевшего от неостановимого обжорства и от множества христиан, которые ему были поставлены.

Над зоопарком порхают какие-то птицы, воробьи, голуби и пинарские томегины, и даже одна летучая мышь, которая на самом деле вовсе не летучая мышь и не Дракула, не Бэтмен, она не принадлежит Диснейворлду, ни островному пространству животных: потому что это бессонница, со своими подглазьями и трепещущими крыльями.

Уделим немного внимания сторожу зоопарка, охраннику, владычествующему над двуногими и четвероногими, и над Безногими, и над птицами крылатыми, покрытыми перьями, и над рептилиями холоднокровными, коварными, злобными, и над млекопитающими сосущими и живородящими. Он ходит туда и сюда по островку, опираясь на свой посох, словно громадный пастух, словно Полифем, и ведет свое стадо на лучшие пастбища, и во главе шествуют козлы, предназначенные для ритуального ножа, и изнасилованная коза, не тронутая Чупачупсом; время от времени пастух останавливается и разбрасывает семена маиса для петухов и кур на ферме родителей Тере, а потом кормит свору Обета и еще, почему бы и нет, породистых псов из Буэн-Ретиро, с каждым днем все более редких, и у него есть антильская рыба с медом для Немого Пса, и протеинизированный корм для внуков Сандокана, и даже малая толика человеческого мяса, которое гривастые звери на полном основании требуют для себя; он наклоняется и ставит блюдечко с молоком для бело-пегой кошки Чаро и гладит ее (отечески) – и тем самым *отстает*, и кидает живого цыпленка в пасть Гликон, и целует ее, и снова *отстает*.

На фризе счастливо живет этот полураздетый пастух, или скорее полуодетый, в дикой манере Геркулеса, он вместо палки опирается на гарроту, и на его поясе блещет мачете Оггуна (мы имеем в виду, что тут поделаешь, некоего обобщенного паркового сто-

рожа), и он улыбается улыбкой тех, кто не знает страдания.

Начальником этого зоопарка, естественно, работает Коммодо, этакий осмотрительный Коммодо, в какой-то мере уважаемый, который так и не «созрел», как того хотел Марк Аврелий Великий, не прочел Теофраста, и Эпиктета тоже, да и вообще никого не читал, а все больше и больше становится *животным,* в самом высоком смысле этого слова, он сливается с Природой и *идет назад* по эволюционной шкале видов, чтобы продвигаться в другой эволюции, которой мы не знаем, и в этом он нашел для себя самое лучшее.

Только одно животное выходит из-под юрисдикции Коммодо, его мы видим по центру, над Амарилис, над порождающим чревом. Крылатый силуэт кота простирается там в сторону грядущего, чтобы напомнить нам, что дорогу Продвижения нельзя разгадать, что она утыкана западнями и неожиданностями, и этот Летающий Кот коронует собой Центральный Символический Угол, где вырезаны очень схематичные повествования о Вине, о Калабасарском Треугольнике, о поражениях и разрушениях и о Кубинском Смехе.

На фризе очень много Вещей, имеющих отношение к мертвым и к живым, занимающих много места, и некоторые слишком выпирают, как, например, «Ниссан» Чупачупса, или Щит Энея, или Фен для волос Чаро, а другие выглядят очень скромно, хотя всегда, навсегда они находятся там. Более привлекательны они на Островке Майами и в Углу Ложной Жизни, но могут забираться и в места и Углы самые неожиданные, где бесстыдно и двусмысленно сосуществуют с людьми, и объединяются с людьми в так называемом «союзе по согласию», и грубо выставляют напоказ свои Тела и Души из пластика, металла, синтетических и натуральных волокон, и сертификаты

о происхождении, и свои более или менее престижные марки: «Феникс», «Сони», «Таино», «Орбита» и «Беннеттон», «Найк», «Полет», «Карибе», «Мерседес-Бенц».

Во фризе есть напряжение, причем более всего оно концентрируется на изображении Марка Аврелия Малого, на его лице, на искусственно выправленном глазу. Амарилис поворачивает к нему лицо и продолжает его любить, и она хотела бы его успокоить со своего места, из Президиума, и это создает в Амарилис определенную натянутость, хотя в ней и преобладает инстинктивное спокойствие беременных женщин. Есть напряженность и в Чупачупсе, в его полиморфизме, который скульптор никогда не сможет ухватить, в его усилии присмотреть за этим чревом, разрастающимся без всякой меры, за телефонами, за тем, что происходит в Предпринимательской группе, за Тамакуном и Персоналом Обеспечения, который может напороть, если его не контролировать; и есть средоточие неизбывной тоски в Анхелито Китайчонке, который тащит за собой Руситу и Русскую, как бурлак на Волге, и Сан-Фан-кон (с Мифологического Угла) хотел бы помочь ему, да не может; и грусть заметна как в защитниках Подлинной Жизни, так и в порабощенных Вещами и Ложным, и в Лазарите, которая тянет не лямку с тяжелой баржей и влачит на себе не кандалы пленника, но это железное имя, которого она так и не приняла.

Напряжение, Вина и тоска заполняют весь фриз: это вибрация, которая не затрагивает только Немого Пса и Коммодо, Простодушного Пастуха и часть его стада, а также защищенных круговым и плоским пространством своих медальонов знаменитых персонажей (Леннона, Кардека, Фишера и остальных) и выдающихся мертвецов из Стоического Угла и некоторых мертвецов (не многих) из «масс».

Напряжение тянется даже к той жизни, которая шевелится и растет внутри Амарилис. Марк Аврелий хочет мира для того, кто еще не родился, – мира идеального стоика, мира отказа (бескорыстия), мира того, кто отрекается от Вещей, и не желает и не требует ничего, и не знает, что такое Вина. И Чупачупс тоже не отстает и просит у богов, или духов, или у кого бы то ни было мира для того, кто готовится прийти, – другого мира для того, кто станет хозяином Вещей без угрызений совести или страха потерять их, мира для того, кто не боится *остаться за бортом*, потому что ему подобает *находиться внутри* по личному и неотъемлемому праву, по праву, которое принадлежит ему так же, как и сами Вещи, мира для того, кто забывает о неприятностях и с успехом обходит Вину. Амарилис хотела бы (в тот момент) только минимальной философской передышки, чтобы ее дитя, единственное или множественное, могло закончить свое формирование, и поэтому естественно делает нежный жест беременных: этот прародительский жест, которым защищают рождающее чрево, жест всех матерей, жест невестки Марка Аврелия по поводу воплей трубопровода, жест, который столько раз повторяла Чаро, когда Фредди был только зародышем и у него даже не проросли Гладкие волосы. Вот почему Амарилис гладит себя по животу и старается защитить его от многочисленных и столь разнообразных стрел зависти, которые мечутся и мечутся по фризу.

27 ДОМ ТРЮКОВ

Всеобщность прикосновения, притирания, коитус дождя и его маленькие вопросы по земле. Какие зародыши для новой породы! Какое потомство от человека и камня!

Хосе Лесама Лима.
Всеобщность прикосновения

Мы оба психовали, чувствуя себя виновными, но ни один не знал на самом деле почему.

Джон Леннон.
Well Well Well

Амарилис поступила в Трудовой Роддом с родовыми болями и схватками в ее громадном животе именно тогда, когда начинал спускаться с Севера первый холодный фронт этого времени года (была ноябрьская суббота, одиннадцать ночи) и девяностые годы вот-вот должны были кончиться, а вскоре должен был завершиться век и тысячелетие, и, как указ о смене времен, на Марианао начал падать нерешительный, неловкий дождь, который выражался то в шквальных порывах, то в туманной кисее, то в измороси.

По оживлению, толчкам и брыканию плода, по его жажде (очевидной) немедленно выйти из материнского заключения было понятно, что весь процесс займет

не более десяти минут, но, несмотря на все это, возможно, из-за размеров ребенка, это были роды, в те времена называвшиеся замедленными, это был крайне долгий и трудный путь Существа к Свету.

Фредди Чупачупс и Марк Аврелий Малый уже более двух часов отсидели в коридоре больницы, а потом пошли на улицу глотнуть воздуха. Прояснилось, хотя повсюду были заметны влажные следы дождя. В лужах 31-й авениды не отражались ни звезды, ни даже луна (ночь по-прежнему была облачной), но это не касалось десятков освещенных загадочных квадратиков – окон, выходивших на фасад роддома.

Они прошли много раз, молча, бок о бок, по маршруту, который определили, не сговариваясь: шли на восток, до автобусной остановки около Лиги Против Слепоты, а оттуда возвращались по своим следам и направлялись на запад, до ротонды, над которой торжественно высится Обелиск Марианао. Это было прямолинейное, однообразное движение в двух направлениях, и они позволяли себе только одно нарушение через каждые три прохода, для того, чтобы пересечь по диагонали сад и автомобильный подъезд к клинике, чтобы сунуться в широкие двери приемного покоя и жестом спросить у дремлющей женщины, не было ли новостей об Амарилис и потомке, который вот-вот должен был родиться. Женщина зевала, моргая, и говорила «пока еще нет» из своего стеклянного убежища, а они не слышали голоса, но могли читать ответ по сильно накрашенным губам дежурной. Красный рот женщины вспыхивал в серо-белой атмосфере и медленно артикулировал, а челюсть ритмично опускалась и поднималась, следуя каждому слогу («по-ка-еще-нет»), и они согласно пожимали плечами, словно говоря «ну что поделаешь».

Меня там не было, но я могу представить себе эти

хождения, и эти вопросы, и как они достигли синхронности своих движений, инстинктивно, несмотря на многие и неизбежные различия.

Я знаю, как передвигался Фредди своими длинными и кошачьими шагами, элегантно помахивая руками: он сопротивлялся северному ветру, который ворошил его Гладкие Волосы, с гордо поднятой внимающей головой, в самом чистом стиле Нико Лаферте, в стиле воина или охотника, пробирающегося сквозь заросли и вслушивающегося в шорохи гор, в звуки, в запахи. Его ноги сгибались мягко и эластично, движения рук объединяли женскую протяжную грацию Чаро с отзвуком приливной, красивой походки, которой он научился в Поголотти своего детства: в его манере двигаться как на восток, так и на запад было заметно наследие Нико, Чаро, района, где он сделал первые в жизни шаги, но там прослеживалось и что-то «иное», и это был Полет Кота, неожиданный результат, сюрприз, который подносит нам детеныш обыкновенного кота и ласки.

Я знаю также, что Марк Аврелий шагал с опущенной головой, погруженный в глубины своей Разумной Души: нормальный глаз смотрел вниз, скользя по поверхности мокрого тротуара, а плохой разбегался во всех направлениях без какой-либо цели, просто «бороздя воздух». Он уравнял скорость своего движения со скоростью Чупачупса, но не был способен синхронизировать взмахи ног и рук, поэтому перемещался неритмично, как сломанная кукла на ниточках, словно все его Тело зависело и от изъянов плохого глаза, и от более сущностного и полного косоглазия.

Когда они справлялись у женщины в приемной, Фредди вопросительно подмигивал ей из дверей, и казалось, что он хочет пойти с ней, с сонной дежурной, на что-то вроде сговора, а Марку Аврелию удавалось только складывать идиотическую физиономию и

(героически) концентрировать оба своих глаза на стеклянном домике.

Выражение отношения к ситуации жестом «что поделаешь» и дальнейшее возвращение на маршрут составляли, так сказать, лучшие моменты для Малого: тогда он мог повторять действия своего друга с большей естественностью, без зажатости.

К утру стало прохладно, и Чупачупс подшучивал над драным свитером с короткими рукавами, который был на Марке Аврелии. «Ты ж ничего не понимаешь, одеваться надо изнутри», – говорил он и согревался, припадая губами к металлической фляжке со «Старым ромом» из лучших, которую он доставал из широких раздутых штанов, очень модных, ретро. Он пил урча, короткими глотками и прищелкивал языком и приглашал выпить Марка Аврелия, поднося фляжку ему к носу, но стоик говорил «нет»: хотя ему и было холодно, его не воодушевляла перспектива попробовать ром при том шквале, который нервы и голод утроили у него в желудке.

Они двигались на восток, к Лиге Против Слепоты, когда встретили множество молодых людей, шедших навстречу, от «Ла Тропикаль», с востока на запад: они возвращались домой пешком, протанцевав много часов, и прошли уже много километров, но не казались усталыми, а те, что жили в глубине Марианао или в Ла-Лиса, должны были пройти вдвое больше. Но они были очень молоды, и у них хватало духу и сил для шуток, смеха и прыжков над лужами авениды, чтобы подтрунивать друг над другом и брызгаться грязной водой из луж.

Марк Аврелий не чувствовал никакой опасности от танцоров из «Ла Тропикаль»: они проходили мимо, как если бы принадлежали другому пласту реальности, словно кадры из документального фильма о флоре и фауне какой-то экзотической страны, как изображения

жеребят, чересчур диких и задиристых на стоический вкус, на которых он мог смотреть в телевизоре (меланхолично, без всякого интереса). Чупачупс, напротив, пока они приближались, наблюдал за ними исподлобья и на всякий пожарный случай держал наготове военную мощь своей телесной структуры.

Проходили мимо них и отдельные люди, в том и обратном направлении: пьяные и страдающие бессонницей, девушки веселой жизни или жизни грустной, и старик, которого тащил его пес, и народ из больниц, больные и здоровые, продавцы арахиса, сумасшедшие, полудурки, и какой-то мистик, и пары, пылающие любовью и желанием, и другие пары, пышущие отвращением и даже желчью.

Мысли Малого и Чупачупса текли по руслам и протокам очень далеким друг от друга. Иногда они совпадали: когда нарастала обеспокоенность по отношению к Амарилис и наследнику, пока еще не имеющему лица и голоса, и тогда, когда перед их глазами мелькали вспышки Прошлого, которые были неизбежны этой ночью, поскольку, не сговариваясь, они шли по местам, связанным в их Разумных Душах с годами учебы в Колледже.

Сам Фредди, не сильно друживший, как мы знаем, с ностальгией, чувствовал на лице и в груди волны воспоминаний, которые присоединялись к северному ветру и становились более сильными, когда направлялись на запад, в сторону молчаливого Обелиска Марианао. Там, вокруг Обелиска, прежде чем войти в Колледж, или после выхода, или во время лекций Гестапо (вечная ей память) частенько происходили обычные встречи Команды и немало встреч внеочередных, и собиралось множество приятелей, и устраивались праздники, и организовывались походы на пляж, заговоры, там женихались, порывали всякого рода связи и вновь устраивали их, там прощали и мстили.

Марк Аврелий, в свою очередь, тоже ощущал кисло-сладкие волны прошлого, но принимал их с меньшими возражениями, чем его товарищ по прогулке. Перед Обелиском, естественно, он воскрешал в памяти вечеринки на свежем воздухе (которые он всегда предлагал перенести в какое-нибудь менее открытое место, лучше под крышей, в глубине позиции Ларсена), а сотая улица давала ему, как сказал бы поэт, «неистощимый источник воспоминаний»: поездки туда и обратно между Колледжем и домом родителей в Буэн-Ретиро, и шахматную дорогу, которая приводила его в Социальный Кружок «Хесус Менендес», а позже в Клуб «Пабло Морфи», и путь подростковой любви, которая заканчивалась в доме, где жила Мерси, его первая девушка.

Вся 31-я авенида была усеяна этими неприметными (непроницаемыми) шахтами, предназначенными для молчаливых разработок, чтобы оттуда выносило куски воспоминаний, если Малый коснется их ногой или одним из своих глаз. Когда дорога приводила к своему восточному концу, Лиге Против Слепоты, его память уходила немного далее, и всплывали образы первых дней их семьи в Гаване и последних дней путешествия его матери с каким-то ребенком, тощим и косоглазым, которым был он сам. Перед храмом тысячеглазого Аргуса в Марианао он вновь благодарил Врача-Знаменитость за его приговор и его предсказание: у него не было множества девушек и он не был пригрет счастьем, но никогда в горькие и трудные дни своей жизни, а их было много, он не возлагал никакой Вины на свой неудачный глаз, и это имело значительно большее значение, чем может показаться.

Уже светало, когда они решили перейти авениду и сесть на парапет, который ограждал Педиатрический центр Марианао, недавно построенное здание, по

этой причине не связанное с какими-либо воспоминаниями. С этой выгодной позиции они могли спокойно наблюдать за входом в Трудовой Роддом, и Чупачупс вспомнил, как его называли во времена Колледжа: это был «Дом Трюков», сказал он, «входит один, а выходят двое», так он сказал, и Марк Аврелий повторил эту старую шутку, и они коротко хохотнули, невзначай отдавая должное той интонации, одновременно Невинной и озорной, с которой они, а с ними и Анхелито, и я, и все остальные приятели из Колледжа произносили это «Дом Трюков», который белел здесь, словно окаменевший кит, с его скульптурными выражениями признательности материнским чувствам, с его тяжелой архитектурой, приземистой и немного гнетущей.

Потом они придумали себе игру, дурацкую, детскую, значительно более мальчишескую, чем *домино по-кубински*: определить среди освещенных окон фасада Трудового Роддома одно, выходящее из таинственного зала, зала родов, специально предназначенного для «Трюков», где ребенок прилагал все усилия (с помощью Амарилис и еще бог знает скольких врачей и медсестер), чтобы произвести свой выход в этот мир.

Окна больниц, когда они освещены и видны в ночи, издалека, с улицы, похожи на замочные скважины, ведущие в тайну болезни и смерти, и вызывают в нас особую тревогу; а в громаде Дома Трюков свет этих квадратиков переносит нас к другому чуду, чуду рождения, но впивается в того, кто ждет, иглами неуверенности.

Это финальная сцена нашей истории, и она заслуживает кинематографического подхода, взгляда с высоты птичьего полета, и имеет право на немного фоновой музыки. Именно так: двух моих дружков по Колледжу, сидящих рядышком друг с другом на парапете Педиатрического центра, надо бы заснять из вер-

толета, и тогда их можно будет принять сверху, из очень высокого высока, за двух ожидающих существ, двух рыб, двигающих плавниками, зачарованных, нервных, беззащитных, напротив Дома Трюков, напротив Моби Дика, большого спящего кита Трудового Роддома. Каким должен быть звуковой окрас этой сцены? Не знаю. Что-то, вначале склоняющееся к сентиментальному настрою, чтобы подытожить параллельные жизни Марка Аврелия Малого и Фредди Чупачупса, их достижения, преткновения, радости, «иллюзии утраченные» и те, которые не могут затеряться, музыка, которая затем росла бы и открывалась как финальный хор из «Хей Джуд», медленно, мягко, как ядерный гриб, приносящий не несчастья и печали, но Свет, который сможет говорить нам о будущем и о том, кто рождается сейчас где-то внутри кита, «Хей Джуд» или что-то наподобие «Моста» Саймона и Гарфанкеля, который выжимает из тебя слезу и тут же насыщает кислородом твою Разумную Душу и помогает ей быстро расти, взлетать, а Анхелито Китайчонок наверняка стал бы протестовать и осудил бы любую музыкальную версию, сочетающую тоску по прошлому и веру в будущее, и обвинил бы меня в том, что я предлагаю голливудскую тростниковую брагу, чтобы завершить сказку, и настаивал бы на какой-нибудь песне Дилана, Дженис Джоплин, Леннона, но никогда не на «Представь себе», которая была бы отвергнута им за «совершенно очевидный» утопизм.

Вагнерианец профессор Мариньо пожелал бы, думаю, «Полет Валькирий»; Красавица Лурдес – какой-нибудь шлягер прошлых лет: «Лос Чикос дель Коней», Шарля Азнавура или еще что, к примеру «Лос Сафирос», «Мансанеро» или «Лос Формула V»; Лазарита – наверняка «Леди Мадонну» в версии (испанской) «Лос Мустанг»; племянники Марка

Аврелия – какую-нибудь «жесткую» композицию (например «*Seek and Destroy*»); Тамакун и танцоры из «Ла Тропикаль» – один из сборников Формеля и «Лос Бан-Бан» («*Yuya Martinez*», быть может, или что-нибудь более свежее); Русская, безусловно, «Патетическую симфонию» Чайковского; Три Крестьянина – «*El amor de mi bohio*» о «*Alla en el rancho grande*»; и Фелито – сельско-городское попурри из своих хореографических композиций нового типа.

Если бы можно было попасть внутрь Дома Трюков, если бы можно было спросить Амарилис, какой музыкой ей хотелось бы встретить своего ребенка, она (это ясно) попросила бы какую-нибудь песню Сильвио; а Чупачупс – «*Como nave sin rumbo*» Техедора или другое хорошее болеро, но только исполненное «несравненной» Норкой де ла Торре; а Марк Аврелий – кто знает…

А сейчас надо постепенно спускаться с небес и приблизиться к тем, кто *ожидает*, и увидеть, как Фредди прикладывает свои мягкие и мясистые губы к горлышку фляжки и припадает к ней, как любовник, и дарит ей долгий поцелуй, очень долгий, лучше, чем любой поцелуй из кино, и Малый замечает жадное подрагивание в горле своего друга. Потом Фредди встряхивает сосуд, чтобы показать с грустью, что дно уже близко, что осталось лишь на донышке, и благородным жестом вновь предлагает последнюю возможность выпить Марку Аврелию.

Хотя стоики и признают один только разбавленный ром, не брезгая и очень разбавленным, сказал бы я, есть обстоятельства, в которых можно пойти на исключения: свитер Марка Аврелия, нашего, из Команды, очень поношен, ворот и локти распустились, рукава едва доходят до кистей, а уже на подходе утро воскресенья, и первый холодный фронт этого года опускается с Севера.

И Малый способен, конечно же, оценить благородное подношение Фредди, так что он берет фляжку, поднимает ее над своим тонкогубым ртом и позволяет, чтобы этот последний глоток медленно падал, и скользил, и пробирался внутрь его Тела, чтобы он обжег ему язык и гортань, чтобы дал немного тепла каждой из трех его сущностей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ 7
2. ПРОЗВИЩА 14
3. ДВА СЕМЕЙСТВА 17
4. ШАХМАТЫ И ДОМИНО 33
5. УТЕХИ ЮГА 41
6. ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 49
7. ВЗЛЕТ ЧУПАЧУПСА 60
8. СВАДЬБА 73
9. НАНА 78
10. АТТАШЕ 90
11. КАЛАБАСАРСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 99
12. ПЕРВЫЙ РАЗРЫВ 114
13. СТРАДАЛЕЦ СИБОНЕЙ 122
14. В ПАРКЕ ЛУСЕВАН 129
15. АМАРИЛИС 140
16. СУББОТЫ 144
17. КРАСАВИЦА В ДЕВЯНОСТЫХ 152
18. МЕЖДУ МАНГО И АВОКАДО 162
19. САНДОКАН 177
20. БЕССОННИЦА И ВИНА 183

21. СБОР КОМАНДЫ
В ДЕВЯНОСТЫЕ 201
22 ПРАВДА 223
23. МЕРТВЕЦЫ 226
24 ОТСТАЛОСТЬ
И ПРОДВИНУТОСТЬ 240
25. ПУТЕШЕСТВИЕ
В РИМ 260
26. ПОСЛЕДНИЙ ФРИЗ 280
27. ДОМ ТРЮКОВ 292
ОГЛАВЛЕНИЕ 302

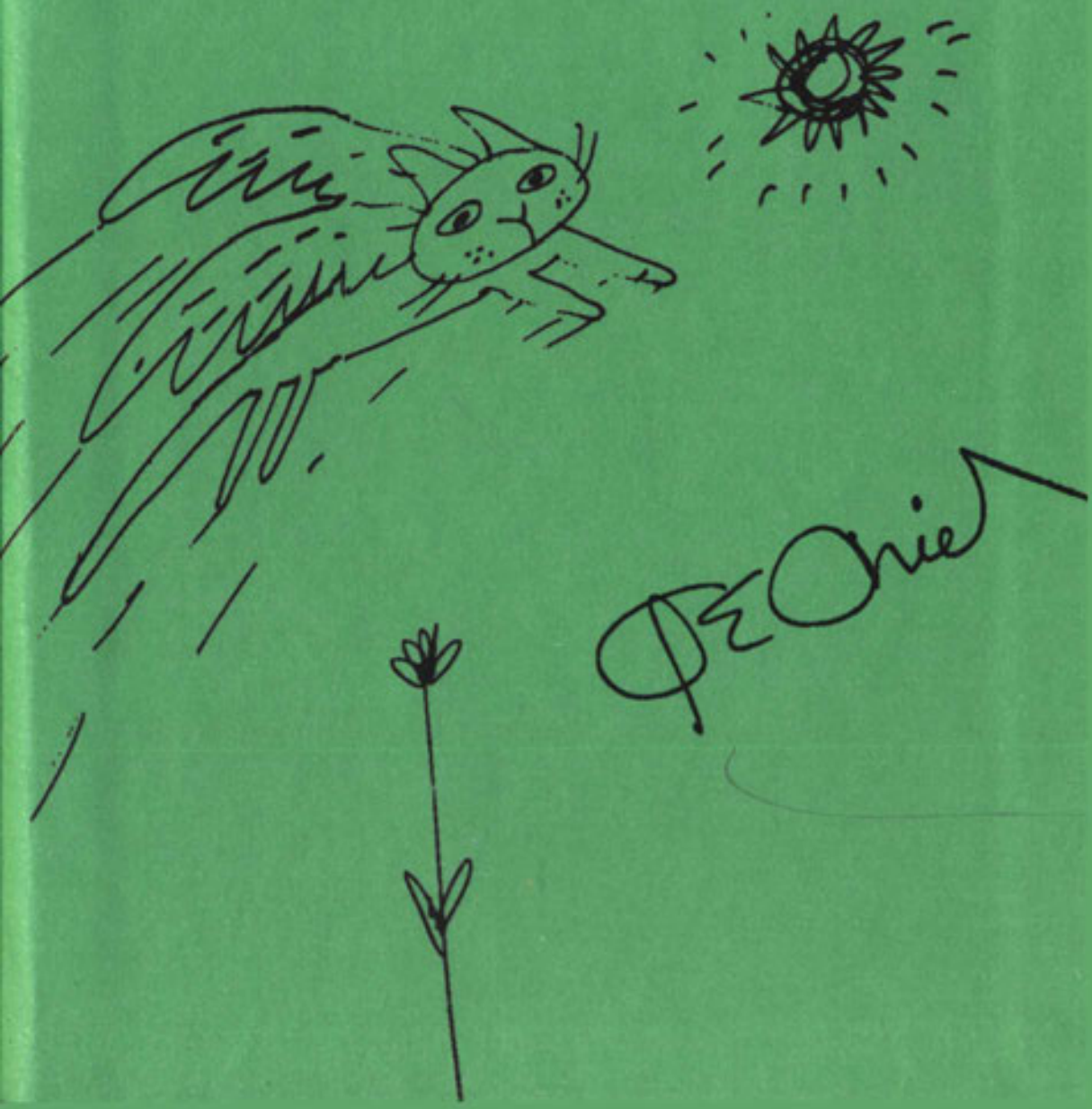
Абель Прието

ПОЛЕТ КОТА

Роман

Редактор *С. Галкина*
Художественный редактор *К. Баласанова*
Технический редактор *Е. Мистрюкова*

Сдано в набор 06.11.2009. Подписано в печать 20.11.2009.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 12,97.
Доп. тираж 500 экз. Заказ № 1198. Изд. №11702.

ОАО Издательство «Радуга»,
121839, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43.
129090, Москва, Грохольский пер., д. 32, стр. 2.

Отпечатано
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, Можайск, ул. Мира, 93.